

**Стивенсон Роберт Луис
Катриона**

**ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР**

**ГЛАВА I
НИЩИЙ В РАЗЗОЛОЧЕННОМ СЕДЛЕ**

25 августа 1751 года около двух часов дня, я, Дэвид Бэлфур, вышел из банка Британского Льнопрядильного кредитного общества; рядом шел рассыльный с мешком денег, а важные коммерсанты, стоя в дверях, провожали меня поклонами. Всего два дня назад, и даже еще вчера утром, я ничем не отличался от нищего бродяги, ходил в лохмотьях, без единого шиллинга в кармане, товарищем моим был приговоренный к виселице изменник, а из-за преступления, о котором шла молва по всей стране, за мою голову была объявлена награда. Сегодня, получив наследство, я вступил в новую жизнь, я стал богатым землевладельцем, банковский рассыльный нес в мешке мои деньги, в кармане лежали рекомендательные письма, словом, как говорится, я вытянул из колоды счастливую карту.

Однако же две тучки омрачали мой сияющий небосклон. Первая — то, что мне предстояло выполнить чрезвычайно трудное и опасное дело; вторая — окружавший меня город. Высокие, темные дома, толчея и шум на многолюдных улицах — все это было для меня ново и непривычно после поросших вереском склонов, песчаного морского берега и тихих деревень — словом, всего, что я знал до сих пор. Особенно меня смущала уличная толпа. Сын Ранкилера был ниже и тоньше меня, его одежда выглядела на мне кургузой, и, конечно, мне в таком виде негоже было гордо выступать впереди рассыльного. Люди, конечно, подняли бы меня на смех и, пожалуй (что в моем положении было еще хуже), начали бы любопытствовать, кто я такой. Стало быть, мне следовало поскорее обзавестись собственной одеждой, а пока что шагать рядом с рассыльным, положив руку ему на плечо, как закадычному другу.

В одной из лавок Лакенбуса я оделся с ног до головы — не слишком роскошно, ибо мне вовсе не хотелось походить на нищего в раззолоченном седле, — но вполне прилично и солидно, так, чтобы слуги относились ко мне почтительно. Оттуда я направился к оружейнику, где приобрел плоскую шпагу, соответствовавшую моему новому положению. С оружием я чувствовал себя безопаснее, хотя, при моем неумении фехтовать, оно скорее представляло лишнюю опасность. Рассыльный, человек само собою опытный, одобрил мою одежду.

— Неброско, — сказал он, — все скромно и прилично. А рапира — ну,

вам, конечно, положено ее носить, только на вашем месте я бы своими денежками распорядился поумнее. — И он посоветовал мне купить зимние панталоны у лавочницы в Каугейт-Бэк, которая приходилась "ему родственницей

— он особенно упирал на то, что они у нее «на редкость прочные».

Но у меня были другие, более неотложные дела. Меня окружал старый черный город, больше всего напоминавший кроличий садок, не только огромным количеством обитателей, но и сложным лабиринтом крытых проходов и тупичков. Вот уж поистине место, где ни один приезжий не сумеет разыскать друга, тем более, если тот тоже приезжий. Пусть даже ему посчастливится найти нужную улицу — эти высокие дома населены таким множеством людей, что можно потратить на поиски целый день, прежде чем найдешь нужную дверь. Поэтому здесь принято нанимать мальчишек, которых называют «бегунки»; такой «бегунок», как проводник или лоцман, приведет вас к цели, а когда вы закончите свое дело, проводит вас домой. Но эти «бегунки», которые постоянно занимаются подобного рода услугами и потому должны знать каждый дом и каждого жителя в городе, постепенно образовали некое общество шпионов; из рассказов мистера Кемпбелла я знал, что все они связаны друг с другом, что они проявляют к делам своих клиентов жгучее любопытство и стали глазами и пальцами полиции. В нынешнем моем положении было бы крайне неумно таскать за собой такую ищейку. Мне предстояло сделать три крайне необходимых, срочных визита: к моему родственнику Бэлфуру из Пилрига, к стряпчему Стюарту, эпинскому поверенному, и к Уильяму Гранту, эсквайру из Престонгрэнджа, Генеральному прокурору Шотландии. Визит к мистеру Бэлфуру особого риска не представлял; кроме того, Пилриг находился в загородной местности, и я отважился бы разыскать к нему путь без посторонней помощи, полагаясь на свои ноги и знание шотландского языка. Но что касается двух других — здесь дело обстояло иначе. Мало того, что посещение эпинского поверенного сейчас, когда все только и говорят об эпинском убийстве, само по себе опасно, — оно к тому же совершенно несовместимо с визитом к Генеральному прокурору. Даже в лучшем случае разговор с ним у меня будет нелегкий, и если я к нему явлюсь напрямую от эпинского поверенного, это вряд ли улучшит мои дела, а моего друга Алана может простонапросто погубить. Кроме того, все это выглядело так, будто я веду двойную игру, что было мне сильно не по душе. Поэтому я решил прежде всего разделаться с мистером Стюартом и всем, что относилось к якобитам, использовав для этой цели моего рассыльного как проводника. Но случилось так, что едва я успел сказать ему адрес, как начался дождь, хоть и не сильный, но довольно опасный для моего нового костюма, — и мы укрылись под навесом в начале какой-то улочки или переулка.

Все в этом городе было для меня диковинно, и я из любопытства прошел несколько шагов по улочке. Узкая булыжная мостовая круто спускалась вниз. По обе стороны на спуске вырастали огромные, высокие дома, и каждый их этаж выступал над другим. Вверху виднелась лишь узенькая полоска неба. Судя по тому, что мне удалось подглядеть в окнах, и по солидному виду

входивших и выходивших господ, я понял, что в домах обитает не простой люд, и вся эта улица заворожила меня, как сказка.

Я рассматривал ее, широко открыв глаза, как вдруг позади раздался быстрый мерный топот и звяканье стали. Мигом обернувшись, я увидел отряд вооруженных солдат, а среди них высокого человека в плаще. Он шел, чуть склонив голову, словно кого-то украдкой приветствуя учтивым поклоном; он даже слегка взмахнул рукой на ходу, и при этом на его красивом лице было хитрое выражение. Мне казалось, что он глядит в мою сторону, но наши глаза так и не встретились. Процессия подошла к двери, которую распахнул слуга в нарядной ливрее; два молодых солдата повели пленника в дом, а остальные со своими кремневыми ружьями остались стоять у входа.

В городах любое уличное происшествие мгновенно собирает толпу зевак и ребятишек. Так было и сейчас, но затем толпа быстро растаяла и осталось только трое. Среди них была девушка, одетая, как леди, на шарфе вокруг ее шляпки я узнал цвета Драммондов; но ее товарищи, вернее сказать, спутники, были в лохмотьях, как все шотландские слуги — таких я видел немало во время своих странствий по горному краю. Все трое озабоченно о чем-то говорили на гэльском языке, который был приятен для моего слуха, так как напомнил об Алане; и хотя дождь уже прошел и мой рассыльный поторапливал меня продолжать путь, я подошел ближе к разговаривавшим, чтобы лучше слышать. Девушка резко выговаривала слугам, те оправдывались и лебезили пред ней, и мне стало ясно, что она принадлежит к семье вождя какого-то клана. Все трое рылись у себя в карманах — насколько я мог понять, им удалось наскрести всего полфартинга, и я усмехнулся: как видно, все уроженцы гор одинаковы — у них много достоинства и пустые кошельки.

Девушка случайно обернулась, и я увидел ее лицо.

Нет на свете большего чуда, чем то, как женский образ проникает в сердце мужчины и оставляет в нем неизгладимый отпечаток, и он даже не понимает, почему; ему просто кажется, что именно этого ему до сих пор и недоставало. У девушки были прекрасные, яркие, как звезды, глаза, и, конечно, эти глаза сделали свое дело, но яснее всего мне запомнились ее чуть приоткрытые губы. Впрочем, не знаю, что меня больше всего поразило, но я уставился на нее, как болван. Для нее было неожиданностью, что кто-то стоит совсем рядом, и она задержала на мне удивленный взгляд, быть может, чуть дольше, чем позволяли приличия.

По своей деревенской простоте я подумал, что она поражена моей новой одеждой; я вспыхнул до корней волос, и, должно быть, выступившую на моем лице краску она истолковала по-своему, так как тут же отвела своих слуг подальше, и я уже не мог расслышать продолжения их спора.

Мне и раньше нравились девушки, правда, не настолько сильно и не с первого взгляда, но я всегда был заслонен скорее отступать, чем идти напролом, так как очень боялся женских насмешек. Казалось бы, сейчас я тем более должен был по своему обыкновению отступать: ведь я встретил эту юную леди на улице, она, по-видимому, провожала арестованного, и с нею были два довольно неказистых оборванца. Но тут было особое обстоятельство:

девушка, несомненно, заподозрила, что я хочу подслушать ее секреты, а сейчас, когда у меня была новая одежда и новая шпага, когда на меня, наконец, свалилась удача, я не мог отнестись к этому спокойно. Человек, попавший из грязи в князи, не хотел терпеть подобного унижения, тем более от этой юной леди.

Я последовал за ними и снял перед ней свою новую шляпу, стараясь проделать это как можно изящнее.

— Сударыня, — сказал я, — справедливости ради я должен вам объяснить, что не понимаю по-гэльски. Не отрицаю, я прислушивался, но это потому, что у меня есть друзья в горной Шотландии и слышать этот язык мне приятно, но что касается ваших личных дел, то, говори вы по-гречески, я понял бы столько же.

Она с надменным видом слегка присела.

— Что же тут дурного? — произнесла она с милым акцентом, похожим на английский (но гораздо приятнее). — Даже кошка может смотреть на короля.

— У меня и в мыслях не было вас обидеть, — сказал я. — Я не приучен к городскому обхождению; до нынешнего дня я еще никогда не входил в ворота Эдинбурга. Считайте меня деревенщиной, — так оно и есть, и лучше уж я предупрежу вас сразу, не дожидаясь, пока вы сами в этом убедитесь.

— Да, правда, здесь не принято заговаривать с незнакомыми на улице, — ответила она. — Но если вы из деревни, тогда это простительно. Я ведь тоже выросла в деревне, я, как видите, из горного края и очень тоскую по родным местам.

— Еще и недели нет, как я перешел границу, — сказал я. — Меньше недели назад я был на склонах Бэлкиддера.

— Бэлкиддера? — воскликнула она. — Неужели вы были в Бэлкиддере? От одного этого звука у меня радуется сердце. Быть может, вы пробыли там долго и встречались с кем-нибудь из наших друзей или родичей?

— Я жил у честнейшего, доброго человека по имени Дункан Ду Макларен, — ответил я.

— О, я знаю Дункана, и вы совершенно правы! — воскликнула она. — Он честный человек, и жена его — тоже честная женщина.

— Да, — подтвердил я, — они очень славные люди, а местность там прекрасная.

— Лучше не найти на всем свете! — воскликнула она. — Я люблю каждый запах тех мест и каждую травинку на той земле.

Я был бесконечно тронут воодушевлением девушки.

— Жаль, что я не привез вам оттуда веточки вереска, — сказал я. — И хотя я поступил нехорошо, заговорив с вами на улице, но раз уж у нас нашлись общие знакомые, окажите мне милость и не забывайте меня. Зовут меня Дэвидом Бэлфуром. Сегодня у меня счастливый день — я стал владельцем поместья, а совсем еще недавно находился в смертельной опасности. Прошу вас, запомните мое имя в память о Бэлкиддере, а я запомню ваше в память о моем счастливом дне.

— Мое имя нельзя назвать вслух, — очень надменно ответила она. — Уже больше ста лет никто его не произносит, разве только нечаянно. У меня нет

имени, как у Мирного народца — эльфов. Я ношу имя Катрионы Драммонд.

Теперь-то я понял, кто передо мной. Во всей обширной Шотландии не было другого запрещенного имени, кроме имени Макгрегоров. Однако мне и в голову не пришло спастись от этого опасного знакомства, и я нырнул в пучину еще глубже.

— Мне случилось встретиться с человеком, который находится в таком же положении, — сказал я, — и думается мне, он один из ваших друзей. Зовут его Робин Ойг.

— Не может быть! — воскликнула девушка. — Вы видели Роба?

— Я провел с ним под одной кровлей целую ночь.

— Он ночная птица, — сказала девушка.

— Там были волынки, — добавил я, — и вы можете легко догадаться, что время пролетело незаметно.

— Мне кажется, что вы нам, во всяком случае, не враг, — сказала она.

— Тот, кого только что провели здесь красные мундиры, — его брат и мой отец.

— Неужели? — воскликнул я. — Стало быть, вы дочь Джемса Мора?

— Да, и притом единственная дочь, — ответила девушка, — дочь узника; а я почти забыла об этом и целый час болтаю с незнакомцем!

Тут к ней обратился один из слуг и на языке, который ему казался английским, спросил, как же все-таки «ей» (он имел в виду себя) раздобыть «хоть шепотку нюхального табаку». Я пригляделся к нему: это был рыжий, кривоногий малый небольшого роста, с огромной головой, которого мне, к несчастью, пришлось потом узнать поближе.

— Не будет сегодня табаку, Нийл, — возразила девушка. — Как ты достанешь «щепотку» без денег? Пусть это послужит тебе уроком, в другой раз не будешь разиней; я уверена, что Джемс Мор будет не очень доволен Нийлом.

— Мисс Драммонд, — вмешался я, — сегодня, как я сказал, у меня счастливый день. Вон там рассыльный из банка, у него мои деньги. Вспомните, я ведь пользовался гостеприимством Бэлкиддера, вашей родины.

— Но ведь не мои родственники оказывали вам гостеприимство, — возразила она.

— Ну и что же, — ответил я, — зато я в долгу у вашего дядюшки за пение его волынки. А кроме того, я предложил себя вам в друзья, а вы были столь рассеянны, что не отказались вовремя.

— Будь это большая сумма, — сказала девушка, — это, вероятно, сделало бы вам честь. Но я объясню вам, что произошло. Джемс Мор сидит в тюрьме, закованный в кандалы, но в последнее время его каждый день водят сюда, к Генеральному прокурору...

— К — прокурору? — воскликнул я. — Значит, это...

— Это дом Генерального прокурора Гранта из Престонгрэнджа, — сказала она. — Сюда то и дело приводят моего отца, а с какой целью, я совсем не знаю, но мне кажется, что для него забрезжила надежда. Они не разрешают мне видеть его, а ему — писать мне; вот мы и ждем здесь, на Кингз-стрит, когда его проведут мимо, и стараемся сунуть ему то немножко нюхательного табаку, то

еще что-нибудь. И вот этот злосчастный Нийл, сын Дункана, потерял — мой четырехпенсовик, отложенный на покупку табака, и теперь Джемс Мор уйдет ни с чем, будет думать, что дочь о нем позабыла.

Я вынул из кармана шестипенсовик, дал его Нийлу и велел сбегать за табаком.

— Эта монетка пришла со мной из Бэлкиддера, — сказал я девушке.

— А! — отозвалась она. — Вы друг Грегоров.

— Не стану вас обманывать, — сказал я. — О Грегорах я знаю очень мало, и еще меньше — о Джемсе Море и о его деяниях, но за то время, что я стою на этой улице, я узнал кое-что о вас; и если вы скажете «друг мисс Катрионы», я постараюсь, чтобы вы об этом не пожалели.

— Я и остальные — неразделимы, — сказала Катриона.

— Я постараюсь стать другом и для них.

— Но брать деньги от незнакомого человека! — воскликнула она. — Что вы обо мне подумаете?

— Ничего не подумаю, кроме того, что вы хорошая дочь, — сказал я.

— Я, разумеется, верну вам долг. Где вы остановились?

— По правде говоря, еще нигде, я всего три часа в этом городе, — ответил я. — Но скажите, где живете вы, и я осмелюсь сам явиться за своими, — шестью пенсами.

— Я могу положиться на ваше слово?

— Вам нечего опасаться, что я не сдержу его.

— Иначе Джемс Мор не позволил бы мне взять деньги, — сказала она. — Я живу за деревней Дин, на северном берегу реки, у миссис Драммонд-Огилви из Аллардайса, она мой ближайший друг и будет рада поблагодарить вас.

— Тогда я буду у вас, как только позволят мне дела, — сказал я; и, спохватившись, что совсем забыл об Алане, поспешил проститься с нею.

Но, продолжая свой путь, я невольно подумал, что для столь краткого знакомства мы вели себя слишком непринужденно и что истинно благовоспитанная девушка должна была бы держаться несколько застенчивее. Кажется, от этих далеко не рыцарских мыслей меня отвлек рассыльный.

— Я-то думал, у вас есть голова на плечах, — начал он, презрительно скривив губы. — Эдак вы далеко не уйдете. Коли нет ума, денежки быстро на ветер летят. А вы, как я погляжу, большой любезник! — воскликнул он.

— Из молодых да ранний! Ловите потаскушек.

— Как ты смеешь так говорить о молодой леди!.. — начал было я.

— Леди! — фыркнул, тот. — Господи помилуй, какая такая леди? Вон ты вы зовете леди? Таких леди в городе хоть пруд пруди. Леди! Сразу видно, что город вам в новинку!

Я вспыхнул от гнева.

— Эй ты, — крикнул я, — веди меня, куда ведено, и держи свой скверный язык за зубами!

Он повиновался лишь отчасти, он больше не обращался ко мне, зато на редкость неприятным голосом и немилосердно фальшивя затянул песню, звучащую, как наглый намек:

Красотка наша Мэлли Ли по улице гуляет,
Чепец слетел, ей хоть бы что, лишь глазками стреляет.
А мы налево, мы направо, мы за ней пошли,
Все полубезничать хотят с красоткой Мэлли Ли!

ГЛАВА II СТРЯПЧИЙ ИЗ ГОРНОГО КРАЯ

К жилищу мистера Чарлза Стюарта, стряпчего, вела лестница, длиннее которой, наверно, не выкладывал ни один каменщик в мире — в ней было, маршей пятнадцать, не меньше. Наконец, я добрался до двери, и, когда открывший мне — клерк сказал, что хозяин у себя, я, еле переводя дух, отослал рассыльного прочь.

— Убирайся на все четыре стороны, — сказал я, отогал у него мешок с деньгами и вслед за клерком вошел в дверь.

В первой комнате была контора; здесь у стола, заваленного деловыми бумагами, стоял стул клерка. Во второй, смежной, комнате, небольшой человек с подвижным лицом сосредоточенно читал какой-то документ; он сразу поднял на меня глаза и держал палец на недочитанной строчке, словно намереваясь выставить меня вон и снова продолжить чтение. Мне это не

— слишком понравилось, и еще меньше понравилось то, что клерку, по-видимому, было очень удобно подслушивать наш разговор.

— Вы мистер Чарлз Стюарт, стряпчий? — спросил я.

— Он самый, — ответил стряпчий, — а вы, позвольте узнать, кто такой?

— Имя мое вам ничего не скажет, — ответил я, — но я покажу вам памятку от друга, которого вы хорошо знаете. Вы его хорошо знаете, — повторил я, понизив голос, — но, быть может, при нынешних обстоятельствах не так уж стремитесь получать от него, вести. И дела, о которых я должен с вами поговорить, секретного свойства. Одним словом, я хотел бы знать, что нас с вами никто не слышит.

Ничего не ответив, он поднялся, с досадой бросил на стол недочитанную бумагу, отослал клерка с каким-то поручением и запер за ним входную дверь.

— Ну, сэр, — сказал он, возвратясь, — выкладывайте, с чем пришли, и ничего не бойтесь. Но прежде я вам скажу, что уже предчувствую нырнет — нести! — воскликнул он. — Заранее знаю, либо вы сами один из Стюартов, либо кто-то из Стюартов вас послал. Это — славное имя, и грешно было бы сыну моего отца относиться к нему неуважительно. Но когда я его слышу, меня кидает в дрожь.

— Мое имя — Бэлфур, — сказал я. — Дэвид Бэлфур из Шоса. А кто меня прислал, об этом вам скажет вот что. — И я показал ему серебряную пуговицу.

— Спрячьте ее в карман, сэр! — закричал он. — Не нужно называть никаких имен. Чертов шалопай, узнаю я эту его пуговицу! Пусть ею дьявол любуется! Где он сейчас, этот головорез?

Я сказал, что мне неизвестно, где Алан, но у него есть надежное (так он, по крайней мере, считал) убежище, где так в ветреной стороне; там он будет

скрываться, пока ему не добудут корабль. Я рассказал также, где и как с ним можно встречаться.

— Я так и знал, что рано или поздно меня вздернут на виселицу из-за моих родственничков, — воскликнул стряпчий, — и, как видно, этот день настал! Добыть ему корабль — слышали? А кто будет платить? Он рехнулся, этот малый?

— Об этом позабочусь я, мистер Стюарт, — сказал я. — В этом мешке немалые деньги, а если не хватит, найдется и еще.

— Мне незачем спрашивать, каковы ваши политические убеждения.

— Спрашивать незачем, — улыбнулся я. — Я виг до мозга костей.

— Погодите, погодите, — сказал мистер Стюарт. — Как это так? Вы виг? Тогда почему же вы явились ко мне с пуговицей Алана? И что это за странная затея, мистер виг? Он осужденный мятежник, убийца, голова которого оценена в двести фунтов, и вы просите меня вмешаться в его дела, а потом объявляете, что вы виг! Что-то не попадались мне такие виги, хотя знавал я их немало!

— Да, он осужденный мятежник, — сказал я, — и это тем прискорбнее, что он мой друг. Могу только пожалеть, что у него не было наставников получше. Алана, на беду его, обвиняют в убийстве, это верно, но обвиняют несправедливо.

— От вас первого это слышу, — сказал Стюарт.

— Скоро услышите не только от меня. Алан Брек невиновен, и Джемс тоже.

— Ну! — отмахнулся он. — Эти двое всегда заодно. Если один чист, значит, и другой не может быть замаран.

Я вкратце рассказал ему о том, как я познакомился с Аланом, как случайно оказался свидетелем эпинского убийства, о том, что приключилось с нами в вересковых пустошах во время бегства, и о том, как я стал владельцем поместья.

— Итак, сэр, — продолжал я, — зная все эти события, вы поймете, каким образом я стал причастен к делим ваших родичей и друзей. Хотелось бы только, ради нашего общего блага, чтобы эти дела были не столь запутанными и кровавыми. И теперь, как вы понимаете, у меня есть некоторые поручения, с которыми неудобно обращаться к первому попавшемуся адвокату. Мне ничего не остается, как спросить вас, согласны ли вы вести эти дела.

— Не скажу, чтобы я горел таким желанием, но раз вы пришли с пуговицей Алана, мне, пожалуй, выбирать не приходится. Каковы же ваши поручения?

— Прежде всего тайком вывезти Алана из этой страны, — сказал я. — Но этого, наверное, я мог бы и не повторять.

— Да уж вряд ли я могу это забыть.

— Затем, я должен немного денег Клуни. Мне едва ли удастся найти оказию, но для вас это, вероятно, не составит труда. Всего долгу два фунта пять шиллингов и три четверти пенса в английской валюте.

Он записал это.

— В Ардгуре есть некий мистер Хендерленд, проповедник и миссионер,

которому мне хотелось бы послать нюхательного табаку; и так как вы, я полагаю, общаетесь со своими друзьями в Эпине (это ведь рядом!), то, без сомнения, это дело вам будет так же нетрудно исполнить, как и первое.

— Сколько нужно табаку? — спросил он.

— Пожалуй, два фунта.

— Два, — повторил он.

— Затем, там, в Лаймкилнсе, есть девушка, Элисон Хэсти, — сказал я. — Та самая, что помогла нам с Аланом переправиться через Форт. Мне думается, если бы я мог подарить ей хорошее воскресное платье, соответствующее ее положению, то это облегчило бы мою совесть, так как, честно говоря, оба мы обязаны ей жизнью.

— Я рад убедиться, что вы экономны, мистер Бэлфур, — сказал стряпчий, записывая.

— Не годится проматывать деньги, едва успев разбогатеть, — сказал я.

— А теперь будьте добры подсчитать расходы и прибавить то, что вы возьмете за труды. Мне хотелось бы знать, останутся ли у меня карманные деньги. Не потому, что мне жаль отдать все, чтобы спасти Алана, и не потому, что больше у меня ничего нет, но, взяв такую сумму в первый день, мне кажется, было бы неловко назавтра просить еще. Только, пожалуйста, проверьте, хватит ли на все этих денег, — добавил я, — потому что у меня нет никакого желания встречаться с вами снова.

— Отлично, мне приятно убедиться, что вы еще и осмотрительны, — сказал стряпчий. — Но не рискованно ли с вашей стороны доверять мне такую значительную сумму?

Он произнес это с нескрываемой насмешкой.

— Что ж, придется рискнуть, — ответил я. — Ах, да, я должен просить вас еще об одной услуге: посоветуйте, где мне поселиться, у меня ведь нет здесь крыши над головой. Только нужно устроить так, будто я нашел это жилище случайно; не дай бог, если Генеральный прокурор заподозрит, что мы знакомы.

— Пусть успокоится ваш неугомонный дух, — сказал стряпчий. — Я никогда не произнесу вашего имени, сэр, а прокурору надо глубоко посочувствовать: он, бедняга, даже не знает о вашем существовании.

Я понял, что с этим человеком надо говорить по-другому.

— Значит, для него скоро настанет счастливый день, — сказал я, — ибо хочет он того или нет, но завтра, когда я явлюсь к нему, он узнает о моем существовании.

— Когда вы к нему явитесь? — поразился мистер Стюарт. — Кто из нас сошел с ума, я или вы? Зачем вы пойдете к прокурору?

— Да просто затем, чтобы сдать ему, — ответил я.

— Мистер Бэлфур! — воскликнул стряпчий. — Вы смеетесь надо мной?

— Нисколько, сэр, — сказал я, — хотя мне кажется, что вы позволили себе такую вольность по отношению ко мне. Но вы должны усвоить раз и навсегда, что мне не до шуток.

— Мне также, — сказал Стюарт. — И вы тоже должны усвоить, как вы изволили выразиться, что мне все меньше и меньше нравится ваше поведение.

Вы пришли ко мне с целым ворохом прожектов, тем самым вовлекая меня в разного рода сомнительные дела и заставляя вступать в общение с разными весьма подозрительными личностями. А затем заявляете, что прямо из моей конторы идете с повинной к Генеральному прокурору! Ни пуговица Алана, ни две его пуговицы, ни сам Алан целиком не вынудят меня впутываться в ваши дела.

— Я бы на вашем месте не стал так горячиться, — сказал я. — Наверное, можно избежать того, что вам так не по душе. Но я не вижу иного способа, кроме как явиться к Генеральному прокурору; если вы придумаете что-либо другое, то, скажу откровенно, у меня гора свалится с плеч, ибо я побаиваюсь, что переговоры с его светлостью повредят моему здоровью. Для меня ясно одно: я как свидетель должен рассказать то, что знаю; Я надеюсь спасти честь Алана, если от нее еще что-то осталось, и голову Джемса — а тут медлить нельзя.

Стряпчий секунду помолчал.

— Послушайте, милейший, — сказал он затем, — вам ни за что не позволят дать такие показания.

— Это мы еще посмотрим, — ответил я. — Я могу быть упрямым, если захочу.

— Неслыханный болван! — закричал Стюарт. — Да ведь им нужен Джемс! Они хотят повесить Джемса, — Алана тоже, если он попадетсЯ им в руки, но Джемса уж непременно! Попробуйте-ка подступиться к прокурору с таким делом и увидите, он сумеет быстро заткнуть вам рот.

— Я лучшего мнения о Генеральном прокуроре, — возразил я.

— Да что там прокурор! — воскликнул он. — Кемпбеллы — вот кто сила, милейший! Они накинутся на вас всем кланом, и на прокурора, беднягу, тоже. Просто поразительно, как вы сами этого не понимаете. Если они не заставят вас замолчать добром, то пойдут на любую подлость. Они засадят вас на скамью подсудимых, неужели вы не понимаете? — кричал он, тыча пальцем в мое колено.

— Да, — сказал я. — Не далее, как сегодня утром, мне то же самое сказал другой стряпчий.

— Кто же это? — спросил Стюарт. — Как видно, он человек дельный.

Я ответил, что мне неудобно называть его имя: это почтенный старый виг, который не желает вмешиваться в подобные дела.

— По-моему, весь мир уже замешан в это дело! — воскликнул Стюарт. — Но что же он вам сказал?

Я пересказал ему свой разговор с Ранкилером перед домом в Шосе.

— Ну да, и вас повесят, — сказал стряпчий. — Будете болтаться на виселице рядом с Джемсом Стюартом. Это вам на роду написано.

— Надеюсь, меня ждет лучший удел, — сказал я, — но спорить не стану: здесь есть известный риск.

— Риск! — Стряпчий хмыкнул и опять помолчал. — Следовало бы поблагодарить вас за преданность моим друзьям, которых вы так ретиво защищаете,

— произнес он, — если только у вас хватит сил устоять. Но предупреждаю, вы ходите по краю пропасти. И я хоть и сам из рода Стюартов, но я не желал бы очутиться на вашем месте даже ради всех Стюартов, живших на земле со времен праотца Ноя. Риск? Да, рисковать я готов сколько угодно, но сидеть на скамье подсудимых перед кемпбелловскими присяжными и кемпбелловским судьей, на кемпбелловской земле, из-за кемпбелловской распри... думайте обо мне что хотите, Бэлфур, но это свыше моих сил!

— Должно быть, мы просто по-разному смотрим на вещи, — сказал я. — Мои убеждения внушил мне отец.

— Да будет ему земля пухом! Сын не посрамит его имени, — сказал стряпчий. — И все же, не судите меня слишком строго. Я в чрезвычайно трудном положении. Видите ли, сэр, вы заявляете, что вы виг; а я сам не знаю, кто я. Но уж, конечно, не виг; я не могу быть всего лишь вигом. Но

— пусть это останется между нами — и другая партия, быть может, мне не очень по душе.

— Неужели это так? — воскликнул я. — От человека с вашим умом я другого и не ждал!

— Хо! Не пытайтесь ко мне подольститься. Умные люди есть и на той и на другой стороне. Я лично не испытываю особого желания обижать короля Георга; а что до короля Иакова, благослови его господь, то по мне он вполне хорош и за морем. Я стряпчий, понимаете, мне бы только книги да бутылочку чернил, хорошую защитительную речь, хорошо составленную бумагу, да стаканчик вина в здании парламента с другими стряпчими, да, пожалуй, субботним вечером партию в гольф. И при чем тут вы, с вашими горскими пледами и палашами?

— Да, — сказал я, — вы, пожалуй, мало похожи на дикого горца.

— Мало? — удивился он. — Да ничуть, милейший мой! И все же я родился в горах, и когда клан играет на волынке, кто должен плясать, как не я? Мой клан и мое имя — вот что главное. Меня, как и вас, тоже учил этому отец, и хорошими же делами я занимаюсь! Измены и изменники, переправка их сюда и отсюда, и французские рекруты, пропади они пропадом, и переправка этих рекрутов, и их иски — ох, уж эти иски! Вот сейчас я веду дело молодого Ардшила, моего двоюродного брата; он претендует на поместье на основании брачного контракта, а именье-то конфискованное! Я говорил им, что это вздор, но им хоть бы что! И вот я пыжился, как мог, перед другим адвокатом, которому это дело так же не нравится, как и мне, потому что это чистая погибель для нас обоих — это непочтенно, это пятно на нашем добром имени, вроде хозяйского тавра на коровьей шкуре! Но что я могу поделывать? Я принадлежу к роду Стюартов и должен лезть из кожи вон ради своей родни и своего клана. А тут не далее как вчера одного из Стюартов бросили в Замок. За что? Я знаю, за что: акт семьсот тридцать шестого года, вербовка рекрутов для короля Людовика. И вот увидите, он кликнет меня себе в адвокаты, и на моем имени будет еще одно пятно! Честно вам скажу: знай я хоть одно слово по-древнееврейски, я бы плюнул на все и пошел в священники!

— Да, положение у вас трудное, — согласился я.

— Трудней трудного! — воскликнул он. — И потому я гляжу на вас с невольным уважением — вы ведь не Стюарт, но с головой увязли в делах Стюартов. А ради чего, я не знаю; разве только из чувства долга?

— Думаю, что вы правы, — ответил я.

— Что ж, это превосходное качество. Но вот вернулся мой клерк, и с вашего позволения мы втроем немножко перекусим. А потом я направлю вас к одному весьма достойному человеку, который охотно возьмет вас в жильцы. И я сам наполню ваши карманы, кстати, из вашего же собственного мешка. Все это будет стоить не так много, как вы полагаете, даже корабль.

Я знаком дал ему понять, что нас может слышать клерк.

— Пусть себе, можете не бояться Робби, — сказал стряпчий. — Он сам из Стюартов, бедняга. Он переправил больше французских рекрутов и беглых папистов, чем у него волос на подбородке. Эта часть моей деятельности всецело в его ведении. Кто у нас сейчас может переправить человека за море, Роб?

— Скажем, Энди Скаугел на «Репейнике», — ответил Роб. — Вчера я видел Хозисона, только, кажется, у него еще нет корабля. Потом еще Тэм Стобо; но я что-то в Тэме не уверен. Я видел, как он шептался с какими-то подозрительными нетрезвыми личностями, и если речь идет о важной персоне, я бы с Тэмом не стал связываться.

— За голову этого человека обещано двести фунтов, Робин, — сказал Стюарт.

— Господи боже мой, неужели это Алан Брек? — воскликнул клерк Робин.

— Он самый.

— Силы небесные! Это дело серьезное, — сказал клерк. — Тогда попробую столкнуться с Энди; Энди будет самый подходящий...

— Я вижу, большая у вас работа, — заметил я.

— Мистер Бэлфур, ей конца нет, — ответил Стюарт.

— Ваш клерк назвал одно имя — Хозисон, — продолжал я. — Кажется, я его знаю, это Хозисон с брига «Завет». Вы ему доверяете?

— Он скверно поступил с вами и Аланом, — сказал стряпчий Стюарт, — но вообще-то я о нем хорошего мнения. Если уж он примет Алана на борт своего корабля на определенных условиях, то я не сомневаюсь, что он честно выполнит уговор. Что ты скажешь, Роб?

— Нет честнее шкипера, чем Эли, — сказал клерк. — Слову Эли я бы доверился, как Шевалье или самому Эпину, — добавил он.

— Ведь это он привез тогда доктора, верно? — спросил стряпчий.

— Да, он, — подтвердил клерк.

— И, кажется, отвез его назад? — продолжал Стюарт.

— Да, причем у того был полный кошель денег, — сказал Робин. — И Эли об этом знал.

— Как видно, человека с первого взгляда не раскусишь, — сказал я.

— Вот об этом-то я и забыл, когда вы ко мне вошли, мистер Бэлфур, — сказал стряпчий.

ГЛАВА III

Я ИДУ В ПИЛРИГ

На следующее утро, едва я проснулся в своем новом жилище, как тотчас же вскочил и надел свое новое платье; и едва проглотил завтрак, как сразу же отправился навстречу новым приключениям. Теперь можно было надеяться, что с Аланом будет все благополучно, но спасение Джемса — дело куда более трудное, и я невольно опасался, что это предприятие обойдется мне чересчур дорого, как утверждали все, с кем я делился своими планами. Похоже, что я вскарабкался на вершину горы только затем, чтобы броситься вниз; я прошел через множество суровых испытаний, достиг богатства, признания своих прав, возможности носить городскую одежду и шпагу на боку, и все это лишь затем, чтобы в конце концов совершить самоубийство, причем самоубийство наихудшего рода: то есть дать себя повесить по указу короля.

«Ради чего я это делаю?» — спрашивал я себя, шагая по Хай-стрит и свернув затем к северу по Ли-Уинд. Сначала я попробовал внушить себе, что хочу спасти Джемса Стюарта; я вспомнил его арест, рыдания его жены и сказанные мною в тот час слова, и это соображение показалось мне весьма убедительным. Но тут же я подумал, что, в сущности, мне, Дэвиду Бэлфуру, нет (или не должно быть) никакого дела до того, умрет ли Джемс в своей постели или на виселице. Конечно, он родня Алану; но что касается Алана, то ему лучше всего было бы где-то притаиться, и пусть костями его родича распорядятся как им угодно король, герцог Аргайлский и воронье. Я к тому же не мог забыть, что, когда мы все вместе были в беде. Джемс не слишком заботился ни об Алане, ни обо мне.

Затем мне пришло в голову, что я действую во имя справедливости: какое прекрасное слово, подумал я, и в конце концов пришел к заключению, что (поскольку мы на свое несчастье живем среди дел политических) самое главное для нас — соблюдать справедливость; а казнь невинного человека — это рана, нанесенная всему обществу. Потом во мне заговорил другой голос, пристыдивший меня за то, что я вообразил себя участником этих важных событий, обозвавший меня тщеславным мальчишкой-пустозвоном, который наговорил Ранкилеру и Стюарту громких слов и теперь единственно из самолюбия старается выполнить свои хвастливые обещания. Но мало этого, тот же голос нанес мне удар побольнее, обвинив меня в своего рода трусливой хитрости, в том, что я хочу ценою небольшого риска купить себе полную безопасность. Да, конечно, пока я не явлюсь к Генеральному прокурору и не докажу свою непричастность к преступлению, я в любой день могу попасться на глаза Манго Кемпбеллу или помощнику шерифа, меня опознают и за шиворот втянут в эпинское убийство. И, конечно, если я дам свои показания и это кончится для меня благополучно, мне будет потом дышаться гораздо легче. Но, обдумав этот довод, я не нашел в нем ничего постыдного. Что касается остального, то есть два пути, думал я, и оба ведут к одному и тому же. Если Джемса повесят, в то время, как я мог бы его спасти, это будет несправедливо; если я, наобещав так много, не сделаю ничего, я буду смешон в своих

собственных глазах. Мое бахвальство оказалось счастьем для Джемса из Глена и не таким уж несчастьем для меня, ибо теперь я обязан поступить по долгу совести. Я ношу имя благородного джентльмена и располагаю состоянием джентльмена; худо, если окажется, что в душе я не джентльмен. Но тут же я упрекнул себя, что так рассуждать может только язычник, и прошептал молитву, прося ниспослать мне мужества, чтобы я мог, не колеблясь, исполнить свой долг, как солдат в сражении, и остаться невредимым.

Эти мысли придали мне решимости, хотя я нисколько не закрывал глаза на грозившую мне опасность и сознавал, насколько я близок (если пойду по этому пути) к шаткой лесенке под виселицей. Стояло погожее, ясное утро, но дул восточный ветер; свежий его холодок студил мне кровь и наводил на мысли об осени, о мертвых листьях, о мертвых телах, лежащих в могилах. Мне подумалось, что если я умру сейчас, когда в моей судьбе произошел счастливый поворот, и умру к тому же за чужие грехи, то это будет делом рук самого дьявола. На верхушке Келтонского холма бегали дети, с криками запуская бумажных змеев, хотя это время года считалось неподходящим для таких забав. Бумажные змеи четко выделялись в синеве; я видел, как один из них высоко взлетел на ветру в небо и тут же рухнул в кусты дрока.

«Вот так и ты, Дэви», — подумал я, глядя на него.

Путь мой лежал через Маутерский холм, мимо маленькой деревушки среди полей на его склоне. Здесь из каждого дома доносилось гудение ткацкого станка, в садиках жужжали пчелы; соседи, стоя у своих дверей, переговаривались на незнакомом мне языке; позже я узнал, что это была Пикардия, деревня, где французские ткачи работали на Льнопрядильную Компанию. Здесь мне указали путь на Пилриг, цель моего путешествия; пройдя немного, я увидел у дороги виселицу, на которой болтались два тела в цепях. По обычаю вымазанные дегтем, звякая цепями, они раскачивались на ветру, а птицы с криком носились вокруг этих жутких марионеток. Неожиданное зрелище служило как бы наглядным подтверждением моих страхов; проникаясь тоскливым чувством, я не мог оторвать от него глаз. Я стал обходить виселицу кругом и вдруг наткнулся на зловещую древнюю старуху, которая сидела, прислонясь к столбу и что-то приговаривая, кивала, кланялась и манила меня рукой.

— Кто они, матушка? — спросил я, указывая на мертвецов.

— Бог да благословит тебя, драгоценный мой! — воскликнула она. — Это мои милые дружки, оба были моими милыми, голубчик.

— За что их казнили? — спросил я.

— Да за дело, — сказала старуха. — Сразу, как только я им судьбу предсказала. Два шотландских шиллинга и ни чуточки больше, и вот два славных красавчика за это болтаются на веревке. Они их отняли у мальчишки из Броутона.

— Да! — сказал я себе, а не сумасшедшей старухе. — Неужели они поплатились жизнью за такой пустяк? Вот уж поистине полный проигрыш!

— Дай твою руку, голубчик, — бормотала старуха, — дай, я предскажу твою судьбу.

— Не надо, матушка, — ответил я. — Пока что я и сам ее вижу. Нехорошо заглядывать слишком далеко вперед.

— Твоя судьба у тебя на лбу написана, — продолжала старуха. — Есть у тебя славная девушка с блестящими глазками, и есть маленький человек в коричневой одежде, и большой человек в пудреном парике, а поперек твоей дороги, миленький мой, лежит тень виселицы. Покажи руку, голубочек, и старая Меррен расскажет тебе все, как есть.

Два случайных совпадения — Алан и дочь Джемса Мора! — поразили меня так сильно, что, швырнув этому страшному существу полпенни, я бросился прочь, а старуха все так же сидела под качающимися тенями повешенных и играла монеткой.

Идти по мощенной щербом Лит-Уокской дороге было бы гораздо приятнее, если бы не эта встреча. Древний вал тянулся между полей — я никогда еще не видел столь тщательно возделанной земли; кроме того, мне было отрадно снова очутиться в деревенской глуши; но в ушах у меня звенели кандалы на виселице, перед глазами мелькали ужимки и гримасы старой ведьмы, и мысль о повешенных преследовала меня, словно дурной сон. Быть повешенным — страшная участь; а что привело человека на виселицу — два ли шотландских шиллинга или, как сказал мистер Стюарт, чувство долга, то, если он закован в цепи, вымазан дегтем и повешен, разница не очень велика. Вот так же может висеть и Дэвид Бэлфур, и какие-то юнцы, проходя мимо по своим делам, мельком подумают о нем и забудут, а старая полоумная ведьма будет сидеть у столба и предсказывать им судьбу, а чистенькие красивые девушки мимоходом взглянут, отвернутся и заткнут носик. Я представлял себе их очень ясно — у них серые глаза и шарфы цвета Драммондов на шляпках.

Я был сильно подавлен всем этим, но решимость моя ничуть не ослабела, когда я увидел перед собой Пилриг, приветливый дом с остроконечной кровлей, стоявший у дороги среди живописных молодых деревьев. У дверей стояла оседланная лошадь хозяина; он принял меня в своем кабинете, среди множества ученых книг и музыкальных инструментов, ибо он был не только серьезным философом, но и неплохим музыкантом. Он сердечно поздоровался со мной и, прочитав письмо Ранкилера, любезно сказал, что он к моим услугам.

— Но что же, родич мой Дэвид, — ведь мы с вами, оказывается, двоюродная родня? что же я могу для вас сделать? Написать Престонгрэнджу? Разумеется, это мне нетрудно. Но что я должен написать?

— Мистер Бэлфур, — сказал я, — если бы я поведал вам всю свою историю с начала до конца, то мне думается — и мистер Ранкилер того же мнения, — что вам она пришлась бы не по душе.

— Очень прискорбно слышать это от родственника, — сказал он.

— Поверьте, я не заслужил этих слов, мистер Бэлфур, — сказал я. — На мне нет такой вины, которая была бы прискорбна для меня, а из-за меня и для вас — разве только обыкновенные человеческие слабости. «Первородный грех Адама, недостаток прирожденной праведности и испорченность моей натуры» — вот мои грехи, но меня научили, где искать помощи, — добавил я, так как, глядя на этого человека, решил, что произведу на него лучшее впечатление,

если докажу, что знаю катехизис. — Но если говорить о мирской чести, то против нее у меня нет больших прегрешений, и мне не в чем себя упрекнуть; а в трудное положение я попал против своей воли и, насколько я понимаю, не по своей вине. Беда моя в том, что я оказался замешанным в сложное политическое дело, о котором, как мне говорили, вам лучше не знать.

— Что же, отлично, мистер Дэвид, — ответил он. — Рад, что вы оказались таким, как описал вас Ранкилер. А что касается политических дел, то вы совершенно правы. Я стараюсь быть вне всяких подозрений и держусь подальше от политики. Одного лишь не пойму: как я могу оказать вам помощь, не зная ваших обстоятельств.

— Сэр, — сказал я, — достаточно, если вы напишете его светлости Генеральному прокурору, что я молодой человек из довольно хорошего рода и с хорошим состоянием — и то и другое, по-моему, соответствует истине.

— Так утверждает и Ранкилер, — сказал мистер Бэлфур, — а это Для меня самое надежное ручательство.

— Можно еще добавить (если вы поверите мне на слово), что я верен англиканской церкви, предан королю Георгу и в таком духе был воспитан с детства.

— Все это вам не повредит, — заметил мистер Бэлфур.

— Затем, вы можете написать, что я обращаюсь к его светлости по чрезвычайно важному делу, связанному со службой его величеству и со свершением правосудия.

— Так как вашего дела я не знаю, — сказал мистер Бэлфур, — то не могу судить, сколь оно значительно. Поэтому слово «чрезвычайно» мы опустим, да и «важное» тоже. Все остальное будет написано так, как вы сказали.

— И еще одно, сэр, — сказал я, невольно потрогав пальцем шею, — мне очень хотелось бы, чтобы вы вставили словечко, которое при случае могло бы сохранить мне жизнь.

— Жизнь? — переспросил он. — Сохранить вам жизнь? Вот это мне что-то не нравится. Если дело столь опасно, то, честно говоря, я не испытываю желания вмешиваться в него с завязанными глазами.

— Я, пожалуй, могу объяснить его суть двумя словами, — сказал я.

— Да, вероятно, так будет лучше.

— Это эпинское убийство, — произнес я.

Мистер Бэлфур воздел руки кверху.

— Силы небесные! — воскликнул он.

По выражению его лица и по голосу я понял, что потерял защитника.

— Позвольте мне объяснить... — начал я.

— Благодарю покорно, я больше ничего не желаю слышать, — сказал он. — Я *in toto* [1] отказываюсь слушать. Ради имени, которое вы носите, и ради Ранкилера, а быть может, отчасти и ради вас самого, я сделаю все для меня возможное, чтобы помочь вам; но об этом деле я решительно ничего не желаю знать. И считаю своим долгом предостеречь вас, мистер Дэвид. Это глубокая трясина, а вы еще очень молоды. Будьте осторожны и подумайте дважды.

— Надо полагать, я думал больше, чем дважды, мистер Бэлфур, — сказал

я. — Позволю себе напомнить вам о письме Ранкилера, в котором он — верю и надеюсь! — выражает одобрение тому, что я задумал.

— Ну, ладно, ладно, — сказал мистер Бэлфур и еще раз повторил: — Ладно, ладно. Сделаю все, что могу. — Он взял перо и бумагу, немного помедлил и стал писать, обдумывая каждое слово. — Стало быть, Ранкилер одобряет ваши намерения? — спросил он немного погодя.

— Мы обсудили их, и он сказал, чтобы я, уповая на бога, шел к своей цели.

— Да, без божьей помощи вам не обойтись, — сказал мистер Бэлфур и снова принялся писать. Наконец, он поставил свою подпись, перечел написанное и опять обратился ко мне: — Ну, мистер Дэвид, вот вам рекомендательное письмо, я приложу свою печать, но заклеивать конверт не стану и дам его вам незапечатанным, как положено по этикету. Но поскольку я действую вслепую, я прочту его вам, а вы смотрите сами, то ли это, что вам нужно.

"Пилриг, 26 августа 1751 года.

Милорд!

Позволю себе представить вам моего однофамильца и родственника Дэвида Бэлфура из Шоса, молодого джентльмена незапятнанного происхождения, владеющего хорошим состоянием. Кроме того, он обладает и более ценным преимуществом — благочестивым воспитанием, а политические его убеждения таковы, что ваша светлость не может желать ничего лучшего. Я не посвящен в дела мистера Бэлфура, но, насколько мне известно, он намерен сообщить вам нечто, касающееся службы его величеству и свершения правосудия, то есть того, о чем, как известно, неустанно печется ваша светлость. Мне остается добавить, что намерение молодого джентльмена знают и одобряют несколько его друзей, которые с надеждой и волнением будут ждать удачного или неудачного исхода дела".

— Затем, — продолжал мистер Бэлфур, — следуют обычные изъявления преданности и подпись. Вы заметили, я написал «несколько друзей»; надеюсь, вы можете подтвердить, что я не преувеличиваю?

— Несомненно, сэр, мои цели и намерения знают и одобряют не один, а несколько человек, — сказал я. — А что касается вашего письма, за которое с вашего разрешения я приношу вам благодарность, то оно превзошло мои надежды!

— Это все, что я сумел из себя выжать, — сказал он, — и, зная, что это за дело, в которое вы намерены вмешаться, я могу только молить бога, чтобы мое письмо принесло вам пользу.

ГЛАВА IV ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР ПРЕСТОНГРЭНДЖ

Мой родственник заставил меня отобедать с ним — «дабы поддержать честь дома», — сказал он; поэтому на обратном пути я шагал гораздо быстрее. Я думал только о том, как бы поскорее покончить со следующей частью моего дела, и спешил навстречу опасности; ведь для человека в моем положении

возможность отделаться от колебаний и искушения сама по себе очень соблазнительна; тем сильнее было мое разочарование, когда я, добравшись до дома Престонгрэнджа, услышал, что его нет. Должно быть, мне сказали правду, и его в самом деле не было дома ни в ту минуту, ни в последующие несколько часов; но потом я убедился, что Генеральный прокурор вернулся и принимает в соседней комнате гостей, а о моем присутствии, очевидно, просто позабыли. Я бы давно ушел, если бы не страстное желание немедленно рассказать все, что я знаю, чтобы наконец-то заснуть со спокойной совестью. Сначала я пробовал читать: в маленьком кабинете, где я ждал, были всевозможные книги. Но, боюсь, от этого чтения было мало проку; а небо тем временем заволокли тучи, сумерки наступили раньше обычного, а кабинетик освещался оконцем вроде бойницы, и в конце концов мне пришлось отказаться от единственного развлечения (если это можно так назвать) и остальное время ждать в тягостном безделье. Впрочем, одиночество мое несколько скрашивали доносившиеся из ближней комнаты приглушенные разговоры, приятные звуки клавикордов и поющий женский голос.

Не знаю, который был час, но уже давно стемнело, когда дверь кабинета открылась и на пороге появился освещенный сзади высокий мужчина. Я тотчас же встал.

— Здесь кто-то есть? — спросил вошедший. — Кто это?

— Я пришел к Генеральному прокурору с письмом от лорда Пилригского, — ответил я.

— И давно вы здесь?

— Боюсь назвать точно, сколько именно часов, — сказал я.

— Впервые об этом слышу, — с коротким смешком отозвался вошедший. — Должно быть, моя челядь позабыла о вас. Но вы своего добились, я Престонгрэндж.

С этими словами он прошел в смежную комнату, куда по его знаку я последовал за ним и где он зажег свечу и сел за письменный стол. Это была длинная, но просторная комната, сплошь уставленная книжными полками вдоль стен. Огонек свечи в углу слабо освещал статную фигуру и энергичное лицо Генерального прокурора. Он был красен, глаза его влажно блестели, и, идя к столу, он заметно пошатывался. На нем, несомненно, сказывался обильный ужин, однако и разум и язык повиновались ему полностью.

— Ну что же, садитесь, сэр, — сказал он, — и давайте сюда письмо из Пилрига.

Он небрежно пробежал глазами начало письма, взглянул на меня и кивнул, дойдя до моего имени, но последние строчки, как мне показалось, прочел с удвоенным вниманием — я даже могу поручиться, что он перечел их дважды. Вполне понятно, что в это время у меня колотилось сердце: ведь я перешел свой Рубикон и очутился на поле битвы.

— Весьма приятно познакомиться с вами, мистер Бэлфур, — сказал он, дочитав письмо. — Разрешите предложить вам стакан кларета.

— С вашего позволения, милорд, вряд ли это будет правильно, — ответил я. — Как сказано в письме, я пришел по важному для меня делу, а так как я не

привычен к вину, оно может подействовать на меня плохо.

— Что же, вам виднее, — сказал он. — Но если разрешите, я, пожалуй, выпил бы бутылочку.

Он позвонил, и слуга, словно по условному сигналу, внес бутылку вина и стаканы.

— Вы решительно не хотите присоединиться ко мне? — спросил прокурор.

— Ну, тогда — за продолжение знакомства! Чем могу вам служить?

— Вероятно, мне следует начать с того, милорд, что я явился по вашему настойчивому приглашению, — сказал я.

— Стало быть, у вас есть некоторое преимущество передо мной, ибо могу поклясться, что до нынешнего вечера я никогда о вас не слышал.

— Верно, милорд, мое имя вам совершенно незнакомо, — сказал я. — И все же вы с некоторых пор стремитесь встретиться со мной и даже объявили об этом публично.

— Желательно, чтобы вы подсказали мне разгадку, — ответил он. — Я не пророк Даниил.

— Быть может, вам будет легче понять меня, если я скажу, что, будь я расположен шутить — а это не так, — я бы мог потребовать с вашей милости двести фунтов.

— На каком основании? — осведомился он.

— На том основании, что за мою поимку обещана в объявлении награда, — сказал я.

Он резко отодвинул стакан и выпрямился в кресле, где до сих пор сидел развалившись.

— Как прикажете это понимать? — спросил он.

— "Высокий, крепкий юноша лет восемнадцати, — прочел я на память, — говорит чисто, не как горец, бороды не имеет".

— Помню эти слова, — сказал он, — и, если вы явились сюда с необдуманном намерением позабавиться, они могут стать для вас пагубными.

— Намерения мои серьезны, — отвечал я, — ибо речь идет о жизни и смерти, и вы меня отлично поняли, я тот, кто разговаривал с Гленуром, когда в него выстрелили.

— Раз вы явились ко мне, могу предположить только одно: вы считаете себя невиновным, — сказал он.

— Вы совершенно правы, — подтвердил я. — Я преданнейший слуга короля Георга, но если бы я знал за собой какую-нибудь вину, я бы поостерегся входить в логовище льва.

— Рад слышать, — сказал прокурор. — Это такое чудовищное преступление, мистер Бэлфур, что ни о каком помиловании не может быть речи. Варварски пролита человеческая кровь. Это убийство — прямой бунт против его величества, против всей системы наших законов, устроенный известными нам явными врагами. Мне это представляется делом весьма серьезным. Не стану скрывать, я полагаю, что преступление направлено лично против его величества.

— И к несчастью, милорд, — довольно сухо вставил я, — также и против другого высокопоставленного лица, которого я называть не стану.

— Если ваши слова — намек, то должен вам сказать, что странно их слышать из уст верного подданного. И если бы они были произнесены публично, я счел бы своим долгом взять их на заметку, — произнес прокурор. — Мне сдается, вы не сознаете серьезности вашего положения, иначе вы не стали бы ухудшать его намеками, порочащими правосудие. В нашей стране и в руках его скромного служителя Генерального прокурора правосудие нелицеприятно.

— Осмелюсь заметить, милорд, — сказал я, — что слова эти не принадлежат мне. Я всего лишь повторяю общую молву, которую слышал по всей стране и от людей самых различных убеждений.

— Когда вы научитесь осторожности, вы поймете, что такие речи не следует слушать, а тем более повторять, — сказал прокурор. — Но я не стану обвинять вас в злонамеренности. Знатный джентльмен, которого все мы чтим и который действительно задет этим варварским преступлением, имеет столь высокий сан, что его не может коснуться клевета. Герцог Аргайлский — видите, я с вами откровенен — принимает это близко к сердцу, так же, как и я, и оба мы должны поступать так, как того требуют наши судебные обязанности и служба его величеству; можно только пожелать, чтобы в наш испорченный век все руки были так же не запятнаны семейными распрями, как его. Но случилось так, что один из Кемпбеллов пал жертвой своего долга, ибо кто же, как не Кемпбеллы, всегда были впереди всех там, куда призывал их долг? Сам не будучи Кемпбеллом, я вправе это сказать! А глава этого знатного дома волею судьбы — и на благо нам! — сейчас является председателем Судебной палаты. И вот мелкие душонки и злые языки принялись бушевать во всех харчевнях страны, а молодые джентльмены вроде мистера Бэлфура оказываются столь неблагоразумными, что повторяют их пересуды. — Эту речь он произнес весьма напыщенно, словно ораторствуя в суде, потом вдруг перешел на свой обычный светский тон. — Но оставим это,

— сказал он. — Теперь мне остается узнать, что с вами делать?

— Я думал, что это я узнаю от вашей светлости, — сказал я.

— Да, конечно, — отозвался прокурор. — Но видите ли, вы пришли ко мне с надежной рекомендацией. Это письмо подписано хорошим, честным вигом. — Он приподнял лежавший на столе листок. — И, помимо судопроизводства, мистер Бэлфур, всегда есть возможность прийти к соглашению. Должен вам сказать заранее: будьте осторожнее, ваша судьба зависит всецело от меня. С позволения сказать, в подобных делах я могущественнее, чем его королевское величество, и если я буду вами доволен и, разумеется, если будет спокойна моя совесть, то обещаю, что наша беседа останется между нами.

— Как прикажете это понять? — спросил я.

— О, это весьма просто, мистер Бэлфур. Если я буду удовлетворен нашей беседой, то ни одна душа не узнает о том, что вы были у меня. Как видите, я даже не зову своего клерка.

Я догадался, к чему он клонит.

— Полагаю, что нет нужды сообщать кому-либо о моем визите, — сказал я, — хотя я не совсем понимаю, чем это для меня лучше. Я не стыжусь, что пришел к вам.

— Да и нет на то никаких причин, — ободряюще сказал он, — так же, как нет пока причин бояться последствий, если только вы будете благоразумны.

— Милорд, — сказал я, — смею уверить, что меня не так-то легко запугать.

— А я заверяю вас, что нисколько не стараюсь вас пугать, — возразил он. — Но приступим к допросу. И попрошу запомнить: отвечайте только на мои вопросы и яе добавляйте ничего лишнего. От этого может зависеть ваша участь. Я многое беру на свою ответственность — это правда, но всему есть пределы.

— Постараюсь следовать вашему совету, милорд, — ответил я.

Он положил перед собой лист бумаги и написал заголовок.

— Стало быть, вы, проходя через Леттерморский лес, оказались свидетелем рокового выстрела, — начал он. — Было ли это случайно?

— Да, случайно, — сказал я.

— Почему вы заговорили с Колином Кемпбеллом?

— Я спросил у него, как пройти в Охарн.

Я заметил, что он не стал записывать этот ответ.

— Гм, верно, — сказал он. — Я об этом позабыл. И знаете, мистер Бэлфур, я бы на вашем месте как можно меньше упоминал о ваших отношениях со Стюартами. Это, пожалуй, только осложнит дело. Я пока не вижу в таких подробностях ничего существенного.

— Я думал, милорд, что в подобном деле все факты одинаково важны.

— Вы забыли, что мы сейчас судим этих Стюартов, — многозначительно сказал он. — Если нам придется судить и вас, тогда совсем другое дело, тогда я буду настойчиво расспрашивать вас о том, что сейчас хочу пропустить. Однако продолжим. В показаниях мистера Манго Кемпбелла говорится, что вы сразу же бросились бежать вверх по склону. Это верно?

— Не сразу, милорд; побежал я потому, что увидел убийцу.

— Значит, вы его видели?

— Так же ясно, как вижу вас, милорд, хотя и не так близко.

— Вы его знаете?

— Я мог бы его узнать в лицо.

— Вы побежали за ним, но, очевидно, вам не удалось его догнать?

— Нет.

— Он был один?

— Да, он был один.

— И никого поблизости не было?

— Неподалеку в лесу был Алан Брек.

Прокурор положил перо.

— Я вижу, мы играем в «кто кого перетянет», — сказал он. — Эта забава может плохо для вас кончиться.

— Я стараюсь следовать совету вашей светлости и только отвечать на вопросы, — возразил я.

— Будьте благоразумнее и одумайтесь, пока не поздно. Я отношусь к вам с заботливым участием, которое вы, как видно, не цените; если вы не будете осмотрительнее, оно может оказаться напрасным.

— Я очень ценю ваше участие, но вижу, что происходит некое недоразумение, — сказал я чуть дрогнувшим голосом, ибо понял, что сейчас предстоит схватка. — Я пришел убедить вас своими показаниями, что Алан Брек совершенно непричастен к убийству Гленура.

Прокурор, казалось, на мгновение даже растерялся: он застыл, поджав губы и сузив глаза, как разозленная кошка.

— Мистер Бэлфур, — сказал он наконец. — Я решительно заявляю; вы поступаете во вред собственным интересам!

— Милорд, — ответил я, — в этом деле я так же мало считаюсь с собственными интересами, как и ваша светлость. Видит бог, я пришел сюда с единственной целью: добиться, чтобы свершилось правосудие и невиновный был оправдан. Если при этом я навлек на себя гнев вашей светлости — что же, я в ваших руках.

Он встал с кресла, зажег вторую свечу и пристально поглядел мне в глаза. Я с удивлением заметил, как резко изменилось выражение его лица: оно стало чрезвычайно серьезным, и мне даже показалось, что он побледнел.

— Вы либо чересчур наивны, либо совсем наоборот, и я вижу, что с вами надо говорить откровеннее, — сказал он. — Это — дело политическое... да, да, мистер Бэлфур, хотим мы того или нет, но это — политическое дело, и я дрожу при мысли о том, что оно за собой повлечет. Вряд ли нужно объяснять юноше, получившему такое воспитание, как вы, что к политическому делу мы относимся совсем по-иному, чем к обыкновенному уголовному. *Salus populi suprema lex* [2], — этот принцип допускает большие злоупотребления, но в нем есть та сила, которой проникнуты все законы природы, а именно: сила необходимости. Разрешите, я объясню вам несколько подробнее. Вы хотите, чтобы я поверил...

— Прощу прощения, милорд, я хочу, чтобы вы верили только тому, что я могу доказать, — перебил я.

— Ай-ай, молодой человек! — сказал он. — Не будьте столь дерзким и позвольте человеку, который годится вам по меньшей мере в отцы, изъясняться пусть даже неточно, но по-своему и беспрепятственно высказывать свои скромные суждения, даже если они, к сожалению, не совпадают с мнением мистера Бэлфура. Итак, вы хотите, чтобы я поверил в невиновность Брека. Я бы не придавал этому значения, тем более что мы не можем поймать беглеца. Но вопрос о невиновности Брека заведет нас слишком далеко. Признать его невиновность — значит отказаться от обвинения второго преступника, человека иного склада, давнего изменника, который уже дважды поднимал оружие против своего короля и дважды был помилован. Он подстрекатель всякого недовольства, и кто бы ни сделал тот выстрел, вдохновителем был, бесспорно, он. Мне незачем вам пояснять, что я говорю о Джемсе Стюарте.

— А я, ваша светлость, честно вам скажу, что пришел к вам в дом только для того, чтобы заявить о невиновности Алана и Джемса и сообщить, что я готов дать показания перед судом.

— Я вам так же честно отвечу, мистер Бэлфур, — сказал он, — что ваши показания по этому делу мне не желательны и я хочу, чтобы вы вовсе от них воздержались.

— Вы, человек, возглавляющий правосудие в нашей стране, толкаете меня на преступление! — воскликнул я.

— Я — человек, грудью стоящий за интересы своей страны, — ответил он, — и понуждаю вас из политической необходимости. Патриотизм не всегда нравствен в строгом смысле этого слова. Но вы, я полагаю, должны быть рады; ведь в этом ваше спасение. Факты — серьезная улика против вас, и если я еще попытаюсь вытащить вас из пропасти, то это, конечно, отчасти потому, что мне нравится честность, которую вы доказали, явившись ко мне, отчасти из-за письма Пилрига, но главным образом потому, что в этом деле для меня на первом месте — долг политический, а судейский долг — на втором. По этой причине я все с той же откровенностью повторяю вам: ваши показания мне не нужны.

— Не сочтите, милорд, мои слова за дерзость — я только называю вещи своими именами, — сказал я. — Но если ваша светлость не нуждается в моих показаниях, то, вероятно, другая сторона будет чрезвычайно им рада.

Престонгрэндж встал и принялся мерить шагами комнату.

— Вы уже не дитя, — сказал он, — вы должны ясно помнить сорок пятый год и мятежи, охватившие всю страну. В письме Пилрига говорится, что вы верный сын церкви и государства. Кто же спас их в тот роковой год? Я не говорю о его королевском величестве и солдатах, которые в свое время внесли немалую лепту; но страна была спасена, а сражение было выиграно еще до того, как Кемберленд захватил Драммосси. Кто же ее спас? Я еще раз спрашиваю, кто спас протестантскую веру и наше государство? Во-первых, покойный президент Каллоден; он был истинным героем, но благодарности так и не дождался; вот и я тоже — я все свои силы отдаю тому же делу и не жду иной награды, кроме сознания исполненного долга. Кто же еще, кроме президента? Вы знаете не хуже меня, это человек, о котором нынче злословят, вы сами намекнули на это в начале нашей беседы, и я вас пожурил. Итак, это герцог и великий клан Кемпбеллов. И вот один из Кемпбеллов подло убит во время несения королевской службы. Герцог и я — мы оба горцы. Но мы горцы цивилизованные, чего нельзя сказать о наших кланах, о наших многочисленных сородичах. В них еще сохранились добродетели и пороки дикарей. Они еще такие же варвары, как и эти Стюарты; только варвары Кемпбеллы стоят за правое дело, а варвары Стюарты — за неправое. Теперь судите сами. Кемпбеллы ждут отмщения. Если отмщения не будет, если ваш Джемс избегнет кары, Кемпбеллы возмутятся. А это означает волнения во всей горной Шотландии, которая и без того неспокойна и далеко не разоружена: разоружение — просто комедия...

— Могу это подтвердить, — сказал я.

— Волнения в горной Шотландии сыграют на руку нашему старому, недремлющему врагу, — продолжал прокурор, тыча пальцем в воздух и не переставая шагать по комнате, — и могу поручиться, что у нас снова будет сорок пятый год, на этот раз с Кемпбеллами в качестве противника. И что же, ради того, чтобы сохранить жизнь вашему Стюарту, который, кстати, уже осужден и за разные другие дела, кроме этого, — ради его спасения вы хотите ввергнуть родину в войну, рисковать попранием веры ваших отцов, поставить под угрозу жизнь и состояние многих тысяч невинных людей?.. Вот какие соображения влияют на меня и, надеюсь, в не меньшей мере повлияют на вас, мистер Бэлфур, если вы преданы своей стране, справедливому правительству и истинной вере.

— Вы откровенны со мной, милорд, и я вам за это очень признателен, — сказал я. — Со своей стороны, постараюсь быть не менее честным. Я понимаю, что ваши политические соображения совершенно здравы. Я понимаю, что на плечах вашей светлости лежит тяжелое бремя долга, понимаю, что ваша совесть связана присягой, которую вы дали, вступая на свой высокий пост. Но я простой смертный, я даже не дорос до того, чтобы называться мужчиной, и свой долг я понимаю просто. Я могу думать только о двух вещах: о несчастном, которому незаслуженно угрожает скорая и позорная смерть, и о криках и рыданиях его жены, которые до сих пор звучат у меня в ушах. Я не способен видеть дальше этого, милорд. Так уж я создан. Если стране суждено погибнуть, значит, она погибнет. И если я слеп, то молю бога просветить меня, пока не поздно.

Он слушал меня, застыв на месте, и стоял так еще некоторое время.

— Вот негаданная помеха! — произнес он вслух, но обращаясь к самому себе.

— А как ваша светлость намерены распорядиться мною? — спросил я.

— Знаете ли вы, — сказал он, — что, если я пожелаю, вы будете ночевать в тюрьме?

— Милорд, — ответил я, — мне приходилось ночевать в местах и похуже.

— Вот что, юноша, — сказал он, — наша беседа убедила меня в одном: на ваше слово можно положиться. Дайте мне честное слово, что вы будете держать в тайне не только то, о чем мы говорили сегодня вечером, но и все, что касается эпинского дела, и я отпущу вас на волю.

— Я дам слово молчать до завтра или до любого ближайшего дня, который вам будет угодно назначить, — ответил я. — Не думайте, что это хитрость; ведь если бы я дал слово без этой оговорки, то ваша цель, милорд, была бы достигнута.

— Я не собирался расставлять вам ловушку.

— Я в этом уверен, — сказал я.

— Дайте подумать, — продолжал он. — Завтра воскресенье. Приходите ко мне в понедельник утром, в восемь часов, а до этого обещайте молчать.

— Охотно обещаю, милорд. А о том, что я от вас слышал, обещаю молчать, пока богу будет угодно продлевать ваши дни.

— Заметьте, — сказал он затем, — что я не прибегаю к угрозам.

— Это еще раз доказывает благородство вашей светлости. Но все же я не настолько туп, чтобы не понять смысла не высказанных вами угроз.

— Ну, спокойной ночи, — сказал Генеральный прокурор. — Желаю вам хорошо выспаться. Мне, к сожалению, это вряд ли удастся.

Он вздохнул и, взяв свечу, проводил меня до входной двери.

ГЛАВА V В ДОМЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

На следующий день, в воскресенье, двадцать седьмого августа, мне удалось наконец осуществить свое давнее желание — послушать знаменитых эдинбургских проповедников, о которых я знал по рассказам мистера Кемпбелла. Но увы! С тем же успехом я мог бы слушать в Эссендине почтенного мистера Кемпбелла. Сумбурные мысли, беспрестанно вертевшиеся вокруг разговора с Престонгрэнджем, не давали мне сосредоточиться, и я не столько слушал поучения проповедников, сколько разглядывал переполненные народом церкви; мне казалось, что все это похоже на театр или (соответственно моему тогдашнему настроению) на судебное заседание. Это ощущение особенно преследовало меня в Западной церкви с ее трехъярусными галереями, куда я пошел в тщетной надежде встретить мисс Драммонд.

В понедельник я впервые в жизни воспользовался услугами цирюльника и остался очень доволен. Затем я пошел к Генеральному прокурору и снова увидел у его дверей красные мундиры солдат, ярким пятном выделявшиеся на фоне мрачных домов. Я огляделся, ища глазами юную леди и ее слуг, но их здесь не было. Однако, когда меня провели в кабинетик или приемную, где я провел томительные часы ожидания в субботу, я тотчас заметил в углу высокую фигуру Джемса Мора. Его, казалось, терзала мучительная тревога, руки и ноги его судорожно подергивались, а глаза беспрерывно бегали по стенам небольшой комнатки; я вспомнил о его отчаянном положении и почувствовал к нему жалость. Должно быть, отчасти эта жалость, отчасти сильный интерес, который вызывала во мне его дочь, побудили меня поздороваться с ним.

— Позвольте пожелать вам доброго утра, сэра, — сказал я.

— И вам того же, сэра, — ответил он.

— Вы ждете Престонгрэнджа? — спросил я.

— Да, сэра, и дай бог, чтобы ваш разговор с этим джентльменом был приятнее, чем мой.

— Надеюсь, что ваша беседа, во всяком случае, будет недолгой, так как вас, очевидно, примут первым.

— Меня нынче принимают последним, — сказал он, вздернув плечи и разводя руками. — Так не всегда бывало, сэра, но времена меняются. Все обстояло иначе, юный джентльмен, когда шпага была в чести, а солдатская доблесть ценилась высоко.

Он растягивал слова, чуть гнусава, как все горцы, и это почему-то меня вдруг разозлило.

— Мне кажется, мистер Макгрегор, — сказал я, — что солдат прежде всего должен уметь молчать, а главная его доблесть — никогда не жаловаться.

— Я вижу, вы знаете мое имя, — он поклонился, скрестив руки, — хотя сам я не вправе его называть. Что ж, оно достаточно известно: я никогда не прятался от своих врагов и называл себя открыто; неудивительно, если и меня самого и мое имя знают многие, о ком я никогда не слышал.

— Да, ни вы не слышали, — сказал я, — ни пока еще многие другие, но если вам угодно, чтобы я назвал себя, то мое имя — Бэлфур.

— Имя хорошее, — вежливо ответил он, — его носят немало достойных людей. Помню, в сорок пятом году у меня в батальоне был молодой лекарь, ваш однофамилец.

— Это, наверное, был брат Бэлфура из Байта, — сказал я; теперь уж я знал об этом лекаре.

— Именно, сэр, — подтвердил Джемс Мор. — А так как мы сражались вместе с вашим родственником, то позвольте пожать вашу руку.

Он долго и ласково жал мне руку, сияя так, будто нашел родного брата.

— Ах, — воскликнул он, — многое изменилось с тех пор, как мы с вашим родичем слышали свист пуль!

— Он был мне очень дальним родственником, — сухо ответил я, — и должен вам признаться, что я его никогда и в глаза не видал.

— Ну, ну, — сказал Джемс Мор, — это неважно. Но вы сами... ведь вы, наверное, тоже сражались? Я не припомню вашего лица, хотя оно не из тех, что забываются.

— В тот год, который вы назвали, мистер Макгрегор, я бегал в приходскую школу, — сказал я.

— Как вы еще молоды! — воскликнул он. — О, тогда вам ни за что не понять, что значит для меня наша встреча. В мой горький час в доме моего врага встретить человека одной крови с моим соратником — это придает мне мужества, мистер Бэлфур, как звуки горских волынок. Сэр, многие из нас оглядываются на прошлое с грустью, а некоторые даже со слезами. В своем краю я жил, как король; я любил свою шпагу, свои горы, веру своих друзей и родичей, и мне этого было достаточно. А теперь я сижу в зловонной тюрьме, и поверите ли, мистер Бэлфур, — продолжал он, беря меня под руку и вместе со мной шагая по комнате, — поверите ли, сэр, что я лишен самого необходимого? По злобному навету врагов все мое имущество конфисковано. Как вам известно, сэр, меня бросили в темницу по ложному обвинению в преступлении, в котором я так же неповинен, как и вы. Они не осмеливаются устроить надо мной суд, а тем временем держат меня в узилище раздетого и разутого. Как жаль; что я не встретил здесь вашего родича или его брата из Бэйта. Я знаю, и тот и другой с радостью пришли бы мне на помощь; в то время, как вы — человек сравнительно чужой...

Он плакался, как нищий, и мне стыдно пересказывать его бесконечные сетования и мои краткие, сердитые ответы. Временами я испытывал большое искушение заткнуть Джемсу Морю рот, бросив ему несколько мелких Монеток, но то ли от стыда, то ли из гордости, ради себя самого или ради Катрионы,

потому ли, что я считал его недостойным такой дочери, или потому, что меня отталкивала явная и вульгарная фальшивость, которая чувствовалась в этом человеке, но у меня не поднялась на это рука. И вот я слушал лесть и нравоучения, шагал рядом с ним взад и вперед по маленькой комнатке — три шага и поворот обратно — и своими отрывистыми ответами уже успел если не обескуражить, то раздосадовать этого попрошайку, как вдруг на пороге появился Престонгрэндж и нетерпеливо позвал меня в свой большой кабинет.

— У меня минутное дело, — сказал он, — и чтобы вам не скучать в одиночестве, я хочу представить вас своей прекрасной троице — моим дочерям, о которых вы, быть может, уже наслышаны, так как, по-моему, они куда более известны, чем их папенька. Сюда, прошу вас.

Он провел меня наверх, в другую длинную комнату, где за пальцами с вышивкой сидела сухопарая старая леди, а у окна стояли три, как мне показалось, самые красивые девушки во всей Шотландии.

— Это мой новый друг, мистер Бэлфур, — держа меня под руку, представил Престонгрэндж. — Дэвид, это моя сестра, мисс Грант, которая так добра, что взяла на себя управление моим хозяйством и будет очень рада вам услужить. А это, — он повернулся к юным леди, — это мои три прекрасные дщери. Скажите честно, мистер Дэви, которую из них вы находите лучше? Держу пари, что у него не хватит духу ответить честно, как Алан Рамсэй!

Три девушки и вместе с ними старая мисс Грант шумно запротестовали против этой выходки, которая и у меня (я знал, что за стихи он имел в виду) вызвала краску смущения на лице. Мне казалось, что подобные намеки недопустимы в устах отца, и я был изумлен, что девушки, негодуя или разыгрывая негодование, все же заливались смехом.

Воспользовавшись общим весельем, Престонгрэндж выскользнул из комнаты, и я, чувствуя себя, как рыба на суше, остался один в этом весьма непривычном для меня обществе. Теперь, вспоминая все, что произошло потом, я не стану отрицать, что оказался совершеннейшим чурбаном, а юные леди только благодаря превосходному воспитанию проявили ко мне такое долготерпение. Тетушка склонилась над своим рукоделием и время от времени вскидывала глаза и улыбалась мне, зато девушки, и в особенности старшая, к тому же и самая красивая из них, осыпали меня знаками внимания, на которые я ничем не сумел ответить. Напрасно я внушал себе, что я не просто деревенский юнец, а состоятельный владелец поместья и мне нечего робеть перед этими девицами, тем более что старшая была лишь немногим старше меня, и, разумеется, ни одна из них не была и вполтину так образованна, как я. Но эти доводы ничуть не помогали делу, и несколько раз я сильно краснел, вспоминая, что сегодня я в первый раз в жизни побрился.

Несмотря на все их усилия, наша беседа не клеилась, и старшая сестра, сжалившись над моей неуклюжестью, села за клавикорды, которыми владела мастерски, и принялась развлекать меня игрой, потом стала петь шотландские и итальянские песни. Я почувствовал себя чуточку непринужденнее и вскоре осмелел настолько, что, вспомнив песню, которой научил меня Алан в пещере близ Кэридена, насвистал несколько тактов и спросил девушку, знает ли она ее.

Она покачала головой.

— В первый раз слышу, — ответила она. — Просвистите всю до конца... А теперь еще раз, — добавила она, когда я просвистел.

Она подобрала мелодию на клавишах и, к моему удивлению, тут же украсила ее звучными аккордами. Играя, она скорчила забавную гримаску и с сильным шотландским акцентом пропела:

Ферно ль я подобрала мотив?

То ли это, что вы мне швистели?

— Видите, — сказала она, — я тоже умею сочинять стихи, только они у меня без рифмы. — И опять пропела:

Я мисс Грант, прокурорская дочка,

Вы, мне сдается, Дэфид Бэлфур.

Я сказал, что поражен ее талантами.

— А как называется эта песня? — спросила она.

— Не знаю, — ответил я. — Я называю ее просто песней Алана.

Девушка взглянула мне в глаза.

— Я буду называть ее «песней Дэвида», — сказала она, — но если она хоть чуть-чуть похожа на ту, что ваш тезка-израильтянин пел перед Саулом, то я не удивляюсь, что царь не получил никакого удовольствия, ведь мотив-то довольно унылый. Имя, которым вы окрестили песню, мне не нравится; так что если когда-нибудь захотите услышать ее еще раз, называйте по-моему.

Это было сказано так многозначительно, что у меня екнуло сердце.

— Почему же, мисс Грант? — спросил я.

— Да потому, — ответила мисс Грант, — что, если вас все-таки повесят, я положу ваши последние слова и вашу исповедь на этот мотив и буду петь.

Сомнений не было — ей что-то известно и о моей жизни и о моей беде. Что именно она узнала и каким образом — догадаться было труднее. Она, конечно, знала, что имя Алана произносить опасно, и предупредила меня об этом; и, конечно же, она знала, что меня подозревают в преступлении. Я решил, что резкость ее последних слов (вслед за ними она тотчас же громко заиграла что-то бравурное) означала желание положить конец этому разговору. Я стоял рядом с нею, делал вид, будто слушаю и восхищаюсь, на самом же деле меня далеко унес вихрь собственных мыслей. Впоследствии я убедился, что эта юная леди — большая любительница всего загадочного, и, разумеется, этот наш первый разговор превратила в загадку, недоступную моему пониманию. Много времени спустя я узнал, что воскресный день был использован с толком, что за это время разыскали и допросили рассыльного из банка, дознались, что я был у Чарлза Стюарта, и сделали вывод, что я тесно связан с Джемсом и Аланом и, по всей вероятности, состою с последним в переписке. Отсюда и прозрачный намек, который был брошен мне из-за клавишкордов.

Одна из младших девушек, стоявших у окна, которое выходило на улицу, прервала игру сестры и крикнула, чтобы все шли сюда скорей: «Сероглазка опять тут!» Сестры немедленно бросились к окну, оттесняя одна другую, чтобы лучше видеть. Окно-фонарь, к которому они подбежали, находилось в углу комнаты — оно выдавалось над входной дверью и боком выходило в переулок.

— Идите сюда, мистер Бэлфур, — закричали девушки, — посмотрите, какая красавица! В последнее время она часто приходит сюда, и всегда с какими-то оборванцами, но выглядит как настоящая леди!

Мне не было нужды всматриваться, я бросил один только быстрый взгляд. Я боялся, что она увидит, как я смотрю на нее сверху, из этой комнаты, откуда слышится музыка, а она стоит на улице возле дома, где отец ее в эту минуту, быть может, со слезами умоляет не лишать его жизни, где я сам только что возмущался его жалобами. Но даже от одного взгляда на нее я почувствовал себя гораздо увереннее и почти перестал испытывать благоговейную робость перед этими юными леди. Спору нет, они были красивы, но Катриона тоже была красива, и от нее исходил какой-то теплый свет, как от пламенеющего уголька. И если эти девицы меня чем-то подавляли, то Катриона, наоборот, воодушевляла. Я вспомнил, как легко с ней было разговаривать. Если мне не удалось разговориться с этими красивыми барышнями, то, быть может, это было отчасти по их вине. Мне вдруг стало смешно, и от этого смущение мое начало постепенно проходить; и когда тетушка, отрываясь от рукоделия, посылала мне улыбку, а три девицы занимали меня, как ребенка, и при этом на их лицах было написано «так велел папенька», я временами даже посмеивался про себя.

Вскоре вернулся и сам папенька, столь же благодушный и любезный, как прежде.

— Теперь, девочки, — сказал он, — я должен увести от вас мистера Бэлфура, но вы, надеюсь, сумели уговорить его бывать у нас почаще, — я всегда буду рад его видеть.

Каждая из них сказала мне какую-то ничего не значащую любезность, и Престонгрэндж увел меня.

Если этот семейный прием был задуман с целью смягчить мое упорство, то Генеральный прокурор потерпел полный крах. Я был не настолько глуп, чтобы не понять, какое жалкое впечатление я произвел на девиц, которые, должно быть, дали волю зевоте, едва моя оцепеневшая спина скрылась за дверью. Я показал, как мало во мне мягкости и обходительности, и теперь жаждал случая доказать, что у меня есть и другие свойства, что я могу быть непреклонным и даже опасным.

И желание мое тотчас же исполнилось, ибо беседа, ради которой увел меня прокурор, носила совсем иной характер.

ГЛАВА VI БЫВШИЙ ВЛАДЕЛЕЦ ЛОВЭТА

В кабинете Престонгрэнджа сидел человек, который с первого взгляда внушил мне отвращение, как внушает отвращение хорек или ухвертка. Он отличался редкостным уродством, но выглядел как джентльмен; он обладал спокойными манерами, но мог внезапно замататься по комнате в приступе ярости, а его тихий голос порой становился пронзительным и грозным.

Прокурор представил нас друг другу непринужденным, почти небрежным

тоном.

— Вот, Фрэзер, — сказал он, — это мистер Бэлфур, о котором мы с вами толковали. Мистер Дэвид, это мистер Саймон Фрэзер, которого мы прежде знавали под другим именем... но это дело прошлое. У мистера Фрэзера есть к вам дельце.

Он отошел в дальний конец комнаты и сделал вид, будто углубился в какой-то взятый с книжной полки объемистый труд.

Я, таким образом, остался с глазу на глаз с человеком, которого меньше всего на свете ожидал здесь встретить. Судя по тому, как мне его представили, это, несомненно, был лишенный прав владелец Ловэта и вождь огромного клана Фрэзеров. Я знал, что он во главе своего клана участвовал в восстании; я знал, что его отец — прежний владелец Эссендина, эта серая лисица тамошних гор, — сложил голову на плахе как мятежник, что родовые земли были у них отняты, а члены семейства лишены дворянского звания. Я не мог представить себе, как он оказался в доме Гранта; я, конечно, не догадывался, что он получил звание юриста, отрекся от своих убеждений и теперь пляшет на задних лапках перед правительством так, что его даже назначили помощником Генерального прокурора в эпинском деле.

— Ну-с, мистер Бэлфур, — обратился он ко мне, — что же вы скажете?

— Не берусь предрешать, — ответил я, — но если вы толковали обо мне с его светлостью Генеральным прокурором, то ему мои взгляды известны.

— К вашему сведению, я занимаюсь эпинским делом, — продолжал он. — Я выступаю в суде в качестве помощника Престонгрэнджа и, изучив показания свидетелей, могу вас уверить, что ваши взгляды ошибочны. Виновность Брека очевидна; и вашего свидетельства, подтверждающего, что он в момент убийства находился на холме, будет вполне достаточно, чтобы его повесить.

— Трудно вам будет повесить его, пока вы его не поймали, — заметил я.

— Что же касается остального, то я охотно признаю ваше право доверять своим впечатлениям.

— Герцог уже осведомлен обо всем, — продолжал Фрэзер. — Я только что от его высочества, и он мне высказал все откровенно и прямо, как истинный вельможа. Он назвал ваше имя, мистер Бэлфур, и заранее выразил вам свою признательность, если вы станете внимать советам тех, кто печется о вашем благополучии и благополучии страны куда больше, чем вы сами. Благодарность в устах герцога не пустые слова: *experto crede* [3]. Смее утверждать, что вам кое-что известно о моем имени и моем клане, о недостойном примере и плачевной смерти моего отца, не говоря уже о моих собственных заблуждениях. И что же — я примирился с нашим добрым герцогом; он походатайствовал обо мне перед нашим другом Престонгрэнджем, я опять на коне и принимаю участие в судебном преследовании врагов короля Георга и мщениии за недавнее дерзкое и наглое оскорбление, нанесенное его величеству.

— Что и говорить, весьма благородное занятие для сына вашего отца, — сказал я.

Фрэзер сдвинул свои белесые брови.

— Вы можете ехидствовать сколько вам угодно, — сказал он. — Но я

здесь по долгу службы, я здесь для того, чтобы добросовестно выполнить данное мне поручение, и вы напрасно думаете, что вам удастся сбить меня. И разрешите вам сказать, что для юноши с вашим умом и честолюбием хороший толчок в самом начале гораздо полезнее, чем десять лет упорного труда. Вам только стоит захотеть этого толчка; скажите, в какой области вы желали бы выдвинуться, и герцог будет заботиться о вас с отеческой любовью.

— Боюсь, что мне недостает сыновней покорности, — сказал я.

— Неужели вы в самом деле думаете, сэр, что вся политика нашей страны может рухнуть и развалиться из-за какого-то неотесанного мальчишки? — закричал он. — Эпинское дело — пробный камень; всякий, кто хочет преуспеть в будущем, должен ревностно помогать нам! Возьмите хоть меня — вы думаете, я ради своего удовольствия ставлю себя в некрасивое положение человека, который преследует того, с кем он сражался плечом к плечу? Просто у меня нет выбора!

— Но мне думается, сэр, что вы лишили себя выбора участием в этом чудовищном восстании, — заметил я. — Я же, к счастью, в ином положении: я верный подданный и могу с чистой совестью смотреть в глаза герцогу и королю Георгу.

— Вы так полагаете? — усмехнулся он. — Разрешите возразить: вы глубоко заблуждаетесь. Насколько я знаю, Простонгрэндж был до сих пор настолько деликатен, что не опровергал ваши свидетельства; тем не менее они нам кажутся чрезвычайно сомнительными. Вы утверждаете, что невиновны. Факты, мой дорогой сэр, говорят о том, что вы виновны.

— Этого я от вас и ждал.

— Свидетельство Манго Кемпбелла, ваше бегство после убийства, то, что вы так долго скрывались, мой дорогой юноша, — сказал мистер Саймон, — этих улик достаточно, чтобы послать на виселицу смиренного вола, а не то что Дэвида Бэлфура! Я буду заседать в суде, мне предоставят слово, и тогда я заговорю иначе, чем сегодня, и если мои слова вам и сейчас не нравятся, то тогда они доставят вам еще меньше удовольствия! О, да вы побледили! — воскликнул он. — Я задел за живое вашу бесстыжую душу! Вы бледны, и у вас бегают глаза, мистер Дэвид! Вы поняли, что могила и виселица куда ближе, чем вы воображали!

— Просто естественная слабость, — сказал я. — Ничего позорного в этом нет. Позор... — хотел я продолжить.

— Позор ожидает вас на виселице, — перебил он.

— Где сравняюсь с милордом вашим отцом, — сказал я.

— О, нисколько! — воскликнул он. — Вы не понимаете сути дела. Мой отец пострадал за государственное преступление, за вмешательство в дела королей. А вас повесят за подлое убийство из самых низких целей. И вы играли в нем гнусную роль предателя, вы заговорили с этим беднягой, чтобы задержать его, а вашими сообщниками была шайка горских оборванцев. Можно доказать, мой великолепный мистер Бэлфур, можно доказать, и мы докажем, уж поверьте мне, человеку, от которого кое-что зависит, мы сможем доказать и докажем, что вам за это было заплачено. Я так и вижу, как переглянутся судьи,

когда я представлю улики и выяснится, что вы, такой образованный юноша, дали себя подкупить и пошли на это ужасное дело ради каких-то обносков, бутылки виски и трех шиллингов и пяти с половиной пенсов медной монетой!

Меня словно обухом ударило; в его словах была доля правды: одежда, бутылка ирландского виски и три шиллинга пять с половиной пенсов медяками — это было почти все, с чем Алан и я ушли из Охарна, и я понял, что кто-то из людей Джемса проболтался в тюрьме.

— Как видите, мне известно больше, чем вы думали, — злорадно сказал он. — И не рассчитывайте, мой великолепный мистер Дэвид, что правительству Великобритании и Ирландии будет трудно найти свидетелей, чтобы дать делу такой оборот. У нас здесь, в тюрьме, сколько угодно людей, которые поклянутся в чем угодно, когда мы им прикажем, — когда им прикажу я, если так вам больше нравится. И теперь судите сами, что за славу вы о себе оставите, если предпочтете умереть. С одной стороны, жизнь, вино, женщины и рука герцога, всегда готовая вас поддержать. С другой стороны, веревка на шее, виселица, на которой будут стучать ваши кости, и позорнейшая, гнуснейшая история о наемном убийце, которая останется у вас в роду и перейдет из поколения в поколение. Вот, взгляните! — перешел он на угрожающий визг. — Вот я вынимаю из кармана бумагу! Видите, чье тут написано имя — это имя Дэвида Великолепного, и чернила едва просохли. Смекнули, что это за бумага? Это приказ о взятии вас под стражу, и стоит мне позвонить вот в этот колокольчик, как он будет немедленно приведен в исполнение. И когда с этой бумагой вас препроводят в Толбут, то да поможет вам бог, ибо ваш жребий брошен!

Не стану отрицать, эта низость испугала меня не на шутку, и мужество почти покинуло меня — так ужасна была угроза позорной смерти. Минуту назад мистер Саймон злорадствовал, заметив, что я побледнел, но сейчас я, наверное, был блее своей рубашки, к тому же голос мой сильно дрожал.

— В этой комнате присутствует благородный джентльмен! — воскликнул я.

— Я обращаюсь к нему! Я вверяю ему свою жизнь и честь.

Престонгрэндж со стуком захлопнул книгу.

— Я же говорил вам, Саймон, — сказал он, — вы пошли ва-банк и проиграли свою игру. Мистер Дэвид, — продолжал он, — прошу вас поверить, что вас подвергли этому испытанию не по моей воле. И прошу вас поверить — я очень рад, что вы вышли из него с честью. Быть может, вы меня не сразу поймете, но тем самым вы оказали мне некоторую услугу. Если бы мой друг добился от вас большего, чем я вчера вечером, оказалось бы, что он лучший знаток людей, чем я; оказалось бы, что каждый из нас, мистер Саймон и я, находится не на своем месте. А я знаю, что наш друг Саймон честолобив, — добавил он, легонько хлопнув Фрэзера по плечу. — Ну что же, этот маленький спектакль окончен; я настроен в вашу пользу, и, чем бы ни кончилось это неприятнейшее дело, я постараюсь, чтобы к вам отнеслись снисходительно.

Хорошие слова сказал мне Престонгрэндж, и, кроме того, я видел, что отношения между моими противниками были далеко не дружеские, пожалуй, в

них даже сквозила враждебность. Тем не менее я не сомневался, что этот допрос был обдуман, а быть может, и прорепетирован ими совместно; очевидно, мои противники решили испробовать на мне все средства, и теперь, когда не подействовали ни убеждения, ни лесть, ни угрозы, мне оставалось только гадать, что же они придумают еще. Но после перенесенной пытки у меня мутилось в глазах и дрожали колени, и я только и мог, что пробормотать те же слова:

— Я вверяю вам свою жизнь и честь.

— Хорошо, хорошо, — сказал Престонгрэндж, — мы постараемся спасти и то и другое. А пока вернемся к более приятным делам. Вы не должны гневаться на моего друга мистера Саймона, он всего лишь выполнял полученные указания. А если вы в обиде на меня за то, что я стоял здесь, словно его пособник, то пусть ваша обида не распространится на мое ни в чем не повинное семейство. Девочки жаждут вашего общества, и я не желаю их разочаровывать. Завтра они собираются в Хоуп-Парк, вот и вам хорошо бы прогуляться с ними. Но сначала загляните ко мне, быть может, мне понадобится сказать вам кое-что наедине, и потом я вас передам под надзор моим барышням, а до тех пор еще раз подтвердите свое обещание молчать.

Напрасно я не отказался сразу, но, говоря по правде, в ту минуту я соображал довольно туго и послушно повторил обещание. Как я с ним простился — не помню, но когда я очутился на улице и за моей спиной захлопнулась дверь, я с облегчением прислонился к стене дома и отер лицо. Мистер Саймон, этот, как мне казалось, страшный призрак, не выходил у меня из головы, подобно тому, как внезапный грохот еще долго отдается в ушах. В памяти моей вставало все, что я слышал и читал об отце Саймона, о нем самом, о его лживости и постоянных многочисленных предательствах, и все это перемешивалось с тем, что я сейчас испытал сам. Каждый раз, вспоминая о гнусной, ловко придуманной клевете, которой он хотел меня заклеить, я вздрагивал от ужаса. Преступление человека на виселице у Лит-Уокской дороги мало чем отличалось от того, что теперь навязывали мне. Разумеется, подлое дело свершили эти двое взрослых мужчин, отняв у ребенка какие-то жалкие гроши, но ведь и мои поступки в том виде, как их намерен представить на суде Саймон Фрэзер, выглядят не менее подлыми и возмутительными.

Меня заставили очнуться голоса двух слуг в ливреях; они разговаривали у дверей Престонгрэнджа.

— Держи-ка записку, — сказал один, — и мчись что есть духу к капитану.

— Опять притащат сюда этого разбойника? — спросил другой.

— Да, видно так, — сказал первый. — Хозяину и Саймону он спешно понадобился.

— Наш Престонгрэндж вроде бы малость свихнулся, — сказал второй. — Скоро он этого Джемса Мора насовсем у себя оставит.

— Ну, это не наше с тобой дело, — ответил первый.

И они разошлись: один убежал с запиской, другой вернулся в дом.

Это не сулило ничего хорошего. Не успел я уйти, как они послали за Джемсом Мором, и, наверное, это на него намекал мистер Саймон, сказав о

людях, которые сидят в тюрьме и охотно пойдут на что угодно, лишь бы выкупить свою жизнь. Волосы зашевелились у меня на голове, а через секунду вся кровь отхлынула от сердца: я вспомнил о Катрионе. Бедная девушка! Ее отцу грозила виселица за такие некрасивые проступки, что его, конечно, не помилуют. Но что еще противнее: теперь он готов спасти свою шкуру ценою позорнейшего и гнуснейшего убийства — убийства с помощью ложной клятвы. И в довершение всех наших бед, по-видимому, его жертвой буду я.

Я быстро зашагал, сам не зная куда, чувствуя только, что мне необходим воздух, движение и простор.

ГЛАВА VII Я НАРУШАЮ СВОЕ СЛОВО

Могу поклясться, что совершенно не помню, как я очутился на Ланг-Дайкс [4] — проселочной дороге на северном, противоположном городу берегу озера. Отсюда мне была видна черная громада Эдинбурга; на склонах над озером высился замок, от него бесконечной чередой тянулись шпили, остроконечные крыши и дымящие трубы, и от этого зрелища у меня защемило сердце. Несмотря на свою молодость, я уже привык к опасностям, но ничем еще я не был так потрясен, как опасностью, с которой столкнулся нынче утром в так называемом мирном и безопасном городе. Угроза попасть в рабство, погибнуть в кораблекрушении, угроза умереть от шпаги или пули — все это я вынес с честью, но угроза, которая таилась в пронзительном голосе и жирном лице Саймона, бывшего лорда Ловэта, страшила меня, как ничто другое.

Я присел у озера, где сбегали в воду камыши, окунул руки в воду и смочил виски. Если бы не боязнь лишиться остатков самоуважения, я бы бросил свою безрассудную дерзкую затею. Но — называйте это отвагой или трусостью, а, по-моему, тут было и то и другое — я решил, что зашел слишком далеко и отступать уже поздно. Я не поддаюсь этим людям, не поддамся им и впредь. Будь что будет, но я должен стоять на своем.

Сознание своей стойкости несколько приободрило меня, но не слишком. Где-то в сердце у меня словно лежал кусок льда, и мне казалось, что жизнь беспросветно мрачна и не стоит того, чтобы за нее бороться. Я вдруг почувствовал острую жалость к двум существам. Одно из них — я сам, такой одинокий, среди стольких опасностей. Другое — та девушка, дочь Джемса Мора. Я мало говорил с ней, но я ее рассмотрел и составил о ней свое мнение. Мне казалось, что она, совсем как мужчина, ценит превыше всего незапятнанную честь, что она может умереть от бесчестья, а в эту самую минуту, быть может, ее отец выменивает свою подлую жизнь на мою. Мне подумалось, что наши с ней судьбы внезапно переплелись. До сих пор она была как бы в стороне от моей жизни, хотя я вспоминал о ней со странной радостью; сейчас обстоятельства внезапно столкнули нас ближе — она оказалась дочерью моего кровного врага и, быть может, даже моего убийцы. Как это жестоко, думал я, что всю свою жизнь я должен страдать и подвергаться преследованиям из-за чужих дел и не знать никаких радостей.

Я не голодаю, у меня есть кров, где я могу спать, если мне не мешают тяжелые мысли, но, кроме этого, мое богатство ничего мне не принесло. Если меня приговорят к виселице, то дни мои, конечно, сочтены; если же меня не повесят и я выпутаюсь из этой беды, то жизнь будет тянуться еще долго и уныло, пока не наступит мой смертный час. И вдруг в памяти моей всплыло ее лицо, такое, каким я видел его в первый раз, с полуоткрытыми губами; я почувствовал замирание в груди и силу в ногах и решительно направился в сторону Дина. Если меня завтра повесят и если, что весьма вероятно, эту ночь мне придется провести в тюрьме, то напоследок я должен еще раз увидеть Катриону и услышать ее голос.

Быстрая ходьба и мысль о том, куда я иду, придали мне бодрости, и я даже чуть повеселел. В деревне Дин, приютившейся в долине у реки, я спросил дорогу у мельника; он указал мне ровную тропинку, по которой я поднялся на холм и подошел к маленькому опрятному домику, окруженному лужайками и яблоневым садом. Сердце мое радостно билось, когда я вошел в садовую ограду, но сразу упало, когда я столкнулся лицом к лицу со свирепого вида старой дамой в мужской шляпе, нахлобученной поверх белого чепца.

— Что вам здесь нужно? — спросила она.

Я сказал, что пришел к мисс Драммонд.

— А зачем вам понадобилась мисс Драммонд?

Я сказал, что познакомился с ней в прошлую субботу, что мне посчастливилось оказать ей пустяковую услугу и пришел я сюда по ее приглашению.

— А, так вы Шесть-пенсов! — с колкой насмешкой воскликнула старая дама. — Экая щедрость и экий благородный джентльмен! А у вас есть имя и фамилия, или вас так и крестили — «Шесть-пенсов»?

Я назвал себя.

— Боже правый! — воскликнула она. — Да неужто у Эбenezера есть сын?

— Нет, сударыня, — сказал я. — Я сын Александра. Теперь владелец Шоса я.

— Погодите, он с вас еще семь шкур сдерет, покуда вы отвоюете свои права, — заметила она.

— Я вижу, вы знаете моего дядюшку, — сказал я. — Тогда, возможно, вам будет приятно слышать, что дело уже улажено.

— Ну хорошо, а зачем вам понадобилась мисс Драммонд? — не унималась старая дама.

— Хочу получить свои шесть пенсов, сударыня, — сказал я. — Будучи племянником своего дяди, я, конечно, такой же скопидом, как и он.

— А вы хитрый малый, как я погляжу, — не без одобрения заметила старая дама. — Я-то думала, вы просто теленок — эти ваши шесть пенсов, да «ваш счастливый день», «да в память о Бэлкиддере»!..

Я обрадовался, поняв, что Катриона не забыла моих слов.

— Оказывается, тут было не без умысла, — продолжала она. — Вы, что же, пришли свататься?

— Довольно преждевременный вопрос, — сказал я. — Мисс Драммонд

еще очень молода; я, к сожалению, тоже. Я видел ее всего один раз. Не стану отрицать, — добавил я, решив подкупить мою собеседницу откровенностью, — не стану отрицать, я часто думал о ней с тех пор, как мы встретились. Но это одно дело, а связывать себя по рукам и ногам — совсем другое; я не настолько глуп.

— Вижу, язык у вас хорошо привешен, — сказала старая дама. — Слава богу, у меня тоже! Я была такой душой, что взяла на свое попечение дочь этого негодяя — вот уж поистине не было других забот! Но раз взялась, то буду заботиться по-своему. Не хотите ли вы сказать, мистер Бэлфур из Шоса, что вы женились бы на дочери Джемса Мора, которого вот-вот повесят? Ну, а нет, значит, не будет и никакого волокитства, зарубите себе это на носу. Девушки — ненадежный народ, — прибавила она, кивая, — и, может, вы не поверите, глядя на мои морщинистые щеки, но я тоже была девушкой, и довольно миленькой.

— Леди Аллардайс, — сказал я, — полагаю, я не ошибся? Леди Аллардайс, вы спрашиваете и отвечаете за нас обоих, так мы никогда не договоримся. Вы нанесли мне меткий удар, спросив, собираюсь ли я жениться у подножия виселицы на девушке, которую я видел всего один раз. Я сказал, что не настолько опрометчив, чтобы связывать себя словом. И все же продолжим наш разговор. Если девушка будет нравиться мне все так же — а у меня есть основания надеяться на это, — тогда ни ее отец, ни виселица нас не разлучат. А моя родня — я нашел ее на дороге, как потерянную монетку. Я ровно ничем не обязан своему дядюшке; если я когда-нибудь и женюсь, то только для того, чтобы угодить одной-единственной особе: самому себе.

— Такие речи я слыхала еще до того, как вы на свет родились, — заявила миссис Огилви, — должно быть, потому я их и в грош не ставлю. Тут много есть над чем поразмыслить. Этот Джемс Мор, к стыду моему, приходится мне родственником. Но чем лучше род, тем больше в нем отрубленных голов и скелетов на виселицах, так уж исстари повелось в нашей несчастной Шотландии. Да если б дело было только в виселице! Я бы даже рада была, если бы Джемс висел в петле, по крайней мере с ним было бы покончено. Кэтрин — славная девочка и добрая душа, она целыми днями терпит воркотню такой старой карги, как я. Но у нее есть своя слабость. Она просто голову теряет, когда дело касается ее папаша, этого лживого верзила, льстеца и попрошайки, и помешана на всех Грегорах, на запрещенных именах, короле Джемсе и прочей чепухе. Если вы воображаете, что сможете ее переделать, вы сильно ошибаетесь. Вы говорите, что видели ее всего раз...

— Я всего один раз с ней разговаривал, — перебил я, — но видел еще раз сегодня утром из окна гостиной Престонгрэнджа.

Должен признаться, я сказал это, чтобы щегольнуть своим знакомством, но тотчас же был наказан за чванство.

— Как так? — вдруг забеспокоившись, воскликнула старая дама. — Ведь вы же и в первый раз встретились с ней у прокурорского дома?

Я подтвердил это.

— Гм... — произнесла она и вдруг сварливо набросилась на меня. — Я

ведь только от вас и знаю, кто вы и что вы! — закричала она. — Вы говорите, что вы Бэлфур из Шоса, но кто вас знает, может, вы Бэлфур из чертовой подмышки! И зачем вы сюда явились — может, вы и правду сказали, а может, и черт знает зачем! Я никогда не подведу вигов, я сижу и помалкиваю, чтобы мужчины моего клана сохранили головы на плечах, но я не стану молчать, когда меня дурачат! И я вам прямо скажу: что-то слишком часто вы околачиваетесь у прокурорских дверей да окон, непохоже, чтоб вы были вздыхателем дочери Макгрегора. Так и скажите прокурору, который вас подослал, и низко ему кланяйтесь. Прощайте, мистер Бэлфур. — Она послала мне воздушный поцелуй. — Желая благополучно добраться туда, откуда вы пришли!

— Если вы принимаете меня за шпиона... — вскипел я, но у меня перехватило горло. Я стоял и свирепо глядел на старую даму, потом поклонился и пошел было прочь.

— Ха! Вот еще! Кавалер обиделся! — закричала она. — Принимаю вас за шпиона! А за кого же мне вас принимать, если я про вас ровно ничего не знаю? Но, видно, я все-таки ошиблась, а раз я не могу драться, придется мне попросить извинения. Хороша бы я была со шпагой в руке! Ну, ну, — продолжала она, — вы посвоему не такой уж скверный малый. Наверное, ваши недостатки чем-то искупаются. Только, ох, Дэвид Бэлфур, вы ужасная деревенщина. Надо вам, дружок, пообтесаться, надо, чтобы вы ступали полегче и чтобы вы поменьше мнили, о своей прекрасной особе; да еще постарайтесь усвоить, что женщины не гренадеры. Хотя где уж вам! До последнего своего дня вы будете смыслить в женщинах не больше, чем я в холощении кабанов.

Никогда еще я не слыхал от женщины таких слов; в своей жизни я знал всего двух женщин — свою мать и миссис Кемпбелл, и обе были весьма благочестивы и весьма деликатны. Должно быть, на моем лице отразилось изумление, ибо миссис Огилви вдруг громко расхохоталась.

— О господи, — воскликнула она, борясь со смехом, — ну и дурацкая же у вас физиономия, а еще хотите жениться на дочери горного разбойника! Дэви, милый мой, надо вас непременно поженить — хотя бы для того, чтобы посмотреть, какие у вас получатся детки! Ну, а теперь, — продолжала она,

— нечего вам здесь топтаться, вашей девицы нет дома, и боюсь, что старуха Огилви не слишком подходящее общество для вашей милости. К тому же, кроме меня самой, некому позаботиться о моем добром имени, а я и так слишком долго пробыла наедине с весьма соблазнительным юношей. За шестью пенсами зайдете в другой раз! — крикнула она мне уже вслед.

Стычка с этой старой насмешницей придала моим мыслям смелость, которой им сильно недоставало. Уже два дня, как образ Катрионы сливался со всеми моими размышлениями; она была как бы фоном для них, и я почти не оставался наедине с собой: она всегда присутствовала где-то в уголке моего сознания. А сейчас она стала совсем близкой, осязаемой; казалось, я мог дотронуться до нее, которой не касался еще ни разу. Я перестал сдерживать себя, и душа моя, счастливая этой слабостью, ринулась к ней; глядя вокруг, вперед и назад, я понял, что мир — унылая пустыня, где люди, как солдаты в

походе, должны выполнять свой долг со всей стойкостью, на какую они способны, и в этом мире одна лишь Катриона может внести радость в мою жизнь. Мне самому было удивительно, как я мог предаваться таким мыслям перед лицом опасности и позора; а когда я вспомнил, какой я еще юнец, мне стало стыдно. Я должен закончить образование, должен найти себе какое-то полезное дело и пройти службу там, где все обязаны служить; я еще должен присмотреться к себе, понять себя и доказать, что я мужчина, и здравый смысл заставлял меня краснеть оттого, что меня уже искушают мысли о предстоящих мне святых восторгах и обязанностях. Во мне заговорило мое воспитание: я вырос не на сладких бисквитах, а на черством хлебе правды. Я знал, что не может быть мужем тот, кто еще не готов стать отцом; а такой юнец, как я, в роли отца был бы просто смешон.

Погруженный в эти мысли, примерно на полпути к городу я увидел шедшую мне навстречу девушку, и смятение мое возросло. Мне казалось, что я мог так много сказать ей, но начать было не с чего; и, вспомнив, как я был косноязычен сегодня утром в гостиной генерального прокурора, я думал, что сейчас совсем онемею. Но стоило ей подойти ближе, как мои страхи улетучились, и даже эти мои тайные мысли меня больше ничуть не смущали. Оказалось, что я могу разговаривать с нею свободно и рассудительно, как разговаривал бы с Аланом.

— О! — воскликнула она. — Вы приходили за своими шестью пенсами! Вы их получили?

Я ответил, что нет, но поскольку я ее встретил, значит, прошелся не зря.

— Хотя я вас сегодня уже видел, — добавил я и рассказал, когда и где.

— А я вас не видела, — сказала она. — Глаза у меня не маленькие, но я плохо вижу вдаль. Я только слышала пение.

— Это пела мисс Грант, — сказал я, — старшая и самая красивая из дочерей Престонгрэнджа.

— Говорят, они все очень красивые.

— То же самое они думают о вас, мисс Драммонд, — ответил я. — Они все столпились у окна, чтобы на вас посмотреть.

— Как жаль, что я такая близорукая, — сказала Катриона. — Я бы тоже могла их увидеть. Значит, вы были там? Наверное, славно провели время: хорошая музыка и хорошенькие барышни!

— Нет, вы ошибаетесь, — сказал я. — Я чувствовал себя не лучше, чем морская рыба на склоне холма. По правде сказать, компания грубых мужланов подходит мне куда больше, чем общество хорошеньких барышень.

— Да, мне тоже так кажется, — сказала она, и мы оба рассмеялись.

— Странная вещь, — сказал я. — Я ничуть не боюсь вас, а от барышень Грант мне хотелось поскорее сбежать. И вашу родственницу я тоже боюсь.

— Ну, ее-то все мужчины боятся! — воскликнула Катриона. — Даже мой отец.

Упоминание об отце заставило меня умолкнуть. Идя рядом с Катрионой, я смотрел на нее и вспоминал этого человека, все немногое, что я о нем знал, и то многое, что я в нем угадывал; я сопоставлял одно с другим и понял, что

молчать об этом нельзя, иначе я буду предателем.

— Кстати, о вашем отце, — сказал я. — Я видел его не далее, как сегодня утром.

— Правда? — воскликнула она с радостью в голосе, прозвучавшей для меня укором. — Вы видели Джемса Мора? И, быть может, даже разговаривали с ним?

— Даже разговаривал, — сказал я.

И тут все обернулось для меня как нельзя хуже. Она взглянула на меня полными благодарности глазами.

— О, спасибо вам за это, — сказала она.

— Меня не за что благодарить, — начал я и умолк.

Но мне показалось, что если я о стольком умалчиваю, то хоть что-то все же должен ей сказать. — Я говорил с ним довольно резко. Он мне не очень понравился, поэтому я был с ним резок, и он рассердился.

— Тогда зачем же вы разговариваете с его дочерью да еще и рассказываете ей про это! — воскликнула Катриона. — Я не желаю знаться с теми, кто его не любит и кому он не дорог!

— И все же я осмелюсь сказать еще слово, — произнес я, чувствуя, что меня бросает в дрожь. — Вероятно, и вашему отцу и мне у Престонгрэнджа было совсем не весело. Обоих нас мучила тревога, ибо это опасный дом. Мне стало жаль вашего отца, и я заговорил с ним первый... Правда, я мог бы разговаривать умнее. Одно могу вам сказать: по-моему, вы скоро убедитесь, что дела его улучшаются.

— Но, наверное, не благодаря вам, — сказала она, — а за соболезнование он, конечно, вам очень признателен.

— Мисс Драммонд! — воскликнул я. — Я один на свете!..

— Меня это ничуть не удивляет, — сказала она.

— О, позвольте мне говорить! — сказал я. — Я выскажу вам все и потом, если вы хотите, уйду навсегда. Сегодня я пришел к вам в надежде услышать доброе слово, мне так его не хватает! Знаю, то, что я сказал о вашем отце, вас обидело, и я знал это заранее. Было бы куда легче сказать вам что-нибудь приятное — и солгать; разве вы не понимаете, как это было для меня соблазнительно? Разве вы не видите, что я чистосердечно говорю вам правду?

— Я думаю, что все это слишком сложно для меня, мистер Бэлфур, — сказала она. — Я думаю, что одной встречи достаточно и мы можем расстаться, как благородные люди.

— О, если бы хоть одна душа мне поверила! — взмолился я. — Иначе я не смогу жить! Весь мир словно в заговоре против меня. Как же я исполню свой долг, — если судьба моя так ужасна? Ничего я не смогу сделать, если никто в меня не поверит. И человек умрет, потому что я не смогу выручить его!

Она шла, высоко подняв голову и глядя прямо перед собой, но мои слова или мой тон заставили ее остановиться.

— Что вы сказали? — спросила она. — О чем вы говорите?

— О моих показаниях, которые могут спасти невинного, — сказал я, — а мне не разрешают быть свидетелем. Как бы вы поступили на моем месте?

Вы-то знаете, каково это, вашему отцу тоже угрожает смерть. Покинули бы вы человека в беде? Меня пытались уговорить всякими способами. Хотели подкупить и сулили золотые горы. А сегодня этот цепной пес объяснил мне, что я у него в руках, и рассказал, каким образом он меня погубит и опозорит. Меня хотят сделать соучастником убийства; я будто бы разговором задержал Гленура, польстившись на старое тряпье и несколько монет; я буду повешен и опозорен. Если меня ждет такая смерть — а я еще даже не считаюсь взрослым, — если по всей Шотландии обо мне будут рассказывать такую историю, если и вы тоже ей поверите, и мое имя станет притчей во языцех, — как я могу, Катриона, довести свое дело до конца? Это невозможно, этого не выдержит ни одна человеческая душа!

Слова мри лились сплошным потоком, без передышки; умолкнув, я увидел, что она смотрит на меня испуганными глазами.

— Гленур! Это же эпинское убийство! — тихо, но изумленно произнесла она.

Встретившись с нею, я повернул обратно, чтобы проводить" ее, и сейчас мы почти дошли до вершины холма над деревней Дин. При этих ее словах я, не помня себя, шагнул вперед и заступил ей дорогу.

— Боже мой! — воскликнул я. — Боже мой, что я наделал! — Я сдвинул кулаками виски. — Что со мной? Как я мог проговориться, это просто наваждение!

— Да что случилось? — воскликнула она.

— Я поступил бесчестно, — простонал я, — я дал слово и не сдержал его! О Катриона!

— Но скажите же, что произошло? — спросила она. — Чего вы не должны были говорить? Неужели вы думаете, что у меня нет чести? Или что я способна предать друга? Вот, я поднимаю правую руку и клянусь.

— О, я знаю, что вы будете верны слову, — сказал я. — Речь обо мне. Только сегодня утром я смело смотрел им в лицо, я готов был скорее умереть опозоренным на виселице, чем пойти против своей совести, а через несколько часов разболтался и швырнул свою честь в дорожную пыль! «Наша беседа убедила меня в одном, — сказал он, — на ваше слово можно положиться». Где оно теперь, мое слово? Кто мне теперь поверит? Вы-то уже не сможете мне верить. Как я низко пал! Лучше бы мне умереть!

Все это я проговорил плачущим голосом, но слез у меня не было.

— Я гляжу на вас, и у меня разрывается сердце, — сказала она, — но, знаете, вы чересчур к себе взыскательны. Вы говорите, что я вам не стану верить? Я доверила бы вам все, что угодно. А эти люди? Я бы и думать о них не стала! Люди, которые стараются поймать вас в ловушку и погубить! Фу! Нашли, перед кем унижать себя! Держите голову выше! Знаете, я готова восхищаться вами, как настоящим героем, а вы ведь только чуточку старше меня! И стоит ли так убиваться из-за того, что вы сказали лишнее слово другу, который скорее умрет, чем выдаст вас! Лучше всего нам с вами об этом забыть.

— Катриона, — сказал я, глядя на нее виноватыми глазами, — неужели это правда? Вы все же мне доверяете?

— Вы видите мои слезы? Вы и им не верите? — воскликнула она. — Я бесконечно вас уважаю, мистер Дэвид Бэлфур. Пускай даже вас повесят, я никогда вас не забуду, я стану совсем старой и все равно буду помнить вас. Это прекрасная смерть, я буду завидовать, что вас повесили!

— А может быть, я просто испугался, как ребенок буки, — сказал я. — Может быть, они просто посмеялись надо мной.

— Вот это мне надобно уразуметь, — сказала Катриона. — Вы должны рассказать мне все. Так или иначе, вы проговорились, теперь извольте рассказывать все.

Я сел у дороги, она присела рядом, и я рассказал ей все почти так, как здесь написано, умолчав только о своих опасениях, что ее отец пойдет на постыдную сделку.

— Да, — сказала она, когда я кончил, — вы, конечно, герой, вот уж никогда бы не подумала! И мне кажется, жизнь ваша действительно в опасности. О Саймон Фрээр! Подумать только, что за человек! Ввязаться в такое дело из-за денег и из страха за свою жизнь! — И тут я услышал странное выражение, которое, как я потом убедился, было ее постоянным присловьем.

— Вот наказанье! — воскликнула она. — Поглядите, где солнце!

Солнце и в самом деле уже клонилось к горам.

Катриона велела мне поскорее прийти опять, пожала мне руку и оставила меня в радостном смятении. Я не спешил возвращаться на свою квартиру, боясь, что меня тотчас же арестуют; я поужинал на постоялом дворе и почти всю ночь пробродил по ячменным полям, так явственно чувствуя присутствие Катрионы, будто я нес ее на руках.

ГЛАВА VIII ПОДОСЛАННЫЙ УБИЙЦА

На следующий день, двадцать девятого августа, в условленный час я пришел к Генеральному прокурору в новой, с иголки, сшитой по моей мерке одежде.

— Ого, — сказал Престонгрэндж, — как вы сегодня нарядны; у моих девиц будет прекрасный кавалер. Это очень любезно с вашей стороны. Очень любезно, мистер Дэвид. О, мы с вами отлично поладим, и надеюсь, все ваши тревоги близятся к концу.

— Вы хотите мне что-то сообщить?

— Да, нечто совершенно неожиданное, — ответил он. — Вам, в конце концов, разрешено дать показания; и если вам будет угодно, вы вместе со мной пойдете на суд, который состоится в Инверэри, в четверг двадцать первого числа будущего месяца.

От удивления я не мог найти слов.

— А тем временем, — продолжал он, — хотя я и не беру с вас еще раз слово, но все же обязан предупредить, что вам следует строго соблюдать наш уговор. Завтра вы дадите предварительные показания; а потом — надеюсь, вы понимаете, что чем меньше вы будете говорить, тем лучше.

— Постараюсь быть благоразумным, — сказал я. — За эту огромную милость я, наверное, должен поблагодарить вас, и я приношу свою глубокую благодарность. После вчерашнего, милорд, для меня сейчас словно открылись врата рая. Мне даже с трудом верится, что это правда.

— Ну, постарайтесь как следует, и вы поверите, постарайтесь и поверите, — успокаивающе молвил он, — а я очень рад слышать, что вы считаете себя обязанным мне. Вероятно, возможность отплатить мне представится очень скоро... — Он покашлял. — Быть может, даже сейчас. Обстоятельства сильно изменились. Ваши свидетельские показания, ради которых я не хочу сегодня вас беспокоить, несомненно, представят дело в несколько ином свете для всех, кого оно касается, и потому мне уже будет менее неловко обсудить с вами один побочный вопрос.

— Милорд, — перебил я, — простите, что я вас прерываю, но как же это случилось? Препятствия, о которых вы говорили в субботу, даже мне показались совершенно непреодолимыми, как же удалось это сделать?

— Дорогой мистер Дэвид, — сказал он, — я никак не могу даже перед вами разглашать то, что происходит на совещаниях правительства, и вы, к сожалению, должны удовольствоваться просто фактом.

Он отечески улыбался мне, поигрывая новым пером; я не допускал и мысли, что в его словах есть хоть тень обмана; однако же, когда он придвинул к себе лист бумаги, обмакнул перо в чернила и снова обратился ко мне, моя уверенность поколебалась, и я невольно насторожился.

— Я хотел бы выяснить одно обстоятельство, — начал он. — Я умышленно не спрашивал вас о нем прежде, но сейчас молчать уже нет необходимости. Это, конечно, не допрос, допрашивать вас будет другое лицо; это просто частная беседа о том, что меня интересует. Вы говорите, вы встретили Алана Брека на холме?

— Да, милорд, — ответил я.

— Это было сразу же после убийства?

— Да.

— Вы с ним разговаривали?

— Да.

— Вы, я полагаю, знали его прежде? — небрежно спросил прокурор.

— Не могу догадаться, почему вы так полагаете, милорд, — ответил я, — но я действительно знал его и раньше.

— А когда вы с ним расстались?

— Я не стану отвечать сейчас, — сказал я. — Этот вопрос мне зададут на суде.

— Мистер Бэлфур, — сказал Престонгрэндж, — поймите же, что от этого никакого вреда вам не будет. Я обещал спасти вашу жизнь и честь, и, поверьте, я умею держать свое слово. Поэтому вам совершенно не о чем беспокоиться. По-видимому, вы думаете, будто можете выручить Алана; вы выражали мне свою благодарность, которую, если уж на то пошло, я вполне заслужил. Можно привести множество других соображений, и все сводятся к одному и тому же; и меня ничто не убедит, что вы не можете, если только захотите, помочь нам

изловить Алана.

— Милорд, — ответил я, — даю вам слово, я даже не догадываюсь, где Алан.

Он помолчал.

— И даже не знаете, каким образом его можно разыскать? — спросил он наконец.

Я сидел перед ним, как пень.

— Стало быть, такова ваша благодарность, мистер Дэвид, — заметил он и снова немного помолчал. — Ну что же, — сказал он, вставая, — мне не повезло, мы с вами не понимаем друг друга. Не будем больше говорить об этом. Вас уведомят, когда, где и кто будет вас допрашивать. А сейчас мои девицы, должно быть, уже заждались вас. Они никогда мне не простят, если я задержу их кавалера.

После этого я был препровожден к трем грациям, которые показались мне сверхъестественно нарядными и напоминали пышный букет цветов.

Когда мы выходили из дверей, произошел незначительный случай, который впоследствии оказался необычайно важным. Кто-то громко и отрывисто свистнул, точно подавая сигнал; я оглянулся по сторонам: невдалеке мелькнула рыжая голова Нийла, сына Дункана из Тома. Через мгновение он исчез из виду, и я не успел увидеть даже краешка юбки Катрионы, которую, как я, естественно, подумал, он, должно быть, сопровождал.

Мои прекрасные телохранительницы повели меня по Бристо и Брантсфилд-Линкс, откуда дорога шла прямо к Хоуп-Парку, чудесному месту с усыпанными гравием дорожками, скамейками и беседками; все это находилось под охраной сторожа. Путь был довольно долгим, две младшие девицы приняли томно-усталый вид, что меня чрезвычайно угнетало, а старшая временами чуть ли не посмеивалась, глядя на меня; и хотя я чувствовал, что держусь гораздо лучше, чем накануне, все же это стоило мне немалых усилий. Едва мы вошли в парк, как я попал в компанию восьми или десяти молодых джентльменов — почти все они, кроме нескольких офицеров, были адвокатами. Они окружили юных красавиц, намереваясь сопровождать их; и хотя меня представили им весьма любезно, все они тут же обо мне позабыли. Молодые люди в обществе похожи на диких животных: они либо набрасываются на незнакомца, либо относятся к нему с полным презрением, забывая о всякой учтивости и, я бы даже сказал, человечности; не сомневаюсь, что, очутись я среди павианов, они вели бы себя почти так же. Адвокаты принялись отпускать остроты, а офицеры шумно болтать, и я не знаю, которые из них раздражали меня больше. Все они так горделиво поглаживали рукоятки своих шпаг и расправляли полы одежды, что из одной черной зависти мне хотелось вытолкать их за ворота парка. Мне казалось, что и они, со своей стороны, имели против меня зуб за то, что я пришел сюда в обществе этих прелестных девиц; вскоре я отстал от веселой компании и с натянутым видом шагал позади, погружившись в свои мысли.

Меня отвлек от них один из офицеров, дубоватый и хитрый, судя поговору, уроженец гор, спросивший, верно ли, что меня зовут «Пэлфуром».

Довольно сухо, ибо тон его был не очень вежлив, я ответил, что он не ошибся.

— Ха, Пэлфур, — повторил он. — Пэлфур, Пэлфур!

— Боюсь, вам не нравится мое имя, сэр? — произнес я, злясь на себя за то, что меня злит этот неотесанный малый.

— Нет, — ответил он, — только я думал...

— Я бы не советовал вам заниматься этим, сэр, — сказал я. — Я уверен, что это вам не по силам.

— А фам известно, где Алан Грегор нашел чипцы?

Я спросил, как это понять, и он с лающим смехом ответил, что "наверное, там же я нашел кочергу, которую, как видно, проглотил.

Мне все стало ясно, и щеки мои запылали.

— На вашем месте, — сказал я, — прежде чем наносить оскорбления джентльменам, я бы выучился английскому языку.

Он взял меня за рукав, кивнул и, подмигнув, тихонько вывел из парка. Но едва мы скрылись от глаз гуляющей компании, как выражение его лица изменилось.

— Ах ты болотная жаба! — крикнул он и с силой ударил меня кулаком в подбородок.

В ответ я ударил его так же, если не крепче; тогда он отступил назад и учтивым жестом снял передо мной шляпу.

— Хватит махать кулаками, — сказал он. — Вы оскорбили шентльмена. Это неслыханная наглость — сказать шентльмену и к тому же королевскому офицеру, пудто он не умеет говорить по-англишки! У нас есть шпаги, и рядом Королевский парк. Фы пойдете первым, или мне показать фам дорогу?

Я ответил таким же поклоном, предложил ему идти вперед и последовал за ним. Шагая позади, я слышал, как он бормотал что-то насчет «англишкого языка» и королевского мундира, из чего можно было бы заключить, что он оскорблен всерьез. Но его выдавало то, как он вел себя в начале нашего разговора. Без сомнения, он явился сюда, чтобы затеять со мной ссору под любым предлогом; без сомнения, я попал в ловушку, устроенную моими недругами; и, зная, что фехтовальщик я никудышный, не сомневался, что из этой схватки мне не выйти живым.

Когда мы вошли в скалистый, пустынный Королевский парк, меня то и дело подмывало убежать без оглядки, — так не хотелось мне обнаруживать свою неумелость и так неприятно было думать, что меня убьют или хотя бы ранят. Но я внушил себе, что если враги в своей злобе зашли так далеко, то теперь уж не остановятся ни перед чем, а принять смерть от шпаги, пусть даже не очень почетную, все же лучше, чем болтаться в петле. К тому же, подумал я, после того, как я неосторожно наговорил ему дерзостей и так быстро ответил ударом на удар, у меня уже нет выхода; если даже я побегу, мой противник, вероятно, догонит меня, и ко всем моим бедам прибавится еще и позор. И, поняв все это, я уже без всякой надежды продолжал шагать за ним, точно осужденный за палачом.

Мы миновали длинную вереницу скал и подошли к Охотничьему болоту.

На лужке, покрытом мягким дерном, мой противник выхватил шпагу. Здесь нас никто не мог видеть, кроме птиц; и мне ничего не оставалось, как последовать его примеру и стать в позицию, изо всех сил стараясь выглядеть уверенно. Что-то, однако, не понравилось мистеру Дункансби; очевидно, усмотрев в моих движениях какую-то неправильность, он помедлил, окинул меня острым взглядом, отскочил и сделал выпад, угрожая мне концом шпаги. Алан не показывал мне таких приемов, к тому же я был подавлен ощущением неминуемой смерти, поэтому совсем растерялся и, беспомощно стоя на месте, думал только о том, как бы пуститься наутек.

— Што с вами, шорт вас дери? — крикнул лейтенант и вдруг ловким движением выбил у меня из рук шпагу, которая отлетела далеко в камыши.

Он дважды повторил этот маневр, а подняв свой опозоренный клинок в третий раз, я увидел, что мой противник уже засунул шпагу в ножны и ждет меня со злым лицом, заложив руки за спину.

— Разрази меня гром, если я до вас дотронусь! — закричал он и язвительно спросил, какое я имею право выходить на бой с «шентльменом», если не умею отличить острия шпаги от рукоятки.

Я ответил, что виной тому мое воспитание, и осведомился, может ли он по справедливости сказать, что получил удовлетворение в той мере, в какой, к сожалению, я мог его дать, и что я держался, как мужчина.

— Это ферно, — сказал он, — я и сам шеловек храбрый и отважный, как лев. Но стоять, как вы стояли, даже не умея дершать шпагу, — нет, у меня не хватило бы духу! Прошу прощенья, что ударил вас, хотя вы стукнули меня еще сильнее, у меня до сих пор в голове гудит. Знай я такое дело, я бы нипочем не стал связываться!

— Хорошо сказано, — ответил я. — Уверен, что в другой раз вы не захотите быть марионеткой в руках моих врагов.

— Да ни за что, Пэлфур! — воскликнул он. — Если подумать, так они меня сильно обидели, заставив фехтовать все равно, что со старой бабкой или малым ребенком! Так я ему и скажу и, ей-богу, вызову его сражаться со мной!

— А если бы вы знали, почему мистер Саймон зол на меня, — сказал я, — вы оскорбились бы еще больше за то, что вас впутывают в такие дела.

Он поклялся, что охотно верит этому, что все Ловэты сделаны из одного теста, которое месил сам дьявол; потом вдруг крепко пожал мне руку и заявил, что я в общем-то славный малый и какая жалость, что никто как следует не занялся моим воспитанием; если у него найдется время, то он непременно последит за ним сам.

— Вы могли бы оказать мне куда более важную услугу, — сказал я; и когда он спросил, какую же именно, я ответил: — Пойдите вместе со мной к одному из моих врагов и подтвердите, как я себя вел сегодня. Это будет истинная услуга. Хотя мистер Саймон на первый раз послал мне благородного противника, но ведь он замыслил убийство, — значит, пошлет и второго, и третьего, а вы уже видели, как я владею холодным оружием, и можете судить, чем, по всей вероятности, это кончится.

— Будь я таким фехтовальщиком, как вы, я тоже этому не обрадовался

бы! — воскликнул он. — Но я расскажу о вас все по справедливости! Идем!

Если я шел в этот проклятый парк, с трудом передвигая ноги, то на обратном пути я шагал легко и быстро, в такт прекрасной песне, древней, как библия; «Жало смерти меня миновало» — таковы были ее слова. Помнится, я почувствовал нестерпимую жажду и напился из колодца святой Маргариты, стоявшего у дороги. Вода показалась мне необычайно вкусной.

Сговариваясь на ходу о подробностях предстоящего нам объяснения, мы прошли мимо церкви, поднялись до Кэнонгейт и по Низербау подошли прямо к дому Престонгрэнджа. Лакей сказал, что его светлость дома, но занимается с другими джентльменами каким-то секретным делом и приказал его не беспокоить.

— Мое дело займет всего три минуты, и откладывать его нельзя, — сказал я. — Передайте ему, что оно вовсе не секретно, и я даже рад буду присутствию свидетелей.

Лакей неохотно отправился докладывать, а мы осмелились пройти вслед за ним в переднюю, куда из соседней комнаты доносились приглушенные голоса. Как оказалось, там у стола собрались трое — Престонгрэндж, Саймон Фрэзер и мистер Эрскин, пертский шериф; они как раз обсуждали эпинское дело и были очень недовольны моим вторжением, однако решили принять меня.

— А, мистер Бэлфур, что вас заставило вернуться сюда? И кого это вы с собой привели? — спросил Престонгрэндж.

Фрэзер тем временем молчал, уставясь в стол.

— Этот человек пришел, чтобы дать свидетельство в мою пользу, милорд, и мне кажется, вам необходимо его выслушать, — ответил я и повернулся к Дункансби.

— Могу сказать одно, — произнес лейтенант. — Мы с Пэлфуром сегодня обнажили шпаги у Охотничьего болота, о чем я очень теперь сожалею, и он вел себя, как настоящий шентльмен. И я очень уважаю Пэлфура, — добавил он.

— Благодарю за честные слова, — сказал я.

Затем, как мы условились, Дункансби сделал общий поклон и вышел из комнаты.

— Но ради бога, при чем тут я? — сказал Престонгрэндж.

— Это я объясню вам в двух словах, милорд, — ответил я. — Я привел этого джентльмена, офицера армии его величества, чтобы он при вас подтвердил свое мнение обо мне. Теперь, мне кажется, честь моя удостоверена, и до известного срока — ваша светлость знает, до какого, — бесполезно подсылать ко мне других офицеров. Я не согласен пробивать себе путь сквозь весь гарнизон замка.

На лбу Престонгрэнджа вздулись жилы, глаза его загорелись яростью.

— Честное слово, сам дьявол натравляет на меня этого мальчишку! — закричал он и в бешенстве повернулся к своему соседу. — Это ваша работа, Саймон, — сказал он. — Я вижу, что вы к этому приложили руку, и позвольте вам сказать, что я вами возмущен! Договориться об одном способе и тайком применять другой — это нечестно! Вы поступили со мной нечестно. Как! Вы допустили, чтобы я послал туда этого мальчишку с моими дочерьми! И только

потому, что я обмолвился при вас... Фу, сэр, не вовлекайте других в ваши козни!

Саймон мертвенно побледнел.

— Я больше не желаю, чтобы вы и герцог перебрасывались мною, как мячом! — воскликнул он. — Спорьте между собой или соглашайтесь, воля ваша. Но я больше не хочу быть на побегушках, получать противоречивые указания и выслушивать попреки от обоих! Если бы я сказал все, что думаю об этих ваших делах с Ганиоверами, у вас бы долго звенело в ушах!

Но тут наконец вступил в разговор шериф Эрскин, до сей поры сохранявший полную невозмутимость.

— А тем временем, — ровным голосом произнес он, — мне кажется, следует сказать мистеру Бэлфуру, что мы удостоверились в его отваге. Он может спать спокойно. До упомянутого срока его доблесть больше не будет подвергаться испытаниям.

Его хладнокровие отрезвило остальных, и они вежливо, но несколько торопливо стали прощаться, стараясь поскорее выпроводить меня из дома.

ГЛАВА IX ВЕРЕСК В ОГНЕ

Я вышел из этого дома, впервые разгневавшись на Престонгрэнджа. Оказывается, прокурор просто насмеялся надо мной. Он лгал, что мои показания будут выслушаны, что мне ничто не угрожает, а тем временем не только Саймон с помощью офицера-горца покушался на мою жизнь, но и сам Престонгрэндж, как явствовало из его слов, тоже замышлял что-то против меня. Я пересчитал моих врагов. Престонгрэндж, на стороне которого королевская власть; герцог и вся подвластная ему западная часть шотландских гор; и тут же под боком Ловэт, готовый привлечь им на помощь огромные силы на севере страны и весь клан старых якобитских шпионов и их наемников. А вспомнив Джемса Мора и рыжую голову Нийла, Дунканова сына, я подумал, что в заговоре против меня, быть может, есть и четвертый участник и что остатки древнего клана Роб Роя, потомки отчаянных разбойников, тоже объединятся против меня с остальными. Как мне сейчас не хватало сильного друга или умного советчика! Должно быть, в стране немало людей, которые могут и хотят прийти мне на выручку, иначе Ловэту, герцогу и Престонгрэнджу незачем было бы измышлять способы от меня отделаться; и я выходил из себя при мысли, что где-нибудь на улице я мог задеть друга плечом и не узнать его.

И тотчас же, словно подтверждая мои мысли, какойто джентльмен, проходя мимо, задел меня плечом, бросил многозначительный взгляд и свернул в переулок. Уголкем глаза я успел разглядеть, что это стряпчий Стюарт, и, благословляя судьбу, повернулся и последовал за ним. В переулке я увидел его тотчас же: он стоял на лестнице у входа в дом и, сделав мне знак, быстро исчез. Несколькими этажами выше я догнал его у какой-то двери, которую он запер на ключ, как только мы вошли. Это была пустая квартира, без всякой мебели — очевидно, одна из тех, которые Стюарту было поручено сдать внаем.

— Придется сидеть на полу, — сказал он, — зато здесь мы в полной безопасности, а я жаждал вас видеть, мистер Бэлфур.

— Как Алан? — спросил я.

— Прекрасно, — сказал стряпчий. — Завтра, в среду, Энди возьмет его на борт с Джилланской отмели. Он очень хотел попрощаться с вами, но, боюсь, при нынешнем положении вам лучше держаться подальше друг от друга. А теперь о главном: как подвигается ваше дело?

— Да вот, — ответил я, — сегодня утром мне сказали, что мои свидетельские показания будут выслушаны и что я отправлюсь в Инверэри вместе с самим Генеральным прокурором — ни больше, ни меньше!

— Ха-ха! — засмеялся стряпчий. — Как бы не так!

— Я и сам подозреваю тут неладное, — сказал я, — но мне хотелось бы услышать ваши соображения.

— Скажу вам честно, я просто киплю от злости, — почти кричал Стюарт.

— Достать бы мне рукой до их правительства, я бы сбил его наземь, как гнилое яблоко! Я доверенное лицо Эпина и Джемса Гленского, и, само собой, мой долг бороться за жизнь моего родича. Но вы послушайте, что творится, и судите сами. Первым делом им нужно разделаться с Аланом. Они не могут притянуть Джемса ни за преступление, ни за злоумышление, пока сначала не притянут Алана как главного виновника, — таков закон: нельзя ставить повозку перед лошадью.

— Как же они притянут Алана, если они его не поймали? — спросил я.

— А этот закон можно обойти, — сказал он. — На то имеется другой закон. Было бы куда как просто, ежели бы по причине бегства одного из преступников другой остался безнаказанным. Но в таком случае вызывают в суд главного виновника и по причине неявки выносят приговор заочно. Вызов можно посылать в четыре места: по месту его жительства, затем туда, где он проживал в течение сорока дней, затем в главный город графства, где он обычно проживает, и, наконец, если есть основания полагать, что он уехал из Шотландии, то его два месяца кряду вызывают на Главной площади Эдинбурга, в гавани и на литском берегу. Цель этой последней меры Ясна сама собою: корабли, уходящие за море, успеют передать сообщение в тамошних гаванях, и, следственно, такой вызов — не просто для проформы. Теперь как же быть с Аланом? Я не слыхал, чтобы у него был свой дом. Я был бы весьма признателен, если бы хоть кто-нибудь указал мне место, где бы он жил сорок дней подряд, начиная с сорок пятого года. Нет такого графства, где бы он жил постоянно или хотя бы временно; если у него вообще есть какое-то жилище, то оно, вероятно, во Франции, где стоит его полк, а если он еще не покинул Шотландию — о чем мы с вами знаем, а они подозревают, — то даже последний глупец догадается, каковы его намерения. Где же и каким образом следует его вызывать? Это я спрашиваю у вас, человека, не искушенного в законах.

— Вы сами только что сказали, — ответил я. — Здесь, на Главной площади, и в гавани, и на литском берегу в течение двух месяцев.

— Видите, вы гораздо более толковый законник, чем Престонгрэндж! —

воскликнул стряпчий. — Он уже однажды вызывал Алана; это было двадцать пятого, в тот день, когда вы пришли ко мне. Вызвал один раз — и на этом успокоился. И где же, вы бы думали? На площади в Инверэри, главном городе Кемпбеллов! Скажу вам по секрету, мистер Бэлфур: они не ищут Алана.

— Как так? — изумился я. — Они его не ищут?

— Насколько я понимаю, — нет, — сказал он. — По моему скудному разумению, они вовсе не желают найти его. Они боятся, что он, быть может, сумеет оправдаться, а тогда и Джемс, с которым они, собственно, и хотят разделаться, чего доброго, ускользнет у них из рук. Это, видите ли, не правосудие, это заговор.

— Однако, уверяю вас, Престонгрэндж настойчиво расспрашивал об Алане,

— сказал я. — Впрочем, сейчас я понял, что мне не стоило никакого труда уклониться от ответов.

— Вот видите, — заметил стряпчий. — Ну хорошо, прав я или нет, но это в конце концов лишь догадки, обратимся же к фактам. До моих ушей дошло, что Джемса и свидетелей — свидетелей, мистер Бэлфур! — держат под семью замками, они закованы в кандалы и сидят в военной тюрьме форта Вильям. К ним никого не допускают и не разрешают переписываться. А ведь это свидетели, мистер Бэлфур, слышали вы что-либо подобное? Уверяю вас, ни один Стюарт из всей их нечестивой шайки никогда не нарушал законов так нагло. Ведь в парламентском акте тысяча семисотого года черным по белому написано о незаконном заключении в тюрьму. Как только я узнал о Джемсе и свидетелях, я подал петицию лордусекретарю Верховного суда. И сегодня получил ответ. Вот вам и закон! Вот вам и справедливость!

Он сунул мне в руки бумагу, ту самую бумагу с медоточивыми и лицемерными словами, которая впоследствии была напечатана в книжечке, изданной «Посторонним наблюдателем» в пользу, как гласило заглавие, «несчастной вдовы и пятерых детей» Джемса.

— Видите, — продолжал Стюарт, — он не смеет мне отказать в свидании с моим клиентом, поэтому он «испрашивает дозволения у коменданта впустить меня». Испрашивает дозволения! Лорд-секретарь Верховного суда Шотландии испрашивает! Разве смысл этих слов не ясен? Они надеются, что комендант окажется столь глуп или, наоборот, столь умен, что не даст своего дозволения. И придется мне не солоно хлебавши тащиться из форта Вильям обратно. А потом — новая проволочка, пока я буду обращаться к другому высокопоставленному лицу, а, они будут все валить на коменданта — солдаты, мол, полные невежды в законах, — знаю я эту песню! Затем я проделаю этот путь в третий раз, и пока я получу от моего клиента первые распоряжения, суд будет уже на носу. Разве я не прав, считая это заговором?

— Да, похоже на то, — сказал я.

— И я вам сейчас же это докажу, — заявил стряпчий. — У них есть право держать Джемса в тюрьме, но они не могут запретить мне видеться с ним. У них нет права держать в тюрьме свидетелей, но смогу ли я увидеться с этими людьми, которые должны были бы разгуливать на свободе, как сам

лорд-секретарь? Вот, читайте: «Что касается остального, то лорд-секретарь отказывается давать какие-либо приказания зрителям тюрьмы, которые не были замечены ни в каких нарушениях долга своей службы». Ни в каких нарушениях! Господи! А парламентский акт тысяча семисотого года? Мистер Бэлфур, у меня разрывается сердце, вереск моей страны пылает в моей груди!

— В переводе на простой язык, — сказал я, — это значит, что свидетели останутся в тюрьме и вы их не увидите?

— И я их не увижу до Инверэри, где состоится суд! — воскликнул он. — А там услышу, как Престонгрэндж распространяется об «ответственности и душевных тревогах, связанных с его должностью», и о «необычайно благоприятных условиях, созданных для защитников»! Ноя их обеде вокруг пальца, мистер Дэвид! Я задумал перехватить свидетелей на дороге, и вот увидите, я выжму хоть каплю справедливости из того солдата — «полного невежды в законах», который будет сопровождать узников.

Так и случилось: мистер Стюарт впервые увиделся со свидетелями на дороге близ Тиндрама благодаря попустительству офицера.

— В этом деле меня уже ничто не удивит, — заметил я.

— Нет, пока я жив, я вас еще удивлю! — воскликнул стряпчий. — Вот, видите? — Он показал мне еще не просохший, только что вышедший из печатного станка оттиск. — Это обвинительный акт: смотрите, вот имя Престонгрэнджа под списком свидетелей, в котором я что-то не вижу никакого Бэлфура. Но не в том дело. Как вы думаете, на чьи деньги печаталась эта бумага?

— Должно быть, короля Георга, — сказал я.

— Представьте себе, на мои! То есть они ее печатали сами для себя: для Грантов, Эрскинов и того полунощного вора, Саймона Фрэзера. Но мог ли я надеяться, что получу копию? Нет, мне полагалось вести защиту вслепую, мне полагалось услышать обвинительный акт впервые на суде, вместе с присяжными.

— Но ведь это не по закону? — спросил я.

— Да как вам сказать, — ответил он. — Это столь естественная и — до этого небывалого дела — неизменно оказываемая услуга, что закон ее даже никогда не рассматривал. А теперь преклонитесь перед рукой провидения! Некий незнакомец входит в печатню Флеминга, замечает на полу какой-то оттиск, подбирает и приносит его ко мне. И что же? Это оказался обвинительный акт! Я снова отдал его напечатать — за счет защиты: *sumptibus moesti rei*. Слыхано ли что-либо подобное? И вот он — читайте, кто хочет, великая тайна уже ни для кого не тайна. Но как вы думаете, много ли радости доставила вся эта история мне, человеку, которому вверена жизнь его родича?

— Думаю, что никакой, — сказал я.

— Теперь вы понимаете, что творится и почему я засмеялся вам в лицо, когда вы заявили, что вам разрешено дать показания.

Теперь настала моя очередь. Я вкратце рассказал ему об угрозах и посулах мистера Саймона, о случае с подосланным убийцей и о том, что произошло затем у Престонгрэнджа. О моем первом разговоре с ним я, держась своего

слова, не сказал ничего, да, впрочем в этом и не было надобности. Слушая меня, Стюарт все время кивал головой, как заводной болванчик, и едва только я умолк, как он высказал мне свое мнение одним-единственным словом, произнеся его с большим ударением:

— Скройтесь!

— Не понимаю вас, — удивился я.

— Ну что же, я объясню, — сказал стряпчий. — На мой взгляд, вам необходимо скрыться. Тут и спорить не о чем. Прокурор, в котором еще тлеют остатки порядочности, вырвал вашу жизнь из рук Саймона и герцога. Он не согласился отдать вас под суд и не позволил убить вас, и вот откуда у них раздоры: Саймон и герцог не могут быть верными ни другу, ни врагу. Очевидно, вас не отдадут под суд и не убьют, но назовите меня последним болваном, если вас не похитят и не увезут куда-нибудь, как леди Грэндж. Ручаюсь чем угодно — вот это и есть их «способ»!

Я вспомнил еще кое-что и рассказал ему, как я услышал свист и увидел рыжего слугу Нийла.

— Можете не сомневаться: где Джемс Мор, там непременно какое-нибудь темное дело, — сказал стряпчий. — Об его отце я ничего дурного не сказал бы, хотя он был не в ладах с законом и совсем не по-дружески относился к моему роду, так что я и палец о палец не ударил бы, чтобы его защитить. Но Джемс, тот просто подлец и хвастливый мошенник. Мне это появление рыжего Нийла не нравится так же, как вам. Это неспроста — фу, это пахнет какой-то пакостью. Ведь дело леди Грэндж состряпал старый Ловэт; если младший Ловэт возьмется за ваше, то пойдет по стопам отца. За что Джемс Мор сидит в тюрьме? За такое же дело — за похищение. Его люди уже набили руку на похищениях. Он передаст этих мастеров Саймону, и вскоре мы узнаем, что Джемс помилован или бежал, а вы очутитесь в Бенбекуле или Эплкроссе.

— Стало быть, дело плохо, — согласился я.

— Я хочу вот чего, — продолжал он, — я хочу, чтобы вы исчезли, пока они не успели зажать вас в кулак. Спрячьтесь где-нибудь до суда и вынырните в последнюю минуту, когда они меньше всего будут этого ждать. Это, конечно, только в том случае, мистер Бэлфур, если ваши показания стоят такого риска и всяких передраг.

— Скажу вам одно, — произнес я. — Я видел убийцу, и это был не Алан.

— Тогда, клянусь богом, мой родич спасен! — воскликнул Стюарт. — Жизнь его зависит от ваших показаний на суде, и ради того, чтобы вы там были, нельзя жалеть ни времени, ни денег и надо идти на любой риск. — Он вывалил на пол содержимое своих карманов. — Вот все, что у меня есть при себе, — продолжал он. — Берите, это вам еще понадобится, пока вы не закончите свое дело. Идите прямо по этому переулку, оттуда есть выход на Ланг-Дайкс, и заклинаю вас — не показывайтесь в Эдинбурге, пока не кончится этот переполох.

— Но куда же мне идти? — спросил я.

— А! Хотел бы я знать! — сказал стряпчий. — В тех местах, куда я мог бы вас послать, они непременно будут рыскать. Нет, придется вам самому о себе

позаботиться, и да направит вас господь! За пять дней до суда, шестнадцатого сентября, дайте о себе знать а Стирлинг, я буду там в гостинице «Королевский герб», и если вы до тех пор будете целы и невредимы, я сделаю все, чтобы вы добрались до Инверэри.

— Скажите мне еще одно: могу я видеть Алана?

Он, видимо, заколебался.

— Эх, лучше бы не надо, — сказал он. — Но я не стану отрицать, что Алан очень этого хочет и на всякий случай нынче ночью будет ждать у Селвермилза. Если вы убедитесь, что за вами не следят, мистер Бэлфур, — но имейте в виду, только если вы твердо убедитесь в этом, — то спрячьтесь в укромном месте и понаблюдайте за дорогой целый час, не меньше, прежде чем рискнете пойти туда. Если вы или он оплошааете, будет страшная беда!

ГЛАВА X РЫЖИЙ НИЙЛ

Было около половины четвертого, когда я вышел на Ланг-Дайкс. Меня влекло в деревню Дин. Так как там жила Катриона, а ее родня, Гленгайлские Макгрегоры, почти наверное будет пущена по моему следу, то это было одним из немногих мест, от которых мне следовало держаться подальше; но я был очень молод и, кажется, очень влюблен, а потому, не задумываясь, повернул в сторону деревни. Правда, чтобы успокоить совесть и здравый смысл, я старался соблюдать осторожность. Там, где дорога пошла в гору, я, взойдя на перевал, внезапно бросился в ячмень и притаился там, выжидая. Некоторое время спустя мимо прошел человек, по виду горец, но мне совершенно незнакомый. Вскоре прошел рыжеголовый Нийл. Затем проехала тележка мельника, а после шел только всякий деревенский люд. Этого было достаточно, чтобы заставить самого отчаянного смельчака отказаться от своей цели, но во мне еще сильнее разгорелось желание попасть в деревню Дин. Я убеждал себя, что появление Нийла на этой дороге вполне естественно, ибо эта дорога вела к дому, где жила дочь его господина; что касается первого прохожего, то, если я стану пугаться всякого попавшегося на пути горца, мне далеко не уйти. И, успокоив себя этими хитрыми доводами, я прибавил шагу и в самом начале пятого уже был у калитки миссис Драммонд-Огилви.

Обе дамы были в доме; увидев их через открытую дверь, я сорвал с себя шляпу.

— Тут пришел один малый за своими шестью пенсами, — сказал я, думая, что это понравится вдове.

Катриона выбежала мне навстречу и сердечно поздоровалась; к моему удивлению, старая дама встретила меня не менее приветливо. Много времени спустя я узнал, что она еще на рассвете послала верхового в Куинсферри к Ранкилеру, который, как она знала, был поверенным по делам имения Шос, и у нее в кармане лежало письмо от моего доброго друга с самыми лестными словами обо мне и моем будущем. Но даже не зная об этом письме, я легко разгадал, что она замышляет. Быть может, я и в самом деле был

«деревенщиной», но не настолько, как ей представлялось; и даже при моем не слишком тонком уме мне было ясно, что она вознамерилась устроить брак своей родственницы с безбородым мальчишкой, который как-никак владел поместьем в Лотиане.

— Пусть-ка Шесть-пенсов отведаст нашей похлебки. Кэтрин, — сказала она. — Сбегай и скажи девушкам.

И пока мы оставались одни, она всячески старалась польстить мне, всегда умно, всегда как бы подшучивая, по-прежнему называя меня «Шесть-пенсов», но таким тоном, который должен был возвысить меня в собственных глазах. Когда вернулась Катриона, намерения старой дамы стали еще более очевидны, если только это было возможно; она принялась расхваливать достоинства девушки, словно барышник, продающий коня. Щеки мои пылали при мысли, что она считает меня таким тупицей. Порой мне приходило в голову, что наивная девушка даже не догадывается, что ее выставляют напоказ, и тогда мне хотелось стукнуть старую перечницу дубиной; а порой казалось, что обе они сговорились завлечь меня в ловушку, и тогда я мрачнел, хмурился и сидел между ними, как воплощение неприязни. Наконец, старая сваха придумала наилучшую уловку — оставить нас наедине. Если уж во мне зародится подозрение, заглушить его бывает нелегко. Но хотя я знал, к какому воровскому роду принадлежит Катриона, для меня было невозможно смотреть ей в глаза и не верить ей.

— Я не должна вас расспрашивать? — быстро спросила она, как только мы остались одни.

— Нет, сегодня я могу говорить обо всем с чистой совестью, — ответил я. — Я уже не связан словом, и после того, что произошло за сегодняшний день, я бы не дал его снова, если бы меня о том попросили.

— Тогда рассказывайте скорее, — поторопила она. — Тетушка вот-вот вернется.

Я рассказал ей всю историю с лейтенантом с начала до конца, стараясь представить ее как можно смешнее, и в самом деле все это было так нелепо, что невольно вызывало смех.

— Оказывается, все-таки грубые мужланы для вас столь же неподходящее общество, как и хорошенькие барышни! — воскликнула она, когда я кончил.

— Но как же это ваш отец не научил вас владеть шпагой? В жизни не слыхала ничего подобного! Это так неблагородно!

— Во всяком случае, неудобно, — сказал я, — а мой отец — честнейший человек! — вероятно, витал в облаках, иначе он не стал бы вместо фехтования обучать меня латыни. Но, как видите, я делаю, что могу: я, подобно жене Лота, превращаюсь в соляной столб и даю себя рубить.

— Знаете, отчего я смеюсь? — сказала Катриона. — Вот отчего: я такая, что мне следовало бы родиться мужчиной. И я часто воображаю, что я мужчина, и придумываю для себя всякие приключения. Но когда дело доходит до боя, я спохватываюсь, что я ведь только девушка, что я не умею держать шпагу или нанести хороший удар, и тогда я перекраиваю свою историю так, чтобы бой не состоялся, а я бы все равно вышла победительницей — вот как вы

с вашим лейтенантом; и я — мальчик и все время произношу благородные слова, совсем как мистер Дэвид Бэлфур.

— Вы кровожадная девица, — сказал я.

— Я знаю, что надо уметь шить, прясть и вышивать, — ответила она, — но если бы вы только этим и занимались, вы бы поняли, какая это скука. И по-моему, это вовсе не значит, что мне хочется убивать. А вам не случилось убить человека?

— Стучалось, и даже двоих. И я был тогда мальчишкой, которому еще надо — бы учиться в школе, — ска-

зал я. — Но, вспоминая об этом, я нисколько не стыжусь.

— Но что вы чувствовали тогда... после этого? — спросила она.

— Я сидел и ревел, как малый ребенок, — сказал я.

— Я понимаю! — воскликнула она. — Я знаю, откуда берутся эти слезы. Во всяком случае, я не желаю убивать, я хочу быть Кэтрион Дуглас, которая, когда выломали засов, просунула в скобы свою руку. Это моя любимая героиня. А вы хотели бы так умереть за своего короля?

— По правде говоря, — сказал я, — моя любовь к королю (бог да благословит его курносое величество!) гораздо более сдержанна; к тому же я сегодня так близко видел смерть, что теперь предпочитаю думать о жизни.

— Это хорошо, — сказала она, — так и должен рассуждать мужчина! Только вам нужно научиться фехтовать. Мне было бы неприятно, если б мой друг не умел сражаться. Но тех двоих вы, наверное, убили не шпагой.

— Нет, — ответил я, — у меня была пара пистолетов. И к счастью моему, эти люди были совсем рядом со мной, ибо стреляю я ничуть не лучше, чем фехтую.

Она тотчас выведала у меня все о сражении на бриге, о чем я умолчал, когда впервые рассказывал о себе.

— Да, — сказала она, — вы очень храбрый. А вашим другом я просто восхищаюсь и люблю его.

— Им нельзя не восхищаться, — сказал я. — У него, как у всех, есть свои недостатки, но он храбрец, верный друг и добрая душа, благослови его бог! Не верится мне, что придет такой день, когда я смогу забыть Алана! — Сейчас я уже мог думать только об Алане и о том, что от меня одного зависит, увидимся мы нынче же ночью или нет.

— Боже, где моя голова, ведь я забыла сообщить вам новость! — воскликнула Катриона и рассказала мне, что получила письмо от отца: он пишет, что его перевели в Замок, где она может завтра его навестить, и что дела его улучшаются. — Вам это, наверное, неприятно слышать, — сказала она. — Но можно ли осуждать моего отца, не зная его?

— Я и не думаю его осуждать, — ответил я. — И даю вам слово, я рад, что у вас стало легче на душе, а если я и приуныл, что, должно быть, видно по моему лицу, то согласитесь, что сегодня неподходящий день для примирений и что люди, стоящие у власти, — совсем не те, с кем можно поладить. Я все еще не могу опомниться после встречи с Саймоном Фрэзером.

— О, как можно их сравнивать! — воскликнула она. — И кроме того, не

забывайте, что Престонгрэндж и мой отец Джемс Мор — одной крови.

— В первый раз об этом слышу, — сказал я.

— Странно, как мало вы вообще знаете, — заметила Катриона. — Одни называют себя Грантами, другие Макгрегорами, но все принадлежат к одному клану.

И все они сыны Эпина, в честь которого и названа наша страна.

— Какая страна? — спросил я.

— Моя и ваша, — ответила Катриона.

— Как видно, сегодня для меня день открытий, — сказал я, — ибо я всегда думал, что моя страна называется Шотландией.

— А на самом деле Шотландия — это страна, которую вы называете Ирландией, — возразила она. — Настоящее же, древнее название земли, по которой мы ходим и из которой сделаны наши кости, — Эпин. И когда наши предки сражались за нее с Александром и римлянами, она называлась Эпин. И до сих пор так называется на вашем родном языке, который вы позабыли!

— Верно, — сказал я, — и которому я никогда не учился. — У меня не хватило духу вразумить ее относительно Александра Македонского.

— Но ваши предки говорили на нем из поколения в поколение, — заявила она, — и пели колыбельные песни, когда ни меня, ни вас еще и в помине не было. И даже в вашем имени еще слышится наша родная речь. Ах, если бы мы с вами могли говорить на этом языке, вы бы увидели, что я совсем другая! Это язык сердца!

Дамы угостили меня вкусным обедом, стол был сервирован красивой старинной посудой, и вино оказалось отменным; очевидно, миссис Огилви была богата. За столом мы оживленно болтали, но, заметив, что солнце быстро клонится к закату и по земле потянулись длинные тени, я встал и откланялся. Я уже твердо решил попрощаться с Аланом, и мне нужно было найти и осмотреть условленное место при дневном свете. Катриона проводила меня до садовой калитки.

— Долго я вас теперь не увижу? — спросила она.

— Мне трудно сказать, — ответил я. — Быть может, долго, а быть может, никогда.

— И это возможно, — согласилась она. — Вам жаль?

Я наклонил голову, глядя на нее.

— Мне тоже, и еще как, — сказала она. — Мы мало виделись с вами, но я вас высоко ценю. Вы храбрый и честный; со временем вы, наверное, станете настоящим мужчиной, и я буду рада об этом услышать. Если даже случится худшее, если вам суждено погибнуть... что ж! Помните только, что у вас есть друг. И долго-долго после вашей смерти, когда я буду совсем старухой, я стану рассказывать внукам о Дэвиде Бэлфуре и плакать. Я расскажу им, как мы расстались, что я вам сказала и что сделала. «Да сохранит и направит вас бог, так будет молиться ваша маленькая подружка» — вот что я сказала, и вот что я сделала...

Она схватила мою руку и поцеловала ее. Это так меня поразило, что я вскрикнул, словно от боли. Лицо ее зарделось, она взглянула мне в глаза и

кивнула.

— Да, мистер Дэвид, — сказала она, — вот что я думаю о вас. Вместе с поцелуем я отдала вам душу.

Я видел на ее лице воодушевление и рыцарский пыл смелого ребенка, но не больше того. Она поцеловала мне руку, как когда-то целовала руку принцу Чарли, в порыве высокого чувства, которое неведомо людям обычного склада. Только теперь я понял, как сильно я ее люблю и какой трудный путь мне еще нужно пройти для того, чтобы она думала обо мне, как о возлюбленном. И все же я чувствовал, что уже немного продвинулся на этом пути и что при мысли обо мне сердце ее бьется чуть чаще, а кровь становится чуть горячее.

После великой чести, которую она мне оказала, я уже не мог произнести какую-нибудь обычную любезность. Мне даже трудно было говорить: в голосе ее звучало такое вдохновение, что у меня готовы были хлынуть слезы.

— Благодарю господу, что вы так добры, дорогая, — сказал я. — Прощайте, моя маленькая подружка. — Я назвал ее так, как она назвалась сама; затем поклонился и вышел за калитку.

Путь мой лежал по долине вдоль реки Лит, к Стокбриджу и Силвермилзу. Тропинка бежала по краю долины, посреди журчала и звенела река, низкое солнце на западе расстилало свои лучи среди длинных теней, и с каждым извивом тропы передо мной открывались все новые картины, точно за каждым поворотом был новый мир. Думая об оставшейся позади Катрионе и ждавшем меня впереди Алане, я летел, как на крыльях. Мне бесконечно нравились и здешние места, и этот предвечерний свет, и говор воды; я замедлил шаг и огляделся по сторонам. И потому, а также по воле провидения — увидел недалеко позади себя в кустах рыжую голову.

Во мне вспыхнул гнев; я круто повернул назад и твердым шагом пошел обратно. Тропа проходила рядом с кустами, в которых я заметил рыжую голову. Поравнявшись с засадой, я весь напрягся, готовясь встретить и отразить нападение. Но ничего не случилось, я беспрепятственно прошел мимо, и от этого мне стало только страшнее. Еще светило солнце, "о вокруг было совсем пустынно. Если мои преследователи упустили такой удобный случай, то можно было предположить лишь одно: они охотятся за кем-то поважнее, чем Дэвид Бэлфур. Ответственность за жизнь Алана и Джемса легла мне на душу тяжким бременем.

Катриона все еще была в саду, одна.

— Катриона, — сказал я, — видите, я вернулся.

— И на вас нет лица! — воскликнула она.

— Я отвечаю за две человеческие жизни, кроме своей собственной, — сказал я. — Было бы преступно и позорно ходить, не остерегаясь. Я не знаю, правильно ли я поступил, придя к вам. Я был бы очень огорчен, если бы навлек этим беду на нас обоих.

— Есть человек, который был бы огорчен еще больше и уже сейчас огорчен вашими словами, — проговорила она. — Скажите по крайней мере, что я такого сделала?

— О, вы! Вы ничего не сделали, — ответил я. — Но когда я вышел, за

мною следили, и я могу назвать того, кто шел за мной по пятам. Это Нийл, сын Дункана, слуга вашего отца и ваш.

— Вы, разумеется, ошиблись, — сказала она, побледнев. — Нийл в Эдинбурге, его послал с каким-то поручением отец.

— Вот этого я и боялся, — сказал я, — то есть последних ваших слов. А если вы думаете, что он в Эдинбурге, то, кажется, я смогу доказать, что это не так. У вас, конечно, есть условный сигнал на случай необходимости, сигнал, по которому он поспешит к вам на помощь, если сможет услышать и добежать?

— Как вы узнали? — удивленно воскликнула Катриона.

— С помощью волшебного талисмана, который бог подарил мне при рождении, и называется он Здравый Смысл, — ответил я. — Сделайте одолжение, подайте сигнал, и я покажу вам рыжую голову Нийла.

Не сомневаюсь, что слова мои звучали горько и резко. Горечь переполняла мое сердце. Я винил и себя и девушку и ненавидел нас обоих; ее за то, что она принадлежит к этой подлой шайке, себя — за глупое легкомыслие, с которым я сунул голову в это осиное гнездо.

Катриона приложила пальцы к губам, и раздался свист, чистый, пронзительный, на высокой ноте; так мощно мог бы свистнуть пастух. С минуту мы стояли молча, и я уже хотел было просить, чтобы она повторила сигнал, но вдруг услышал, как внизу на склоне холма кто-то пробирается сквозь кустарник. Я с улыбкой указал ей в ту сторону, и вскоре Нийл прыгнул в сад. Глаза его горели, в руке был обнаженный «черный нож», как называют его в горах; увидев меня рядом со своей госпожой, Нийл остановился, как вкопанный.

— Он явился на ваш зов, — сказал я, — судите сами, был ли он в Эдинбурге и какого рода поручение дал ему ваш отец. Спросите его самого. Если я или те двое, что от меня зависят, должны погибнуть от руки вашего клана, то дайте мне идти навстречу смерти с открытыми глазами.

Дрожащим голосом Катриона обратилась к нему погэльски. Вспомнив деликатную щепетильность Алана в таких случаях, я чуть не рассмеялся горьким смехом; именно сейчас, зная о моих подозрениях, она должна была бы говорить только по-английски.

Они перебросились двумя-тремя фразами, и я понял, что Нийл, несмотря на всю свою подобострастность, очень разозлился.

Затем Катриона повернулась ко мне.

— Он клянется, что это неправда, — сказала она.

— Катриона, — произнес я, — а вы сами верите этому человеку?

— Откуда я знаю? — воскликнула она, ломая руки.

— Но я должен как-то узнать, — сказал я. — Не могу больше блуждать в потемках, неся на себе две человеческие жизни! Катриона, постарайтесь поставить себя на мое место, а я богом клянусь, что изо всех сил стараюсь стать на ваше. Не думал я, что когда-нибудь нам с вами придется вести такой разговор, вот уж не думал; сердце мое обливается кровью. Но задержите его здесь до двух часов ночи, и больше мне ничего не нужно. Попробуйте его уговорить.

Они опять заговорили по-гэльски.

— Он говорит, что мой отец. Джемс Мор, дал ему поручение, — сказала Катриона. Она побледнела еще больше, и голос ее дрожал.

— Теперь мне все ясно, — сказал я, — и да простит им господь их злодеяния!

Она ничего не ответила, но по-прежнему смотрела на меня, и с лица ее не сходила бледность.

— Что же, прекрасно, — сказал я, — Значит, я должен умереть и те двое тоже?

— О, что же мне делать! — воскликнула она. — Как я могу идти наперекор отцу, когда он в тюрьме и жизнь его в опасности?

— Но может быть, все не так, как мы думаем? — сказал я. — Может быть, он опять лжет и никакого приказа он не получал; возможно, все это подстроил Саймон, без ведома вашего отца?

Она вдруг расплакалась, и у меня больно сжалось сердце; я понимал, в каком ужасном положении эта девушка.

— Знаете что, — сказал я, — задержите его только на час; я попробую рискнуть и буду молить за вас бога.

Она протянула мне руку.

— Мне так нужно хоть одно доброе слово, — всхлипнула она.

— Итак, на целый час, — сказал я, беря ее руку в свою. — Он стоит трех жизней, дорогая!

— Целый час! — сказала она и стала громко молить Спасителя, чтобы он простил ее.

Я подумал, что мешкать здесь больше нельзя, и убежал.

ГЛАВА XI ЛЕС У СИЛВЕРМИЛЗА

Я не терял времени и что было духу помчался вниз по долине, мимо Стокбриджа и Силвермилза. Каждую ночь от двенадцати до двух часов Алан ждал в условленном месте — «в роще, что восточное Силвермилза и южнее южной мельничной запруды». Рощу я нашел довольно легко, она сбегала по крутому склону холма к быстрой и глубокой речке; здесь я пошел медленнее, стараясь спокойно обдумать свои действия. Я понял, что мой уговор с Катрионой — сушая бессмыслица. Вряд ли Нийла послали с таким поручением одного, но возможно, что он был единственным из приверженцев Джемса Мора; в таком случае я сделал все, чтобы отправить отца Катрионы на виселицу, и ничего такого, что помогло бы мне. Сказать по правде, раньше мне все это и в голову не приходило. Если то, что она задержала Нийла, приблизит гибель ее отца, она не простит себе этого до конца своей жизни. А если сейчас по моим следам идут и другие, хороший же подарок я преподнесу Алану; и каково будет мне самому?

Я уже подходил к западному краю леса, когда эти мысли поразили меня, как громом. Ноги мои вдруг сами собой остановились и сердце тоже. «Зачем я

затеял эту безумную игру?» — подумал я и круто повернулся, готовый бежать, куда глаза глядят.

Передо мной открылся Силвермилз; тропа огибала деревню петлей, однако была видна отсюда вся как на ладони, и кто бы за мной ни охотился, горцы или не горцы, но на ней не было ни души. Вот он, удобный случай, вот то стечение обстоятельств, которым мне советовал пользоваться Стюарт, и я побежал вдоль запруды, обогнул восточный край леса, прошел его насквозь и снова очутился на западной опушке, откуда я мог наблюдать за тропой, оставаясь невидимым. Она попрежнему была безлюдной, и я немного приободрился.

Больше часа я сидел, притаившись за деревьями, и, наверное, ни заяц, ни орел не могли бы следить за опасностью зорче и настороженнее, чем я. Солнце зашло еще в начале этого часа, но небо сияло золотом, и было еще совсем светло; к исходу часа дневной свет стал меркнуть, очертания предметов сливались вдаль, и наблюдать стало трудно. За это время к востоку от Силвермилза не прошел ни один человек, а в западном направлении шли только честные поселяне с женами, возвращавшиеся по домам на покой. Если даже за мной следят самые хитроумные шпионы в Европе, думал я, и то маловероятно, чтобы они догадались, где я; забравшись немного глубже в лесок, я лег и стал дожидаться Алана.

Все это время я сильно напрягал внимание, следя не только за тропой, но и, насколько хватало глаз, за всеми кустами и полями. Сейчас в этом уже не было надобности. Луна в первой своей четверти поблескивала между ветвями; вокруг стояла сельская тишина, и следующие три-четыре часа я, лежа на спине, мог спокойно обдумывать свое поведение.

Прежде всего два обстоятельства не вызывали у меня сомнений: я не имел права идти сегодня в Дин, и уж если я там побывал, то не имел права лежать в этом леске, куда должен прийти Алан. Если здраво рассуждать, то из всех лесов обширной Шотландии именно в этот мне был заказан путь; я это знал и тем не менее лежал здесь, дивясь самому себе. Я думал о том, как дурно я сегодня поступил с Катрионой; как я твердил, что от меня зависят две человеческие жизни, и этим заставил подвергнуть опасности ее отца; и о том, что, легкомысленно явившись сюда, я опять могу выдать их обоих. Чистая совесть — залог мужества. И как только я здраво оценил свои поступки, мне показалось, что я стою безоружный среди полчища опасностей. Я быстро привстал. А что если я сейчас пойду к Престонгрэнджу, застаю его, пока он не лег спать (я легко успею дойти), и покорно отдамся в его руки? Кто меня за это осудит? Не стряпчий же Стюарт: мне только стоит сказать, что за мною гнались, что я отчаялся спастись и поэтому сдался. И не Катриона, для нее тоже ответ у меня был наготове: я не мог допустить, чтобы она выдала своего отца. И в одно мгновение я смогу избавиться от всех бед, которые, в сущности, и не были моими: выпутаться из эпинского убийства, уйти из-под власти всех Стюартов и Кемпбеллов, всех вигов и тори в стране и отныне жить по собственному разумению, наслаждаться своим богатством, увеличивать его и посвятить дни моей молодости ухаживанию за Катрионой, что для меня будет куда более подходящим занятием, чем прятаться от преследователей, словно

воришка, и снова терпеть тяжкие мытарства, которыми была полна моя жизнь после бегства с Аланом.

Поначалу я не видел ничего постыдного в том, чтобы сложить оружие; я только удивлялся, почему я не додумался до этого раньше, и стал размышлять, почему же во мне свершилась такая перемена. Очевидно, причина в том, что я пал духом, а это было следствием моего недавнего безрассудства, которое, в свою очередь, порождено старым, всеобщим позорным грехом — безволием. Мне тотчас же вспомнились евангельские слова: «Как сатане изгнать сатану?» Неужели же, думал я, изза своего малодушия, из-за того, что я пошел по приятному мне пути и поддался влечению к молодой девушке, я совсем лишился самоуважения и готов погубить Алана и Джемса? И теперь должен искать выхода там, откуда я вошел? Нет, зло, причиненное себялюбием, надо исправить самоотречением; плоть, которую я ублажал, должна быть распята на кресте. Я мысленно искал такой образ действий, который был бы мне наименее приятен: очевидно, я должен уйти из леса, не дождавшись Алана, и продолжить свой путь в одиночестве, во тьме, среди невзгод и опасностей, уготованных мне судьбой.

Я описываю свои размышления столь подробно потому, что они, как мне кажется, могут быть полезными и послужить уроком для молодых людей. Но говорят, и в том, чтобы сажать капусту, есть своя истина, и даже в нравственности и вере находится место здравому смыслу. Близился час прихода Алана, и луна уже зашла. Если я уйду и шпионы в темноте меня не заметят (не мог же я свистнуть им, чтобы они следовали за мной!), то по ошибке они могут накинуться на Алана. А если я останусь, то хотя бы сумею его предостеречь и, быть может, этим спасу. Потворствуя своим желаниям, я рисковал жизнью других людей; навлекать на них опасность снова, и на этот раз во имя искупления, вряд ли было бы разумно. И я, привстав было, опять опустился на землю, но теперь я был настроен по-иному: я одинаково удивлялся приступу малодушия и радовался охватившему меня спокойствию.

Вскоре я услышал треск сучьев. Низко наклонившись к земле, я просвистел две-три нотки из песни Алана; он ответил таким же осторожным свистом, и немного погодя мы с Аланом натолкнулись друг на друга в темноте.

— Неужели это ты наконец, Дэви? — прошептал он.

— Я самый, — ответил я.

— Боже, как мне хотелось тебя видеть! — сказал он. — Время тянулось бесконечно. Я целые дни просиживал в стоге сена, где нельзя было разглядеть даже собственных пальцев, а потом два часа ждал тебя здесь, а ты все не шел! Ей-богу, ты не слишком торопился — ведь я отплываю завтра утром. Что я говорю, не завтра, а сегодня!

— Да, Алан, дружище, конечно, сегодня, — сказал я. — Уже первый час, и ты отплываешь сегодня. Долгий тебе путь предстоит!

— Но сначала мы всласть наговоримся, — сказал Алан.

— Конечно, — ответил я, — и у меня есть что порассказать!

И я рассказал все, что ему надлежало знать, правда, довольно сбивчиво, но в конце концов Алан понял все. Он слушал меня, почти не задавая вопросов,

иногда от души смеялся, и его смех, особенно в этой темноте, где мы не видели друг друга, удивительно согревал мне сердце.

— А ты, Дэви, все-таки на редкость странный малый, — сказал он, когда я кончил, — чудак да и только, не дай бог столкнуться с такими, как ты! А насчет того, что ты рассказал, — ну, Престонгрэндж тоже виг, как и ты, и я о нем распространяться не стану, но, ей-богу, он был бы тебе лучшим другом, если б только ты мог ему доверять. Но Саймон Фрэзер и Джемс Мор одной породы со мной, и я вправе говорить о них, что думаю. Все Фрэзеры пошли от черного дьявола, это каждый знает, а от Макгрегоров меня мутит с тех пор, как я научился стоять на ногах. Помню, одному я расквасил нос, когда еще ходить как следует не умел, я его толкнул и шмякнулся ему на спину. Отец тогда очень этим гордился, упокой, господи, его душу, да и было чем. Спору нет, Робин волынщик, каких мало, — прибавил он, — но Джемс Мор пусть идет к черту в зубы!

— Нам надо подумать вот о чем, — сказал я. — Прав был Чарлз Стюарт или нет? Им нужен только я или мы оба?

— А ты как полагаешь, ты ведь теперь человек опытный? — спросил Алан.

— Не могу понять, — сказал я.

— И я тоже, — признался Алан. — Ты думаешь, эта девушка сдержала слово?

— Конечно.

— Ну, кто ее знает, — сказал Алан. — Впрочем, что теперь говорить: этот рыжий давно уже вместе с остальными.

— А много ли их, как по-твоему? — спросил я.

— Смотря какие у них намерения, — ответил Алан. — Если они ловят одного тебя, наверно, пошлют двух-трех проворных молодцов, а если они решат, что не худо прихватить и меня, тогда человек десять — двенадцать.

Я невольно прыснул со смеху.

— И думается мне, ты собственными глазами увидишь, как они побегут от меня, будь их даже вдвое больше! — воскликнул Алан.

— Увидеть не придется, — сказал я, — на этот раз я от них отделался.

— Как знать, — возразил Алан, — я ничуть не удивлюсь, если они притаились где-то в этом лесу. Видишь ли, Дэвид, дружище, это ведь горцы. А среди них, наверное, будет кое-кто из Фрэзеров и из Макгрегоров тоже; и спору нет, что и те и другие, в особенности Макгрегоры, люди умные и опытные. Кто не гнал стадо коров целых десять миль по людным дорогам низин, зная, что его вот-вот настигнет черная стража, тот еще ничего не испытал. Вот это, пожалуй, больше всего и научило меня быть прозорливым. Что и говорить, это лучше, чем война, но война тоже может многому научить, хотя вообще это пустяковое дело. Так вот, Макгрегоры — люди бывалые.

— В моем образовании тут как раз пробел, — произнес я.

— Это я вижу то и дело, — сказал Алан. — Но вот что странно в вас, людях образованных: вы невежды и сами этого не замечаете. Я, к примеру, не знаю ни погречески, ни по-древнееврейски; но ведь я, дружище мой, сознаю, что я этого не знаю, — вот в чем разница. А ты? Ты валяешься на брюхе в этом

лесу и уверяешь, что отделался от всех Фрэзеров и Макгрегоров. И почему? «Потому, что я их не видел», — говоришь ты. Глупая ты голова, да ведь тем они и живут, что умеют прятаться.

— Предположим самое худшее, — сказал я, — что же нам тогда делать?

— Вот и я о том же думаю, — ответил Алан. — Мы можем разделиться. Это мне очень не по душе. И кроме того, совсем не разумно. Во-первых, тьма здесь крошечная, и, может, мы сумеем улизнуть. Если мы будем держаться вместе, то пойдем в одну сторону, а разделившись, побежим в разные стороны, и тем вероятнее, что кто-то из нас наткнется на этих твоих джентльменов. А, во-вторых, если они нас выследят, наверное, драки не миновать, и скажу тебе честно, Дэви, я был бы рад чувствовать рядом твое плечо, а ты, думаю, не прочь чувствовать мое. Так что, по-моему, надо нам поскорей выбираться из леса и держать на восток, в Джиллан, где меня подберет корабль. Все, как в наши былые дни, Дэви, и если найдется время, надо будет подумать, что тебе делать дальше. Трудно мне бросать тебя одного, Дэви.

— Что ж, будь по-твоему, — согласился я. — Ты зайдешь туда, где ты остановился?

— Боже упаси! — сказал Алан. — Они хорошо ко мне отнеслись, но, наверное, не обрадуются при виде моего милого лица. Время нынче такое, что меня нельзя назвать желанным гостем. Тем больше я дорожу вашим обществом, мистер Дэвид Бэлфур из Шоса, можете задирать нос! С тех пор как мы расстались у Корсторфайна, я почти и рта не раскрывал, если не считать двух перебранок с Чарли Стюартом здесь, в лесу.

Он встал, и мы бесшумно пошли через лес на восток.

ГЛАВА XII СНОВА В ПУТЬ С АЛАНОМ

Шел, вероятно, второй час ночи; луна, как я уже говорил, зашла, с запада внезапно налетел сильный ветер, несущий тяжелые, рваные тучи, и мы пустились в путь в такой непроглядной тьме, о которой может только мечтать беглец или убийца. Белеющая в темноте дорога привела нас в спящий городок Браутон, а оттуда пошла через Пикардию мимо старой моей знакомой

— виселицы с телами двух воров. Пройдя немного дальше, мы увидели очень нужный для нас маяк: огонек в верхнем окне какого-то дома в Лохэнде. Мы направились к нему почти наугад, топча ногами жатву, спотыкаясь и падая в канавы, затем миновали деревню и добрались наконец до покато́й болотистой пустоши под названием Фигейтские Дроки. Здесь, под кустом дрока, мы улеглись и продремали до зари.

Солнце пробудило нас в пять часов. Стояло погожее утро, все еще дул сильный западный ветер, но тучи уплыли в Европу. Алан сидел на земле и чему-то улыбался. С тех пор, как мы расстались, я впервые видел своего друга и глядел на него с удовольствием. На нем был все тот же широкий плащ, но вязаных гетр, натянутых выше колен, он раньше не носил. Гетры, без сомнения, служили своего рода маскировкой, но так как день обещал быть жарким, то

наряд Алана был совсем не по сезону.

— Смотри, Дэви, — сказал он, — какое славное утро! Будет такой денек, каким ему положено быть от бога. Это не то, что сидеть в стоге сена! Пока ты спал да похрапывал, я тут занялся тем, чего никогда почти не делаю.

— Чем же? — спросил я.

— Да просто взял и помолился.

— А где же мои джентльмены, как ты их называешь? — спросил я.

— Кто их знает, — сказал он. — Одним словом, надо нам воспользоваться тем, что их не видно. Живей подымайся, Дэви! Мы сейчас славно прогуляемся. Вперед, Фортуна, веди нас за собой!

Мы пошли берегом моря на восток, к устью Эска, туда, где курились паром соляные варницы. В лучах утреннего солнца Стул Артура и зеленые Пентлендские холмы, были необычайно живописны; но прелесть занимающегося дня, по-видимому, вызывала в Алане только досаду.

— Надо быть сущим ослом, чтобы покидать Шотландию в такой денек, — ворчал он. — Неохота уезжать; лучше бы мне остаться, и пусть меня тут повесят.

— Нет, Алан, это нисколько не лучше.

— Не потому, что Франция хуже, — объяснил он, — а просто она совсем другая. Там, пожалуй, еще красивее, чем здесь, но все-таки это не Шотландия. Когда я во Франции, мне там очень нравится, и все же я тоскую по шотландскому дерну и торфяному дыму.

— Если дело только в дыме, то это еще не беда, — заметил я.

— Конечно, грех жаловаться, когда я только что вылез из того проклятого стога, — сказал он.

— Тебе, должно быть, опостылел этот стог? — спросил я.

— Мало сказать, опостылел, — сказал он. — Я не так-то легко впадаю в уныние, но мне нужен свежий воздух и небо над головой. Я, как и старый Черный Дуглас, больше люблю пение жаворонка, чем писк мышей. А в этом стоге, Дэви, хотя я признаю, что лучшего тайника не сыскать, но там с рассвета до сумерек было темно, как в могиле. Иные дни (а может, и ночи, разве их там отличишь?) казались мне долгими, как зима.

— Как же ты узнавал час, когда идти на место встречи? — спросил я.

— Около одиннадцати хозяин приносил мне еду, немножко бренди и огарок свечи, чтобы не есть в темноте. И я знал, что, когда поем, пора идти в лес. Там я лежал и сильно тосковал по тебе, Дэви, — сказал он, кладя руку мне на плечо, — и гадал, прошло уже два часа или нет, если только не приходил Чарли Стюарт со своими часами; а потом возвращался в свой распроклятый стог. Нет, дрянное было житье, и слава богу, что я оттуда вырвался.

— А что же ты там делал все время?

— Да все, что мог! Иногда играл в бабки. Я отлично играю в бабки, только неинтересно играть, если тобой никто не любит. А иногда сочинял песни.

— О чем? — спросил я.

— Ну, об оленях, о вереске, — сказал Алан, — о вождях, что жили в давние времена, и вообще обо всем, о чем поется в песнях. А иной раз я

воображал, что в руках у меня волынка и я играю. Я вспоминал прекрасные песни, и мне казалось, будто я играю страх как хорошо; клянусь тебе, порой я даже слышал звуки своей волынки! Но до чего я рад, что все это кончилось!

Он заставил меня снова рассказать о моих приключениях и выслушал все с начала до конца, расспрашивая о подробностях, выказывая бурное одобрение и временами восклицая, что я «на редкость храбрый, хоть и чудак».

— Значит, ты испугался Саймона Фрэзера? — однажды спросил он.

— По правде сказать, да!

— Я бы на твоём месте тоже испугался, Дэви, — сказал Алан. — Но хоть он и негодяй, а надо по справедливости сказать, что в сражениях он вел себя очень достойно.

— Так он не трус? — спросил я.

— Трус! — хмыкнул Алан. — Да он бесстрашный, как моя шпага.

Рассказ о моей дуэли привел его в неистовство.

— Подумать только! — кричал он. — Я ведь показывал тебе этот прием в Корринэки! Три раза, три раза ты дал выбить у себя шпагу! Позор на мою голову — ведь это я тебя учил! Ну-ка, становись, вынимай шпагу, мы не сойдем с этого места, пока ты не сотрешь пятно со своей и моей чести!

— Алан, — сказал я, — тебя, должно быть, хватил солнечный удар! Ну время ли сейчас заниматься уроками фехтования!

— Ты, пожалуй, прав, — согласился он. — Но три раза выбить шпагу, Дэви! А ты стоял, как соломенное чучело, и бегал за ней, точно собачонка за платком! Дэвид, этот Дункансби, очевидно, какой-то особенный! Должно быть, несравненный фехтовальщик! Будь у меня время, я бы побежал назад и сразился с ним сам. Он, как видно, большой мастер!

— Глупый ты человек, — сказал я, — ты забываешь, что сражался-то он со мной.

— Это верно, — сказал он, — но три раза!

— Ты же сам знаешь, что я никудышный фехтовальщик, — сказал я.

— Все равно, я сроду ничего подобного не слышал!

— Обещаю тебе одно, Алан, — сказал я. — Когда мы свидимся в следующий раз, я буду фехтовать лучше. Тебя больше не опозорит друг, не умеющий биться на шпагах.

— В следующий раз! — вздохнул Алан. — Когда он будет, хотел бы я знать?

— Я подумывал об этом, Алан, — сказал я, — и у меня вот какие намерения: мне хочется стать адвокатом.

— Это такая скучища, Дэви, — возразил Алан, — и к тому же сплошное крючкотворство. Нет, тебе больше подходит королевский мундир.

— И конечно же, тогда нам будет легче всего встретиться! — воскликнул я. — Но так как ты наденешь мундир короля Людовика, а я — короля Георга, то встреча будет премиленькая!

— Пожалуй, ты прав, — согласился Алан.

— Лучше я стану адвокатом, — продолжал я, — на мой взгляд, это — самое подходящее дело для джентльмена, у которого три раза выбили шпагу.

Но вот в чем соль: один из лучших колледжей, где учат на адвокатов и где учился мой родич Пилриг, — это Лейденский колледж в Голландии. Что ты на это скажешь, Алан? Не сможет ли волонтер Royal Ecossais [5] взять отпуск, перескочить через границу и навестить лейденского студента?

— Еще бы, конечно, сможет! — воскликнул он. — Видишь ли, мой полковник, граф Драммонд-Мелфорт, ко мне благоволит; а что еще важнее, один из моих родичей — подполковник шотландского полка в Голландии. Это проще простого — отпроситься, чтобы навестить подполковника Стюарта из Халкета. А лорд Мелфорт — человек весьма ученый, он, как Цезарь, пишет книги и бесспорно будет доволен, если я поделюсь с ним своими наблюдениями.

— Стало быть, лорд Мел форт — писатель? — обрадовался я, ибо если Алан превыше всего ценил солдат, то я питал гораздо большее уважение к джентльменам, пишущим книги.

— Вот именно, Дэви, — подтвердил он. — Многие думают, что полковник мог бы заняться делами и поважнее. Но что мне сказать, когда я сам сочиняю песни?

— Ну что же, — сказал я, — теперь тебе остается лишь дать адрес, куда тебе писать во Францию; а как только я попаду в Лейден, я пришлю тебе свой.

— Лучше всего писать на имя вождя моего клана, — сказал он. — Чарлзу Стюарту из Ардшила, эсквайру, город Мелон во Франции. Рано или поздно письмо непременно попадет в мои руки.

Мы позавтракали жареной пикшей в Массельборо, где я от души потешался над Аланом. В это жаркое утро его плащ и вязаные гетры невольно бросались людям в глаза, и, быть может, разумнее было бы объяснить причины такого наряда вскользь, как бы между прочим; но Алан взялся за дело необычайно ретиво, вернее, даже разыграл целое представление. Он расхвалил хозяйку за ее умение жарить рыбу, а потом до самого ухода рассказывал, как у него от простуды заболел живот, торжественно описывал всевозможные симптомы болезни и свои страдания и с огромным интересом выслушивал хозяйкины советы.

Мы постарались уйти из Массельборо до прихода первой почтовой кареты, ибо, как сказал Алан, этой встречи нам лучше избежать. Ветер, хотя и сильный, дышал теплом, и чем сильнее припекало солнце, тем больше Алан страдал от жары. В Престонпансе он увел меня в сторону, на Глэдсмьюрское поле, и стал с совершенно излишней пространностью описывать мне здешнее сражение. Оттуда мы прежним быстрым шагом отправились в Кокенси. Несмотря на верфи миссис Кэделл, где сооружались рыбачьи шхуны для ловли сельдей, это был пустынный, обветшалый городишко с множеством разрушенных домов; однако в харчевне оказалось чисто, и Алан, совсем разомлевший от жары, угостился бутылкой эля и поведал старухе хозяйке историю о простуженном животе, хотя на этот раз симптомы были совсем другие.

Я сидел и слушал, и вдруг мне пришло в голову, что я не припомню, чтобы он сказал какой-нибудь женщине хоть два-три слова всерьез: он всегда зубоскалил и дурачился, втайне издеваясь над ними, однако же предавался

этому делу с большим азартом и энергией. Я намекнул ему об этом, когда хозяйку случайно отозвали из комнаты.

— Что же ты хочешь? — сказал он. — Мужчина всегда должен веселить женский пол и плести всякие небылицы, чтобы развлечь бедных овечек! Тебе во что бы то ни стало надо поучиться этому, Дэвид, надо усвоить приемы, это ведь как ремесло. Ну, само собой, если б тут была молоденькая женщина, да еще и хорошенькая, я бы и не заикнулся про свой живот. Но если женщина слишком стара, чтобы думать о любовниках, ее хлебом не корми, только дай кого-то полечить. Почему? Откуда я знаю? Такими уж создал их бог. И все равно болван тот мужчина, который не постарается им угодить.

Но тут старуха вошла в комнату, — и он отвернулся от меня, словно ему не терпелось продолжить увлекательный разговор. Хозяйка, отвлекшись на время от Аланова живота, принялась рассказывать о своем девере из Эберледи, чью болезнь и кончину она живописала бесконечно долго. Иногда это было скучно, иногда же и скучно и противно, ибо старуха рассказывала, смакуя подробности. В конце концов я погрузился в глубокую задумчивость и глядел в окно на дорогу, почти не замечая того, что видел перед собой. Но если бы ктонибудь за мной наблюдал, он увидел бы, как я внезапно вздрогнул.

— И припарки к ногам мы ему ставили, — говорила хозяйка, — и горячий камень на живот клали, и давали ему пить отвар из иссопа, и мятную воду, и хороший, чистый серный бальзам...

— Сэр, — тихо произнес я, вмешиваясь в разговор, — сейчас мимо дома прошел один мой друг.

— Да неужели? — небрежно отозвался Алан, словно речь шла о сущем пустяке. — Ну, а еще что, мэм? — обратился он к несносной старухе, и она опять повела свой рассказ.

Вскоре, однако, он расплатился с ней монетой в полкроны, и ей пришлось выйти за сдачей.

— Это был тот рыжий? — спросил Алан.

— Ты угадал, — ответил я.

— А что я тебе говорил в лесу! — воскликнул он. — И все же странно, что он оказался тут. Он был один?

— По-моему, да.

— Он прошел мимо? — продолжал Алан.

— Да, — сказал я, — и не смотрел ни направо, ни налево.

— Это еще более странно, — произнес Алан. — Мне думается, Дэви, что нам надо уходить. Но куда? Черт его знает! Похоже на прежние времена! — воскликнул он.

— Нет, не совсем похоже, — возразил я. — Теперь у нас есть деньги в кармане.

— И еще одна большая разница, мистер Бэлфур, — сказал он. — Теперь за нами гонятся псы. Они почуяли след; вся свора бежит за нами. — Он выпрямился на стуле, и на лице его появилось знакомое мне сосредоточенное выражение.

— Послушайте, матушка, — обратился он к вошедшей хозяйке, — нет ли

другой дороги к вашему постоялому двору?

Она ответила, что есть, и сказала, куда эта дорога ведет.

— Я думаю, сэр, — сказал он мне, — что этот путь будет для нас короче. Прощайте, милая хозяйюшка, я не забуду о припарках из коричной настойки.

Через огород с грядками капусты мы вышли на тропинку среди полей. Алан зорко огляделся по сторонам и, заметив, что мы находимся в неглубокой ложине, где нас из деревни не видно, сел на землю.

— Теперь давай держать военный совет, Дэви, — сказал он. — Но прежде всего хочу дать тебе небольшой урок. Если бы я вел себя, как ты, что бы запомнила о нас хозяйка? Только то, что мы вышли через огород. А что запомнит теперь? Что проходил красивый, веселый, любезный и разговорчивый молодой человек, он мучился животом, бедняжка, и очень расстроился, когда она рассказала про своего деверя. Вот, Дэвид, голубчик; учись, как нужно соображать!

— Постараюсь, Алан, — сказал я.

— Ну, теперь о рыжем, — сказал Алан. — Он шел быстро или медленно?

— Ни так, ни эдак, — ответил я.

— Ты не заметил, он не торопился?

— Нет, что-то незаметно было, — сказал я.

— Гм!.. Это странно. Утром в Дроках мы их не видали; он прошел мимо нас, он как будто нас и не ищет, и все-таки он тут, на нашем пути!.. Черт возьми, Дэви, я, кажется, догадываюсь. По-моему, они ищут не тебя, а меня; и, по-моему, они отлично знают, куда им идти.

— Знают? — переспросил я.

— Думаю, что меня выдал Энди Скаугел — либо он, либо его приятель, который тоже кое-что знает; или этот молодчик, клерк Чарли Стюарта, что было бы совсем прискорбно, — сказал Алан, — и, попомни мое слово, на Джилланской отмели наверняка будет разбито несколько голов.

— Алан! — воскликнул я. — Если ты прав, то людей там будет много, силы неравные. Несколько разбитых голов только ухудшат дело.

— Все-таки хоть какое-то удовлетворение, — сказал Алан. — Но постой-ка, постой... я вспомнил — спасибо славному западному ветру, кажется, я еще смогу уплыть. И вот каким образом, Дэви. Я условился с этим Скаугелом, что мы встретимся, когда стемнеет. «Но, — сказал он, — если ветер подует с запада, я приду гораздо раньше, лягу в дрейф и буду ждать вас за островом Фидра». Так вот, если твои джентльмены знают место встречи, то, конечно, знают и час. Понимаешь меня, Дэви? Благодаря Джонни Коупу и остолопам в красных мундирах я знаю эти места, как свои пять пальцев; если хочешь еще раз бежать с Аланом Бреком, то мы повернем от берега и снова выйдем к морю возле Дирлтона. Если корабль там, мы попробуем попасть на него. Если его не будет, придется мне возвращаться в постылый стог. Во всяком случае, думаю, что мы оставим твоих джентльменов в дураках.

— Мне кажется, надежда есть, — сказал я. — Будь по-твоему, Алан!

ГЛАВА XIII

ДЖИЛЛАНСКАЯ ОТМЕЛЬ

Несмотря на старания Алана, мне не удалось изучить эти места так, как он изучил их во время похода с генералом Коупом; я почти не замечал, какой дорогой мы шли. В оправдание свое могу сказать, что мы чрезвычайно спешили. Часть пути мы бежали бегом, часть трусили рысцой, остальное время шли очень быстрым шагом. Мчась изо всех сил, мы дважды наталкивались на крестьян; но хотя на первого мы налетели изза угла, Алан оказался наготове, как взведенный курок.

— Вы не видели мою лошадь? — запыхавшись, выпалил он.

— Нет, милый человек, не видел я никакой лошади, — ответил крестьянин.

Алан, не пожалев времени, осведомил его, что мы по очереди ехали верхом на коне, что конь куда-то ускакал и мы боимся, не вернулся ли он домой, в Линтон. Но этого ему показалось мало: еле переводя дух, он стал проклинать свою неудачливость и мою глупость, из-за которой все и случилось.

— Если нельзя говорить правду, — заметил он, когда мы двинулись дальше, — надо уметь лихо и правдоподобно солгать. Когда люди не знают, что ты тут делаешь, Дэви, их разбирает ярое любопытство; а когда ени думают, что знают, им до тебя столько же дела, сколько мне до прошлогоднего снега.

Так как мы сначала уходили от моря, то путь вел нас прямо на север; вежами нам служили слева старая церковь в Эберледи, а справа — вершина горы Бервик Ло; таким образом, мы снова вышли к морю неподалеку от Дирлтона. К западу от Северного берега до Джилланского мыса тянутся цепочкой четыре островка: Крэйглит, Лэм, Фидра и Айбро; все они сильно разнятся друг от друга и величиной и формой. Самый своеобразный из них Фидра; это странный серый островок с двумя горбами, приметный еще и тем, что на нем виднеются какие-то развалины; помню, когда мы подошли ближе, через дверь или окно в этих развалинах море блеснуло, как человеческий глаз. Между островом и берегом есть удобное, защищенное от западных ветров место для стоянки кораблей, и мы еще издали увидели стоящий там «Репейник».

Напротив островков тянулся совершенно пустынный берег. Здесь нет человеческого жилья и редко встретишь людей, разве только пробегут резвящиеся ребяташки. Маленькая деревушка Джиллан расположена на дальнем конце мыса; жители Дирлтона работают вдали от моря, на полях, а рыбаки Северного Бервика выходят на ловлю из своей гавани; словом, на всем побережье вряд ли найдется столь безлюдное место, как это. Но, помнится, когда мы, озираясь по сторонам и слыша громкий стук своих сердец, ползли на животе среди бесчисленных бугров и впадин, то здесь так ослепительно сияло солнце и сверкало море, так шелестели под ветром травы, так быстро юркали в норы кролики и взлетали чайки, что мне казалось, будто в этой пустыне царит кипучее оживление. Бесспорно, место для тайного отплытия было бы выбрано превосходно, если бы только оно оставалось тайным; даже сейчас, когда тайна была выдана и за берегом следили, нам все же удалось незаметно подползти к

дюнам, спускавшимся прямо к морю.

Но тут Алан остановился.

— Дэви, — сказал он, — здесь нам не пройти. Пока мы лежим, мы в безопасности, да только ни корабль, ни берег Франции от этого не станут ближе. А если мы встанем и начнем подавать знаки бригау, то неизвестно, чем это кончится. Где сейчас твои джентльмены, как ты думаешь?

— Может, они еще не пришли, — сказал я. — А если они и здесь, то у нас все-таки есть одно преимущество. Они ждут нас, чтобы схватить, это правда. Но ведь они ждут, что мы придем с востока, а мы явились с запада.

— Да, — ответил Алан. — Вот если бы нас было больше да завязался бы бой, тогда они остались бы с носом. Но нас только двое, Дэвид, и положение наше мало радует Алана Брека. Не знаю, что делать.

— Время идет, Алан, — напомнил я.

— Я это знаю, — ответил Алан, — и больше ничего не знаю, как говорят французы. Просто хоть гадай — орел или решка. Если бы только знать, где они, твои джентльмены!

— Алан, — сказал я, — это на тебя непохоже. Надо решать сейчас или никогда.

«Не мне, не мне, сказал он»... — пропел Алан и сделал забавную гримасу, в которой сочетались и смущение и озорство.

Не мне и не тебе, сказал, не мне и не тебе!

Клянусь я, Джонни славный мой, не мне и не тебе!

Внезапно он встал во весь рост и, подняв правую руку с развевающимся платком, стал спускаться к берегу. Я тоже встал и пошел сзади, внимательно разглядывая песчаные холмы на востоке. Сначала его появление осталось незамеченным: Скаугел не ждал его так рано, а «мои джентльмены» высматривали нас с другой стороны. Затем на палубе «Репейника» началось движение; очевидно, там было все наготове, ибо не прошло и секунды, как с кормы спустили шлюпку, которая быстро поплыла к берегу. Почти тотчас же в стороне Джилланского мыса, примерно в полумиле от нас, на песчаном холме, поднялся человек и взмахнул руками, и, хотя он сразу же исчез, в той стороне еще с минуту беспокойно металась чайки.

Алан, глядевший на корабль и на шлюпку, ничего не заметил.

— Будь что будет! — воскликнул он, когда я сказал ему об этом. — Быстрее бы они гребли на этой шлюпке, не то придется топор по моей шее!

Здесь вдоль берега тянулась длинная плоская отмель, во время отлива очень удобная для ходьбы; по ней в море стекал маленький ручеек, а песчаные холмы высились над нею, как крепостной вал. Мы не могли видеть, что происходит по ту сторону холмов, и нетерпение наше не могло ускорить приближение шлюпки: время словно остановилось, и ожидание казалось мучительно долгим.

— Хотел бы я знать, какой приказ получили эти джентльмены. Мы с тобой вместе стоим четыреста фунтов; что, если они начнут стрелять в нас из ружей, Дэви? С этого длинного песчаного вала очень удобно стрелять.

— Этого не может быть, — сказал я. — Прежде всего у них нет ружей. Все

делается секретно; возможно, у них есть пистолеты, но никоим образом не ружья.

— Надеюсь, что ты прав, — произнес Алан. — И все равно — скорей бы подошла эта лодка!

Он щелкнул пальцами и свистнул, подзывая лодку, как собаку.

До берега ей оставалось приблизительно треть пути, мы уже подошли к самой воде, и мне в башмаки набился сырой песок. Теперь нужно было набраться терпения, всматриваться в медленно приближающуюся лодку и поменьше оглядываться на длинную непроницаемую гряду песчаных холмов, над которыми мелькали чайки и за которыми, несомненно, расположились наши враги.

— В таком славном, солнечном, прохладном месте обидно получить пулю в лоб, — вдруг сказал Алан, — и я завидую твоему мужеству, дружище.

— Алан! — воскликнул я. — Подумай, что ты говоришь! Да ты храбрейший человек на свете, ты само мужество, я берусь это доказать кому угодно!

— И ты бы очень ошибся, — сказал он. — Я опытнее и дальновиднее тебя, только и всего. А если говорить о спокойном, твердом, стойком мужестве, то я тебе и в подметки не гожусь. Вот я стою и думаю только о том, как бы удрать; а ты, насколько я понимаю, подумываешь, не остаться ли здесь. Ты полагаешь, я был бы способен так поступить, если б и захотел? Никогда! Во-первых, я бы не решился, у меня не хватило бы мужества; во-вторых, я человек настолько прозорливый, что уже видел бы себя под судом.

— Вот к чему ты клонишь! — сказал я. — Алан, дорогой, ты можешь морочить старых баб, но меня тебе не удастся провести!

Память об искушении, которое я испытал в лесу, сделала меня твердым, как железо.

— Я назначил встречу, — продолжал я, — мы с твоим родичем Чарли условились встретиться, я дал ему слово.

— Черта с два ты с ним встретишься, — сказал Алан. — Ты прямиком отправишься на свидание с джентльменами из-за холмов. И чего ради, скажи на милость? — мрачным и грозным тоном продолжал он. — Хочешь, чтобы тебя похитили, как леди Грэндж? Чтобы тебя проткнули насквозь и зарыли в песчаном холме? А может быть, хочешь другого: чтобы тебя засудили вместе с Джемсом? Да можно ли им доверять? Неужели ты сунешь голову в пасть Саймону Фрэзеру и прочим вигам? — добавил он с горечью.

— Алан! — воскликнул я. — Я с тобой согласен, все они негодяи и лгуны. Тем более необходимо, чтобы хоть один порядочный человек остался в этом царстве воров! Я дал слово и сдержу его. Еще давно я сказал твоей родственнице, что меня не остановит опасность. Ты помнишь? Это было в ту ночь, когда убили Рыжего Колина. И меня действительно ничто не остановит. Я останусь здесь. Престонгрэндж обещал сохранить мне жизнь. Если он предатель, значит, я умру.

— Ладно, ладно, — сказал Алан.

Все это время наших преследователей не было ни видно, ни слышно.

Позже я узнал, что наше появление застигло их врасплох: главный отряд еще не успел подойти; те же, кого послали в засаду раньше, рассыпались по холмам близ Джиллана. Собрать их было нелегко, а лодка тем временем приближалась к берегу. Кроме того, это были трусы, шайка горских воров, угоняющих скот; все они принадлежали к разным кланам и не имели во главе командира-джентльмена. И чем больше они глазели с холмов на нас с Аланом, тем меньше, я полагаю, воодушевлял их наш вид.

Не знаю, кто предал Алана, но только не капитан: он сидел в шлюпке у руля и беспрестанно подгонял гребцов, и было видно, что он искренне стремится выполнить свое дело. Лодка быстро неслась к берегу, уже близка была свобода, и лицо Алана запылало от радостного волнения, как вдруг наши друзья из-за холмов то ли от отчаяния, что добыча ускользает из их рук, то ли надеясь испугать Энди, пронзительно завопили хором.

Этот внезапный крик среди, казалось бы, пустынных песков был и вправду страшен, и гребцы на лодке перестали грести.

— Что это? — воскликнул капитан; теперь лодка была уже так близко, что мы могли переговариваться.

— Мои друзья, — ответил Алан и, войдя в воду, устремился навстречу лодке. — Дэви, — произнес он, останавливаясь. — Дэви, что же ты не идешь? Я не могу бросить тебя тут.

— Я не пойду, — сказал я.

Заколебавшись, он какое-то мгновение стоял по колена в морской воде.

— Ну, чему быть, того не миновать, — сказал он и двинулся дальше; когда он был уже почти по грудь в воде, его втащили в шлюпку, которая тотчас же повернула к кораблю.

Я стоял все на том же месте, заложив руки за спину; Алан, обернувшись к берегу, не отрывал от меня глаз, а лодка плавно уходила все дальше и дальше. Вдруг я понял, что вот-вот расплачусь: мне казалось, что нет во всей Шотландии человека более одинокого и несчастного, чем я. Я повернулся спиной к морю и оглядел дюны. Там было тихо и пусто, солнце золотило мокрые и сухие пески, меж дюнами посвистывал ветер и уныло кричали чайки. Я отошел чуть дальше от моря; водяные блохи проворно скакали по выброшенным на берег водорослям — и больше ни звука, ни движения на этом зловещем берегу. И все же я чувствовал, что кто-то тайком за мной наблюдает. Вряд ли это солдаты, они давно бы уже выбежали и схватили нас; вернее всего, это просто какие-то проходимцы, нанятые, чтобы разделаться со мной, быть может, похитить, а может, тут же и убить меня. Судя по их поведению, первое, пожалуй, было вернее; но, зная повадки и усердие таких наемников, я подумал, что второе тоже весьма вероятно, и похолодел.

Мне пришла в голову отчаянная мысль вынуть из ножен шпагу; хоть я и не умею сражаться с джентльменами по всем правилам, но, быть может, мне случайно удастся ранить противника в рукопашной схватке. Но тут же я понял, как бессмысленно было бы всякое сопротивление. Ведь это, наверное, и есть тот «способ», на котором сошлись Престонгрэндж и Фрэзер. Я был убежден, что прокурор настоял на том, чтобы сохранить мне жизнь; Фрэзер же, по всей

вероятности, намекнул Нийлу и его товарищам, что это вовсе не обязательно; и обнажив клинок, я, пожалуй, сыграю на руку моему злейшему врагу и подпишу себе смертный приговор.

Погруженный в эти мысли, я дошел почти до дюн. Я оглянулся на море; шлюпка приближалась к бригу, и Алан, прощаясь со мной, размахивал платком, а я в ответ помахал ему рукой. Но вскоре и Алан, отделенный от меня морским пространством, превратился в еле различимую точку. Я надвинул шляпу поглубже, стиснул зубы и пошел прямо к песчаному холму. Взбираться на крутой склон было нелегко, песок уходил из-под ног, как вода. Наконец я ухватился за пучок длинной и жесткой травы, росшей на вершине, и, подтянувшись, очутился на твердой площадке. И в то же мгновение справа и слева зашевелились и подняли головы шесть или семь разбойничьего вида оборванцев с кинжалами в руках. Должен сознаться, я зажмурился и прошептал молитву. Когда я открыл глаза, негодяи молча и неторопливо подползли чуть ближе. Они смотрели на меня не отрываясь, и я со странным ощущением увидел, как горят их глаза и с какой опаской они продвигаются ко мне. Я протянул руки, показывая, что безоружен; тогда один из них с сильным горским акцентом спросил, сдаюсь ли я.

— Против своей воли, — сказал я, — если ты понимаешь, что это значит, в чем я сильно сомневаюсь.

При этих словах они накинулись на меня, как стая воронов на падаль, отняли шпагу и все деньги, что были у меня в карманах, связали мне руки и ноги крепкой веревкой и бросили на траву. Затем они уселись полукругом и в настороженном молчании глядели на своего пленника, словно на опасного зверя, льва или тигра, готового прыгнуть на них в любую секунду. Немного погодя опасения их, очевидно, рассеялись. Они сбились в кучу, заговорили по-гэльски и на моих глазах весьма нагло занялись дележкой моего имущества. К счастью, я мог отвлечься от этого зрелища: с места, где я лежал, было удобно наблюдать за бегством Алана. Я видел, как лодка подошла к бригу, как ее подняли на борт, затем надулись паруса и корабль, пройдя за островами и миновав Северный Бервик, ушел в открытое море.

В течение двух часов прибывали другие горцы в лохмотьях, пока не собралась шайка человек в двадцать; одним из первых пришел рыжий Нийл. С появлением каждого нового оборванца возобновлялся оживленный разговор, в котором слышались и жалобы и оправдания; но я заметил, что никому из тех, кто пришел позже, из добычи не досталось ничего. В конце концов между ними разгорелся такой жаркий и злобный спор, что мне казалось, они вот-вот передерутся; после этого шайка тотчас же разделилась: большинство гурьбой направилось на запад, и только трое, Нийл и двое других, остались стеречь своего пленника.

— Я могу назвать человека, который будет очень недоволен твоими сегодняшними делами, Нийл, Дунканов сын, — сказал я, когда остальные ушли.

В ответ он стал уверять, что со мной будут обращаться по-хорошему, не то ему придется «держат ответ перед леди».

На этом наша беседа окончилась, и на берегу больше не появлялась ни одна живая душа. Когда же солнце опустилось за Шотландские горы и стали сгущаться сумерки, я увидел тощего, костлявого верзилу с темным от загара лицом, который подъехал к нам по дюнам на деревенской кляче.

— Эй, братцы, — крикнул он, — есть у вас такая штука? — И он помахал бумагой, которую держал в руке. Нийл протянул ему другую бумагу; тот, нацепив очки в роговой оправе, прочел ее и, сказав, что все правильно и мы те самые, кого он ищет, тотчас же спешился. Меня посадили на его место, связали мне ноги под брюхом лошади, и во главе с приморским жителем мы отправились в путь. Он, должно быть, хорошо выбрал дорогу: за все время мы не встретили ни души, кроме двух влюбленных, которые при нашем приближении пустились наутек, очевидно, приняв нас за контрабандистов. Путь наш проходил у самого подножия Бервик Ло с южной его стороны; с другой стороны, когда мы шли через холмы, я увидел неподалеку огоньки деревушки и старинную церковную колокольню среди деревьев, но вряд ли мой голос донесся бы туда, если бы даже мне вздумалось позвать на помощь. Наконец мы опять услышали шум моря. Светила луна, хотя и неяркая, и при ее свете я разглядел три огромные башни и разбитые зубцы на стенах Тантеллона, старинной крепости Красных Дугласов. Лошадь привязали к колу у рва и оставили пастись, а меня ввели во двор и оттуда в полуразрушенный замковый зал. Ночь была холодная, и мои провожатые тут же, на каменном полу, развели яркий костер. Мне развязали руки, усадили возле внутренней стены, наш приморский житель вытащил привезенную им еду, и мне дали кусок хлеба из овсяной муки и кружку французского коньяку. Затем я снова остался в обществе своих трех горцев. Усевшись поближе к огню, они пили и переговаривались; ветер задувал в проломы стен, разбрасывал во все стороны искры и дым и завывал на верхушках башен. Я слушал, как внизу, под скалами, гудело море; я был теперь спокоен за свою жизнь и, устав телом и духом от всего пережитого за этот день, повернулся на бок и задремал.

Не знаю, который был час, когда меня разбудили, но луна уже зашла и костер почти догорал. Мне развязали ноги, провели меня через развалины и заставили спуститься по крутой тропинке на краю скалы вниз, где в бухточке меж камней нас ждала рыбацья лодка. Мы сели в нее и при свете звезд отплыли от берега.

ГЛАВА XIV СКАЛА БАСС

Я не мог догадаться, куда меня везут, и только глядел во все стороны, не ждет ли нас где-нибудь корабль, а из головы у меня не выходило выражение Рэнсома — «двадцатифунтовые». Если мне опять угрожает опасность попасть на плантации, размышлял я, то дело обстоит как нельзя хуже: сейчас мне нечего надеяться ни на второго Алана, ни на второе — кораблекрушение и запасную рею. Я уже представил себе, как меня хлещут бичом, заставляя мотыжить табачное поле, и невольно поежился. На воде было холодно,

перекладины в лодке покрылись ледяной росой, и, сидя рядом с рулевым, я чувствовал, что меня пробирает дрожь. Рулевым был тот самый смуглый человек, которого я называл про себя приморским жителем; звали его Черным Энди, хотя настоящее имя его было Дэйл. Заметив, что я дрожу, он дружелюбно протянул мне грубую куртку, покрытую рыбьей чешуей, и я с радостью набросил ее на себя.

— Спасибо за вашу доброту, — сказал я. — Взамен позволю себе предостеречь вас. Вы можете сильно поплатиться за это дело. Вы не похожи на этих невежественных, диких горцев, и вам, наверное, известно, что такое закон и что грозит тем, кто его нарушает.

— По правде сказать, я никогда не был рьяным приверженцем закона, — сказал он, — а тут мне дали хорошую поручу.

— Что вы собираетесь со мной делать? — спросил я.

— Ничего дурного, — ответил он, — ровно ничего. У вас, видно, есть заступники. Ничего с вами не случится, скоро будем на месте.

Море начинало понемногу сереть, на востоке слабо засветились розовые и красные облачка, похожие на медленно тлеющие угли, и сейчас же на вершине скалы Басе проснулись и заголосили морские птицы. Скала Басе, как известно, одиноко стоящий камень, но такой огромный, что его гранита хватило бы на целый город. Море было необычайно тихим, но плеск воды у подножия скалы с гулким шумом отдавался в расселинах.

Занималась заря, и я уже мог рассмотреть отвесные утесы, покрытые птичьим пометом, словно инеем, покатую вершину, поросшую зеленой травой, стаи белых бакланов, кричавших со всех сторон, и черные развалины тюрьмы над самым морем.

И вдруг меня осенила догадка.

— Вы везете меня сюда! — вскричал я.

— Да, прямо на Басе, приятель, — сказал он. — В давние времена тут томились святые, но вы-то вряд ли попали сюда без вины.

— Но ведь здесь теперь никого нет! — снова воскликнул я. — Темница давно разрушена.

— Что ж, зато бакланам будет с вами веселее, — сухо сказал Энди.

При свете наступающего дня я увидел, что посреди лодки, вместе с камнями, которые служат для рыбаков балластом, лежит несколько бочонков, корзин и вязанки дров. Все это было выгружено на скалу; Энди, я и три моих горца — я называю их своими, хотя скорее они владели мною, — также сошли на берег. Еще не взошло солнце, когда лодка двинулась в обратный путь; заскрипели весла в уключинах, перекликаясь с эхом среди скал, и мы остались одни в этом странном месте заточения.

Энди Дэйл, которому я дал шутовское прозвище мэра скалы Басе, был одновременно и пастухом и смотрителем дичи в этом небольшом и богатом поместье. Он присматривал за десятком овец, которые на травянистом склоне утеса, где они паслись и жирели, напоминали мне изображения животных на крыше собора. На его попечении были еще и бакланы, которые гнездились в скалах и представляли собою довольно необычный источник дохода. Птенцы

бакланов считались весьма изысканным блюдом, и любители полакомиться охотно платили по два шиллинга за штуку. Сало и перья взрослых птиц тоже ценились высоко; еще и до сих пор в Северном Бервике священнику выплачивают часть жалованья бакланами, что и заставляет некоторых пасторов домогаться этого прихода. Энди проводил на скалах целые дни, зачастую и ночи, выполняя свои разнообразные обязанности и сторожа птиц от браконьеров; здесь он чувствовал себя, как фермер в своей усадьбе. Велев нам взвалить на спину груз, что я и не замедлил сделать, он отомкнул калитку, единственный вход на остров, и через развалины крепости провел к сторожке. Судя по золе в очаге и по кровати, стоявшей в углу, здесь было его постоянное жилище.

Кровать он предложил мне — раз уж я корчу из себя благородного джентльмена, проворчал он.

— Я останусь им, на чем бы я ни спал, — ответил я. — По божьей воле, до сих пор постели мои были жесткими, и я охотно буду спать на полу. Пока я здесь, мистер Энди, — так вас, кажется, зовут? — я буду жить во всем наравне с остальными; но прошу избавить меня от ваших насмешек, которые мне не слишком нравятся.

Он немного побрюзжал, но по некотором размышлении, кажется, одобрил мои слова. Человек он, как оказалось, был толковый и себе на уме, хороший виг и пресвитерианин; он ежедневно читал карманную Библию, умел и любил вести серьезные беседы о религии, обнаруживая склонность к суровым догмам Камерона. Нравственность его оставалась для меня под сомнением. Я убедился, что он усиленно занимался контрабандой и превратил развалины Тантеллона в склад контрабандных товаров. Что до таможенных стражников, то, думается мне, жизнь любого из них он не ставил ни в грош. Впрочем, эта часть Лотианского берега и доныне самая дикая местность в Шотландии, и обитает здесь самый отчаянный народ.

За время моего житья на скале произошел случай, о котором мне пришлось вспомнить много времени спустя. В Форте тогда стоял военный корабль под названием «Морской конь», капитаном его был некий Пэллисер. Случилось так, что в сентябре корабль крейсировал между Файфом и Лотианом, промеряя лотом дно, чтобы обнаружить опасные рифы. Однажды ранним погожим утром корабль появился в двух милях к востоку от нас, спустил шлюпку и, как нам казалось, стал исследовать Уайлдфайрские скалы и Чертов куст

— места, известные своей опасностью для судов. Но вскоре, подняв лодку на борт, корабль пошел по ветру и направился прямо к Бассу. Энди и горцы встревожились: мое похищение было делом секретным, и если на скалу явится флотский капитан, то, по всей вероятности, не миновать огласки, а быть может, чего-нибудь и похуже. Здесь я был одинок, я не мог, как Алан, напасть на нескольких человек сразу и был отнюдь не уверен, что военный корабль возьмет мою сторону. Приняв это в соображение, я дал Энди слово, что буду вести себя смирно и не выйду из повиновения; меня быстро увели на вершину скалы, где все мы залегли и притаились на самом краю, поодаль друг от друга, наблюдая за кораблем. «Морской конь» шел прямо на нас, мне даже казалось,

что он неизбежно врежется в нашу скалу; с головокружительной высоты мы видели всю команду и слышали протяжные выкрики лотового у лота. Вдруг корабль сделал поворот фордевинд и дал залп, не знаю уж, из скольких пушек. От грохота содрогнулась скала, над нашими головами поплыл дым, несметные стаи бакланов взметнулись вверх. Глядеть, как мелькают крылья, и слышать птичий крик было на редкость любопытно, и я подозреваю, что капитан Пэллисер подошел к скале только ради этой ребяческой забавы. Со временем ему пришлось дорого поплатиться за это. Пока «Морской конь» приближался к скале, я успел рассмотреть его так, что много позже мог узнать по оснастке за несколько миль; благодаря этому мне, по воле небес, удалось отвратить от друга большую беду и доставить серьезное огорчение капитану Пэллисеру.

На скале нам жилось недурно. У нас был эль, коньяк и овсяная мука, из которой мы по утрам и вечерам варили кашу. Иногда из Каслтона нам привозили на лодке четверть бараньей туши; трогать здешних овец запрещалось, их откармливали для продажи. К сожалению, время для охоты на бакланов уже миновало, и пришлось оставить их — в покое. Мы ловили рыбу сами, но чаще заставляли бакланов добывать ее для нас: мы подстерегали птицу с рыбой в клюве и спугивали ее, прежде чем она успевала проглотить свою добычу.

Своеобразие этого места и разные диковины, которыми изобилвала скала Басе, занимали меня и заполняли все мое время. Убежать отсюда было невозможно, поэтому я пользовался полной свободой и исследовал всю скалу, лазая повсюду, где только можно было ступить ногой. Я не оставил без внимания запущенный тюремный сад, где росли одичавшие цветы и огородные растения, а на старой вишне попадались спелые ягоды. Чуть пониже сада стояла не то часовня, не то келья пустытника; неизвестно, кто ее построил и кто в ней жил, и древний ее вид вызывал раздумья. Даже тюрьма, где я ютился вместе с горцами-скотокрадами, была памятником исторических событий, мирских и духовных. Я дивился, что множество святых и мучеников, томившихся в этих стенах, не оставили после себя даже листка из Библии или выскобленного на камне имени, а грубые солдаты, стоявшие в карауле на сторожевых башнях, усеяли скалу памятками, главным образом сломанными трубками — я поражался их количеству — и металлическими пуговицами от мундиров. Временами мне чудилось, что я слышу пение псалмов из подземелий, где сидели мученики, и вижу солдат, попыхивающих трубками на крепостной стене, за которой из Северного моря встает рассвет.

Разумеется, причиной моих фантазий был Энди со своими рассказами. Он знал историю скалы Басе до мельчайших подробностей, вплоть до имен рядовых солдат, среди которых в свое время был и его отец. Кроме того, он обладал природным даром рассказчика; когда я слушал его, мне казалось, что я вижу и слышу живых людей и участвую в их делах и поступках.

Этот его талант и моя готовность слушать его часами сблизили нас. Не стану отрицать, что он пришелся мне по душе, и вскоре я понял, что тоже нравлюсь ему; сказать по правде, я с самого начала старался завоевать его расположение. Странный случай, о котором я расскажу позже, заставил меня

убедиться, что он расположен ко мне больше, чем я думал, но даже и в первое время мы жили дружнее, чем полагалось бы пленнику и тюремщику.

Я покривил бы душой, если бы стал утверждать, что мое пребывание на скале Басе было беспросветно тягостным. Здесь мне было покойно; я как бы укрылся на этой скале от всех своих тревог. Со мной обращались нестрого, скалы и море лишали меня возможности предпринимать попытки к бегству, ничто не угрожало ни моей жизни, ни чести, и временами я позволял себе наслаждаться этим, как запретным плодом. Но бывали дни, когда меня одолевали другие мысли. Я вспоминал решительные слова, которые говорил Ранкилеру и Стюарту; я думал о том, что мое заключение на скале Басе, не так уж далеко от фэйфского и лотианского берегов, может показаться выдумкой, и в глазах по меньшей мере двух джентльменов я окажусь хвастунишкой и трусом. Правда, это меня мало беспокоило; я говорил себе, что покуда Катриона Драммонд думает обо мне хорошо, мнения других людей для меня ничто; и я предавался размышлениям, которые так приятны для влюбленного и, должно быть, кажутся читателю удивительно скучными. Но тотчас же меня начинали терзать иные опасения: мое самолюбие возмущалось тем, что меня, быть может, станут сурово осуждать, и это казалось мне такой несправедливостью, которую невозможно перенести. Тут мои мысли перескакивали на другое, и стоило подумать о том, какого мнения будут обо мне люди, как меня начинали преследовать воспоминания о Джемсе Стюарте в его темнице и о рыданиях его жены. И тогда меня обуревало неистовое волнение, я не мог простить тебе, что сижу здесь сложа руки; будь я настоящим мужчиной, я бы улетел или уплыл из своего спокойного убежища. В таком состоянии, стремясь заглушить угрызения совести, я еще больше старался расположить к себе Энди Дэйла.

Наконец однажды солнечным утром, когда мы оказались одни на вершине скалы, я намекнул, что могу заплатить за помощь. Он поглядел на меня и, закинув голову, громко расхохотался.

— Да, вам смешно, мистер Дэйл, — сказал, я, — но, быть может, если вы взглянете на эту бумагу, то отнесетесь к моим словам иначе.

Глупые горцы отобрали у меня на дюнах только звонкую монету, бумага же, которую я показал Энди, была распиской от Льюнпрядильного общества, дающей мне право получить значительную сумму.

— Верно, вы человек не бедный, — сказал он.

— Мне кажется, это вас должно настроить по-другому, — заметил я.

— Ха! — произнес он. — Я вижу, вы можете подкупить, да только я неподкупный.

— Мы поговорим об этом после, — сказал я. — Сначала я докажу, что знаю, где тут собака зарыта. Вам велено держать меня здесь до четверга, двадцать первого сентября.

— Вы почти что не ошиблись, — ответил Энди. — Я должен отпустить всех вас, ежели не будет другого приказа, в субботу, двадцать третьего.

Я сразу понял, сколько коварства таилось в этом замысле. Я появлюсь именно в тот день, когда будет слишком поздно, и поэтому, если я захочу

оправдаться, мой рассказ покажется совсем неправдоподобным. Меня охватил такой гнев, что я решил идти напролом.

— Вот что, Энди, вы человек бывалый, так выслушайте же и поразмыслите над тем, что я скажу, — начал я. — Мне известно, что тут замешаны важные лица, и я не сомневаюсь, что вы знаете их имена. С тех пор, как началось это дело, я виделся кое с кем из них и сказал им в лицо то, что думаю. Какое же преступление я совершил? И что они со мной делают? Тридцатого августа меня хватают какие-то оборванцы с гор, привозят на кучу старых камней, которая уже не крепость, не тюрьма, а просто жилище сторожа скалы Басе, и отпускают на свободу двадцать третьего сентября так же втихомолку, как и арестовали, — где тут, по-вашему, закон? И где тут правосудие? Не пахнет ли это какой-то подлой и грязной интригой, которой стыдятся даже те, кто ее затеял?

— Не стану спорить, Шос. Тут, мне сдается, и вправду что-то не чисто,

— сказал Энди. — И не будь те люди хорошими вигами и истинными просвитерианами, я бы послал их к черту на рога и не стал бы ввязываться в такие дела.

— Лорд Ловэт — прекрасный виг, — усмехнулся я, — и отменный просвитерианин!

— Не знаю такого, — сказал Энди, — я с Ловэтами не якшаюсь.

— Да, верно, ведь вы связались с Престонгрэнджем, — сказал я.

— Ну нет, этого я вам не скажу, — заявил Энди.

— И не надо, я и сам знаю, — возразил я.

— Одно только зарубите себе на носу, Шос, — сказал Энди. — С вами я связываться не стану, так что не старайтесь попусту.

— Что ж, Энди, вижу, придется поговорить с вами начистоту, — ответил я и рассказал ему все, что счел нужным.

Энди слушал меня серьезно и с интересом, а когда я кончил, он призадумался.

— Шос, — сказал он наконец, — буду говорить без обиняков. Диковина все это, и не очень мне верится, что так оно и есть, как вы говорите, может, совсем и не так, хоть вы сами, сдается мне, честный малый. Но я все же постарше вас и порассудительней, я могу видеть то, что вам и невдомек. Скажу вам честно и прямо. Ничего дурного не будет, если я вас здесь продержу, сколько надо; пожалуй, будет куда лучше. И для страны тут ничего дурного нет; ну, повесят вашего горца — и слава богу, одним меньше будет. А вот мне-то не поздоровится, если я вас отпущу. Говорю вам как хороший виг и как честный ваш друг, а еще больше друг самому себе: оставайтесь-ка здесь с Энди и бакланами, и все тут.

— Энди, — промолвил я, положив руку ему на колено, — этот горец ни в чем не повинен.

— Экая жалость, — сказал он. — Но что ж поделаешь, так уж бог сотворил наш мир, что не все выходит, как нам хочется.

ГЛАВА XV

ИСТОРИЯ ЛИСА ЛЭПРАЙКА, РАССКАЗАННАЯ ЧЕРНЫМ ЭНДИ

До сих пор я почти ничего не сказал о моих горцах. Все трое были сторонниками Джемса Мора, поэтому его причастность к моему заключению была несомненна. Все они знали по-английски не больше двух-трех слов, но один только Нийл воображал, будто может свободно изъясняться на этом языке; однако стоило ему пуститься в разговоры, как его собеседники быстро убеждались в обратном. Горцы были люди смирные и недалекие; они вели себя гораздо учтивее, чем можно было ожидать, судя по их неприглядной внешности, и сразу же выказали готовность прислуживать мне и Энди.

Мне казалось, что в этом пустынном месте, в развалинах древней тюрьмы, среди постоянного и непривычного для них шума моря и крика морских птиц на них нападал суеверный страх. Когда нечего было делать, они либо заваливались спать — а спать они могли сколько угодно, — либо слушали Нийла, который развлекал их страшными историями. Если же эти удовольствия были недоступны — например, двое спали, а третий почему-либо не мог последовать их примеру, — то он сидел и прислушивался, и я замечал, что он все тревожнее озирается вокруг, вздрагивает, лицо его бледнеет, пальцы сжимаются, и весь он точно натянутая тетива. Мне так и не довелось узнать причину этого страха, но он был заразителен, да и наша временная обитель была такова, что располагала к боязливости. Я не могу найти подходящего слова по-английски, но Энди постоянно повторял по-шотландски одно и то же выражение.

— Да, — говорил он, — наша скала наводит жуть.

Я думал то же самое. Здесь было жутко ночью, жутко и днем; нас окружали жуткие звуки — стенания бакланов, плеск моря и эхо в скалах. Так бывало в тихую погоду. Когда бушевало море и волны разбивались о скалу с грохотом, похожим на гром или бой несчетных барабанов, было страшно, но вместе с тем весело; когда же наступало затишье, человек, прислушиваясь, мог обезуметь от ужаса. И не только горец, я и сам испытал это не раз, такое множество глухих, непонятных звуков возникало и отдавалось в расселинах скал.

Это напомнило мне одну услышанную на Бассе историю и случай, который произошел не без моего участия, круто изменил наш образ жизни и сыграл большую роль в моем освобождении. Однажды вечером, сидя у огня, я задумался и стал насвистывать пришедшую мне на память песню Алана. Вдруг на плечо мне легла рука, и голос Нийла велел мне перестать, потому что это «не бошеская песня».

— Как не бошеская? — удивился я. — Почему?

— Не бошеская, — повторил он. — Она — песня привидения, что хочет назад свою отрубленную голову.

— Ну, тут привидения не водятся, Нийл, — сказал я, — очень им нужно пугать бакланов!

— Да? — произнес Энди. — Вы так думаете? А я вам скажу, что тут водилось кое-что похуже привидений.

— Что же такое хуже привидений, Энди? — спросил я.

— Колдуны, — сказал он. — То бишь колдун. Любопытная приключилась здесь история, — прибавил он. — Если желаете, я расскажу.

Разумеется, тут мы были единомышленны, и даже горец, понимавший по-английски еще меньше других, и тот обратился в слух.

РАССКАЗ О ЛИСЕ ЛЭПРАЙКЕ

Мой отец, Том Дэйл, упокой, господи, его душу, в молодости был бедовый малый и большой озорник, в голове у него гулял ветер, а уж благочестием он сроду не мог похвастаться. Ему бы только бутылочки распивать, и с девушками баловать, да буяннить, а вот чтобы делом каким заняться — к этому у него охоты не было. Ну, туда-сюда, записался он наконец в солдаты, и послали его служить в здешний гарнизон, а у нас в роду еще никто на Басе и ногой не ступал. Незавидная тут была служба, скажу я вам. Начальник здешний сам варил эль, да такой, что хуже и вообразить невозможно. Провизию им с берега привозили, да только так, что ежели они сами рыбы не наловят и бакланов не настреляют, то хоть зубы на полку клади. А тогда как раз гонения за веру начались, на Бассе в холодных каменных мешках держали мучеников и святых, соль земли, которой земля эта недостойна. А Том Дэйл, хоть он здесь ходил под ружьем и был самый что ни на есть простой солдат, любил и бутылочку распить и с девушками баловать, а все же душа у него была не по чину благородная. Он тут нагляделся на узников, славу нашей церкви; иной раз у него кровь вскипала, когда он видел, как мучают святых, и он со стыда сгорал от того, что приходится ему ходить под началом (либо под ружьем) у тех, кто творил эти черные дела. Бывало, стоит он ночью на часах, кругом тишина, мороз пробирает до костей, и вдруг слышит, кто-то из узников запел псалом, другие подхватили, и вот уже из всех камер, вернее сказать, склепов, слышались священные песнопения, и чудилось ему, что он не на скале среди моря, а на небесах. Совестно ему становилось за свою жизнь и мерещилось, что грехов у него целая куча, побольше, чем скала Басе, а главный грех то, что он пособляет мучить и губить приверженцев святой церкви. Ну, правда, это у него скоро проходило. Наступал день, подымались дружки-товарищи, и всех благих помыслов как не бывало.

В то время жил на Бассе божий человек, звали его Педен-пророк. Вы, верно, слышали про Педена-пророка. Таких, как он, больше нет на свете, и бьюсь об заклад, что и не было. Он был дикий, как чертополох, смотреть на него было страшно, а слушать и того страшнее. Лицо у него было, точно божья кара, голос — как у баклана, от него потом в ушах звенело, а слова его жгли, как горячие угли.

А на скале тогда жила одна девушка; уж не знаю, чем она занималась, потому как приличным женщинам тут не место. Но, говорят, она была красива собою, и они с Томом Дэйлом быстро поладили. Вот как-то раз Педен молился один в саду, а Том с девушкой проходили мимо, и она возьми да передразни святого на молитве, да еще и смеяться начала. Педен встал и так поглядел на обоих, что у Тома поджилки затряслись. А заговорил Педен не сердито, а жалостно. «Бедная ты, бедная! — говорит он и смотрит на девушку. — Вон как ты визжишь и хохочешь, но господь уготовил тебе смертный удар, и, когда тебя

нежданно настигнет его кара, ты взвизгнешь только один раз!» Вскорости она пошла с двумя-тремя солдатами прогуляться по скалам, а день был ветреный. И вдруг налетел такой вихрь, что раздул все ее юбки и мигом смахнул в море. Солдаты рассказывали, что она и взвизгнуть-то успела только разок.

Конечно, после такого случая Том малость приуныл, но скоро оправился и ничуть не стал лучше. Как-то поссорился он с другим солдатом. «Дьявол меня возьми!» — крикнул Том, большой любитель ругаться и богохульничать. И откуда ни возьмись перед ним Педен, страшный, лохматый, глаза горят, на плечах пастушья дерюга, и руку вперед вытянул с черными ногтями — он всегда грязный ходил, как угольщик. «Тьфу, тьфу, вот бедный! — крикнул он. — Бедный дурачина! Говорит: „Дьявол меня возьми“. А я вижу, дьявол-то уже стоит у него за спиной!» Тут Том словно прозрел и увидел пучину своей греховности, и на него сошла божья благодать: он бросил пику, что была у него в руках, и сказал: «Никогда больше не подыму оружие против дела Христова!» — и своего слова держался крепко. Поначалу пришлось ему туго, но потом начальник видит, что ничего с ним поделывать нельзя, ну и отпустил его в отставку. Том вернулся в Северный Бервик, женился и нажил себе доброе имя среди честных людей.

В тысяча семьсот шестом году скала Басе перешла в руки Далримплов, и на место смотрителя попросились двое. И тот и другой были подходящими, оба служили солдатами в здешнем гарнизоне, знали, как обращаться с бакланами: и когда можно на них охотиться, и почему продавать. Первый был Том Дэйл, мой отец. Второй человек был Лэпрайк, люди звали его Лис Лэпрайк, но то ли это было его имя, то ли так его прозвали из-за лисьего нрава, я уж не скажу. Вот однажды Тому пришлось пойти к Лэпрайку по делу, и он взял меня с собой, а я тогда был еще совсем малым ребенком. Лис жил в длинном проулке между церковью и кладбищем. Проулок был темный, страшный, да к тому же церковь имела дурную славу еще со времен Якова Шестого, там и при королеве нечистая сила колдовала. А дом Лиса стоял в самом темном углу, и люди разумные старались туда не наведываться. В тот день дверь была не заперта на задвижку, и мы с отцом прямо шагнули через порог. Надо вам сказать, что Лэпрайк занимался ткацким ремеслом, и в первой его каморке стоял станок. Сам он сидел тут же, толстый, белый, точно кусок сала, и улыбался, как блаженный, у меня даже мурашки по коже поползли. В руке он держал челнок, а у самого глаза были закрыты. Мы окликали его, мы кричали ему в самое ухо, мы трясли его за плечо. Ничего не помогало! Он сидел на табурете, держал челнок и улыбался, как блаженный,

— Господи, помилуй нас, — сказал Том Дэйл, — с ним что-то неладно!

Только он это выговорил, как Лис Лэпрайк очнулся.

— Это ты, Том? — сказал он. — Здорово, приятель. Хорошо, что ты пришел. А на меня иногда находит такое беспамятство, это от желудка.

Ну, тут они принялись толковать про скалу Басе, про то, кому достанется место смотрителя, слово за слово перебрались и расстались злые как черти. Хорошо помню, как по дороге домой отец все время твердил, что ему сильно не по душе Лис Лэпрайк и его беспамятство.

— Беспамятство! — говорил он. — Да за такие беспамятства людей на костре сжигают!

Вскорости отец получил место на Бассе, а Лис остался ни при чем. Люди еще долго вспоминали, что он сказал отцу. «Том, — сказал он, — ты еще раз взял надо мной верх, ну так желаю тебе найти на Бассе то, чего ты ждешь». После люди говорили, что он недаром сказал такие слова. Вот наконец пришло время Тому Дэйлу выбирать птенцов из гнезд. Дело было для него привычное: он с самого детства лазал по скалам и никому эту работу не хотел доверять. Он обвязался веревкой и спустился с самого высокого и крутого края утеса. Наверху стояли другие охотники, они держали веревку и следили за его сигналами. А там, где висел Том, были только скалы, да море внизу, да вокруг летали и вопили бакланы. Утро стояло ясное, весеннее, и Том карабкался за птенцами да посвистывал. Сколько раз он мне про это рассказывал, и всегда у него на лбу выступал пот.

Верите ли. Том случайно глянул наверх и увидел большущего баклана, и баклан тот долбил клювом веревку. Он подивился: за бакланами такого сроду не водилось. Он смекнул, что веревка-то мягкая, а клюв у баклана и скала Бассе твердые и что падать в море с двухсотфутовой вышины не так уж приятно.

— Кыш! — крикнул Том. — Пошел вон, окаянный!

Баклан поглядел вниз на Тома, а глаза у него были какие-то странные. Глянул разок — и опять давай долбить клювом. Только теперь он стал долбить и трепать веревку как бешеный. Никогда еще не бывало, чтобы баклан клевал веревку, а этот будто прекрасно знал, чего хочет: он тер мягкую веревку об острый край камня.

У Тома от страха похолодели руки-ноги. Он подумал: «Это не птица». Он оглянулся назад, и у него в глазах потемнело. «Если сейчас найдет на меня беспамятство, прощай. Том Дэйл», — подумал он. И подал знак охотникам, чтобы его тащили наверх.

А баклан будто понял, какой Том подал знак. Он сразу бросил веревку, взмахнул крыльями, громко крикнул, сделал круг над Томом и кинулся, чтоб выклевать ему глаза. Но у Тома был нож, он его мигом выхватил. Баклан, видно, и насчет ножей понимал: как только сталь блеснула на солнце, он опять крикнул, но уже потише и будто с досадой и улетел за скалу, так что Том его больше не видел. Тут голова Тома упала на плечо, и пока его тащили, он болтался вдоль скалы, как мертвое тело.

Дали ему глотнуть бренди — а Том без него на скалу не ходил, — и он очнулся, но был как будто не в себе.

— Беги, Джорди, скорей беги к лодке, смотри за лодкой! — закричал он.

— Не то этот баклан ее угонит!

Охотники переглянулись и попробовали было его утихомирить. Но Том не унимался, и в конце концов кто-то побежал вниз сторожить лодку. Другие спросили, ползет ли он опять вниз.

— Нет, — сказал Том, — и сам не полезу и вас не пущу. И как только меня будут держать ноги, мы дадим тягу с этой чертовой скалы.

Ну, понятно, они мешкать не стали и хорошо сделали: не успели они

добраться до Северного Бервика, как у Тома началась сильная горячка. Он пролежал все лето. И кто же, вы думаете, приходил, как добрый сосед, спрашивать о его здоровье? Лис Лэпрайк! Люди потом говорили, что, когда Лис подходил к дому, горячка начинала трепать Тома еще пуще. Я-то этого не помню, зато хорошо помню, чем все кончилось.

Как-то раз, примерно об эту пору, мой дед собрался ловить сигов, и что бы я был за мальчишка, ежели б не увязался с ним. Помню, улов был большой, мы плыли вслед за рыбой и очутились неподалеку от скалы Басе, а там повстречали лодку Сэнди Флетчера из Каслтона. Он не так давно умер, а то он бы сам рассказал. Сэнди нас окликнул.

— Что это, — спрашивает, — там на Бассе?

— На Бассе? — тоже спрашивает дед.

— Ну да, — говорит Сэнди. — на зеленом откосе.

— Что же там такое? — говорит дед. — На Бассе ничего нет, одни овцы.

— Как будто бы человек, — говорит Сэнди; его лодка была ближе к скале, чем наша.

— Человек! — удивились мы, и нам это что-то не понравилось. Откуда бы ему взяться, лодки у скалы не видать, а ключ от тюремной калитки висел у нас дома, в изголовье складной кровати, где лежал отец.

Мы подвели лодки ближе друг к другу и стали грести к скале. У деда была подзорная труба, он прежде был моряком и плавал капитаном на рыболовном судне, а судно потом затонуло возле Тэйских мелей. Мы посмотрели в трубу — верно, там был человек. Вон там, где на зеленом откосе есть впадина, чуть пониже часовни, он, совсем один, прыгал, приплясывал и выделывал коленца, как полоумная побирушка на свадьбе.

— Это Лис, — говорит дед и дает трубу Сэнди.

— Да, он самый, — говорит Сэнди.

— Либо кто-то обернулся Лисом, — говорит дед.

— Разница невелика, — отвечает Сэнди. — Дьявол то или оборотень, попробую-ка стрелнуть в него из ружья. — И Сэнди вытаскивает охотничье ружье, которое всегда носил при себе: он был лучшим стрелком в нашей местности.

— Постой-ка, Сэнди, — говорит дед, — надо еще раз посмотреть, а то как бы нам с тобой не нажить беду.

— Вот еще, — говорит Сэнди, — это божий суд, и бог его покарает.

— Может, и так, а может, и не так, — говорит мой дед; разумный был человек. — Только не забывай окружного прокурора, ты, кажется, с ним уже познакомился.

Дед попал не в бровь, а в глаз, и Сэнди немножко смешался.

— Ладно, Энди, — говорит он, — а что, по-твоему, делать?

— А вот что, — говорит дед. — У меня лодка побыстрее твоей, и я сейчас вернусь в Северный Бервик, а ты стой тут и не спускай глаз с Того. Если Лэпрайка нету дома, я вернусь, и мы вместе потолкуем с ним. Если же он дома, я подыму на пристани флаг, и тогда можешь пальнуть в То из ружья.

Вот так они и уговорились, а я, постреленок, поскорее перелез в лодку

Сэнди: мне думалось, что отсюда я увижу самое любопытное. Дед дал Сэнди серебряный шестипенсовик, чтобы зарядить ружье вместе со свинцовой дробью: против оборотней это самое верное средство. Потом одна лодка пошла в Северный Бервик, другая осталась на месте, и с нее мы следили за чудищем на зеленом откосе.

Все время, пока мы там стояли, оно скакало, металось, подпрыгивало и кружилось, как юла, порой еще и визжало. Мне случалось видеть, как девушки, словно одержимые, отплясывают всю зимнюю ночь напролет и не могут утомиться, даже когда наступает зимний день. Но тогда кругом полно народу, и девушек подзадоривают молодые парни, а это чудище было одно-одинешенько. Там, возле очага, пиликает смычком скрипач, а тут оно плясало безо всякой музыки, разве что под крики бакланов. Там девушки были молодые, кровь у них играла в каждой жилке, а тут плясал большой, жирный и бледный увалень уже, как говорится, на склоне лет. Вы как хотите, а я скажу, что думаю. Это чудище скакало от радости, может, то была и сатанинская радость, но все равно радость. Я часто думаю, зачем же колдуны и колдуньи продают дьяволу самое дорогое, что у них есть, — свои души, ежели все они либо сморщенные, оборванные старушонки, либо немощные, дряхлые старики? А потом я вспоминаю, как Лис Лэпрайк один-одинехонек плясал немало часов кряду оттого, что темная радость била в его сердце ключом. Спору нет, всем им гореть в адском огне, да зато здесь, прости меня господи, они порой бывают счастливее всех на свете.

Но вот мы наконец увидели, что над пристанью на шесте развернулся флаг. Сэнди только того и ждал. Он вскинул ружье, осторожно прицелился и спустил курок.

Бухнул выстрел, и со скалы донесся жалобный вопль. А мы терли себе глаза и смотрели друг на друга, думая, уж не рехнулись ли мы. Потому что, как только мы услышали выстрел и вопль, чудище точно сквозь землю провалилось. И солнце светило по-прежнему, и ветер дул так же, а на том месте, где секунду назад прыгало и приплясывало чудище, было пусто.

Всю дорогу домой я ревел и дрожал от страха. Взрослым было не намного лучше: в лодке Сэнди все примолкли и только поминали господа бога, а когда мы подошли к пристани, там на скалах было черным-черно, столько собралось народу, и все ждали нас. Оказывается, Лэпрайка нашли опять в беспамятстве с челноком в руке и с блаженной улыбкой. Какого-то мальчишку послали поднять флаг, остальные столпились в доме ткача. Само собой, никому это не было приятно, но некоторые остались по долгу милосердия, молились про себя — вслух-то молиться никто не смел — и смотрели на страшилище, державшее в руке челнок. Вдруг Лис с ужасным воплем вскочил на ноги и весь в крови замертво рухнул на станок.

Мертвеца осмотрели, и оказалось, что дробь от колдуна отскакивала, как от буйвола, еле нашли одну дробинку, но дедов серебряный шестипенсовик попал в самое сердце.

Едва только Энди кончил, как произошел глупейший случай, не оставшийся, впрочем, без последствий. Нийл, как я уже говорил, сам любил

рассказывать страшные истории. Мне потом доводилось слышать, что он знал все легенды горной Шотландии и потому был о себе самого высокого мнения; такого же мнения были о нем и другие. Сейчас, слушая Энди, он вспомнил, что эта история ему знакома.

— Моя знала этот рассказ раньше, — заявил он. — Это было с Уистином Мором Макджилли Фодригом и Гэвером Воуром.

— Вот враки! — возмутился Энди. — Это было с моим отцом, да покоится он с миром, и Лисом Лэпрайком. Что ты врешь, бесстыжие твои глаза! Держика лучше язык за своими горскими клыками!

Нетрудно убедиться, и исторические примеры это подтверждают, что джентльмены низинной Шотландии отлично ладят с горцами, но что касается простого люда, то приятельство с горцами для них попросту невысказано. Все это время я чувствовал, что Энди вотвот рассорится с тремя Макгрегорами, и сейчас, очевидно, ссора была неминуема.

— Вы не смеет так говорить с шентльменами, — сказал Нийл.

— С шентльменами! — вскричал Энди. — Какие вы там шентльмены, вы просто горские скоты! Посмотрели бы на себя со стороны, живо бы с вас спесь соскочила!

Нийл выкрикнул по-гэльски какое-то ругательство, и в его руке блеснул нож.

Раздумывать было некогда; я схватил горца за ногу, повалил на землю и прижал его руку с ножом, не успев толком понять, что я делаю. Товарищи бросились ему на помощь. Мы с Энди, были безоружны, вдвоем против трех Грегоров. Казалось, спасения уже нет, как вдруг Нийл закричал по-гэльски, приказывая остальным не трогать нас, и с самым униженным видом выразил полную готовность подчиниться мне и даже отдал нож, который я, заставив Нийла повторить обещание, вернул ему на другое утро.

Я отчетливо понял, что, во-первых, я не должен чересчур полагаться на Энди, который, смертельно побледнев, прижимался к стенке, пока не кончилась эта стычка, а во-вторых, что я имею силу над горцами, которым, должно быть, строго-настроено приказали заботиться о моей безопасности. Но если я убедился, что Энди не хватало мужества, зато я мог рассчитывать на его признательность. Он не докучал мне изъявлениями благодарности, но стал обращаться со мной и, очевидно, думать обо мне совсем иначе; а так как с этих пор он стал сильно побаиваться наших сожителей, то мы постоянно бывали вместе.

ГЛАВА XVI ПРОПАВШИЙ СВИДЕТЕЛЬ

Семнадцатого сентября, в день условленной встречи со стряпчим Стюартом, я взбунтовался против своей судьбы. Меня мучили и угнетали мысли о том, что он ждет меня в «Королевском гербе», и о том, что он обо мне подумает и что скажет, когда мы встретимся. Ему трудно будет поверить правде, этого я не мог не признать, но какая жестокая несправедливость — в

его глазах я окажусь трусом и лжецом, в то время как я никогда не упустил случая сделать все, что только мог придумать. Я повторял про себя эти слова, находя в них горькую отраду, и проверял ими все мои прошлые поступки. Мне казалось, что в отношении Джемса Стюарта я вел себя, как брат; за все прошлое я был вправе гордиться собою, теперь оставалось подумать о настоящем. Я не мог переплыть море и не мог полететь по воздуху, но у меня был Энди. Я оказал ему услугу, и он ко мне очень расположен — вот рычаг, который надобно использовать! Я должен еще раз поговорить с Энди, хотя бы только для очистки совести.

День подходил к концу; море было спокойно, на Бассе царила полная тишина и слышался только негромкий плеск и бульканье воды среди камней. Четверо моих сотоварищей разбрелись кто куда; трое Макгрегоров поднялись выше на скалу, а Энди со своей Библией примостился на солнце среди развалин; я застал его крепко спящим и, едва он открыл глаза, принялся горячо убеждать его, приводя множество доводов.

— Если б я знал, что вам от этого будет лучше, Шос! — сказал он, глядя на меня поверх очков.

— Ведь я смогу спасти человека, — настаивал я, — и сдержать свое слово. Что же может быть для меня лучше этого? Разве вы не помните, что сказано в Священном писании. Энди? А ведь Библия лежит у вас на коленях! Там сказано: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?»

— Да, — сказал он, — для вас-то, конечно, так лучше. А для меня? Я тоже должен держаться своего слова. А вы чего от меня требуете? Чтобы я продал его за сребреники.

— Энди! Разве я произнес слово «серебро»? — воскликнул я.

— Ну, не в словах суть, — ответил он, — все и так понятно. Дело вот как обстоит: ежели я услужу вам, как вы того хотите, значит, я потеряю свой кусок хлеба. Понятно, вы должны будете возместить мой заработок и даже из благородства чуток добавите. А это что, разве не подкуп? И кабы я еще знал, что я получу ваши деньги! Так нет, сколько я могу судить, и это еще неизвестно; и если вас повесят, что со мной-то будет? Нет, это никак невозможно. Ступайте-ка вы отсюда, голубчик вы мой, и дайте Энди дочитать главу.

Помнится, в глубине души я был очень благодарен ему за отказ; через минуту я ощутил почти благодарное чувство к Престонгрэнджу за то, что он избавил меня, пусть даже насильственно и незаконно, от всех окружавших меня опасностей, соблазнов и затруднений.

Но чувство это было слишком мелким и трусливым, поэтому оно быстро исчезло, и мысли о Джемсе завладели мною безраздельно. Двадцать первое сентября — день, на который был назначен суд, — я провел в таком отчаянии, какое, пожалуй, испытал только еще на островке Иррейд. Большую часть дня я пролежал на травянистом склоне, находясь в каком-то полубезраздельии; Я лежал неподвижно, а в голове моей бушевали мучительные мысли. Иногда я все же засыпал, но и во сне меня преследовал зал суда в Инверэри и узник, бросающий

взгляды во все стороны в поисках пропавшего свидетеля, и я вздрагивал и просыпался все с тем же мрачным унынием в душе и ломотой во всем теле. Кажется, Энди часто поглядывал на меня, но я не обращал на него внимания. Вот уж поистине горек был мой хлеб и дни мои были тягостны.

На следующий день, в пятницу двадцать второго сентября, рано утром пришла лодка с провизией, и Энди сунул мне в руку пакет. Он был без адреса, но запечатан государственной печатью. В нем лежали две записки: «Мистер Бэлфур теперь сам убедился, что вмешиваться уже слишком поздно. За его поведением будут наблюдать, и его благоразумие будет вознаграждено». Так гласила первая записка, которая, очевидно, была старательно написана левой рукой. Разумеется, в этих словах не было ничего такого, что могло бы бросить тень на того, кто их писал, даже если бы он был обнаружен; печать, внушительно заменявшая подпись, была поставлена на отдельном, совершенно чистом листке; мне оставалось лишь признать, что покамест мои противники знают, что делают, и как можно спокойнее отнестись к угрозе, просвечивающей сквозь обещание награды.

Вторая записка удивила меня куда больше. «Мистеру Дэвиту Бэлфурю сообщаем, что о нем беспокоится друг, у которого серые глаза» — так было написано женской рукой, и меня так поразило, что эта записка попала ко мне в такую минуту, да еще с государственной печатью, что я просто остолбенел. Передо мной засияли серые глаза Катрионы. Сердце мое радостно вздрогнуло при мысли, что этот друг — она. Но кто же написал записку и вложил ее в послание Престонгрэнджа? И, что самое непостижимое, почему кто-то счел нужным послать мне это приятное, но совершенно бесполезное сообщение на скалу Басе? Единственный человек, которого я мог заподозрить, была мисс Грант. Я вспомнил, что три сестры неизменно восхищались глазами Катрионы и по цвету глаз даже дали ей прозвище; а сама мисс Грант, обращаясь ко мне, по-деревенски коверкала слова, очевидно, в насмешку над моей неотесанностью. И, кроме того, она жила в том же доме, откуда была послана первая записка. Оставалось найти объяснение еще одной странности: как мог Престонгрэндж посвятить ее в столь секретное дело и почему позволил приложить это легкомысленное послание к его собственному? Но и тут передо мной забрезжила догадка. Во-первых, недаром эта юная леди умела нагонять робость; быть может, она властвовала над папенькой больше, чем я думал. А во-вторых, не следует забывать о постоянной тактике прокурора: он старался быть ласковым, несмотря ни на что, и даже в раздражении не снимал маски дружеского участия. Вероятно, он понимает, как я разъярен своим пленением. Быть может, послав эту шутливую, дружескую записку, он рассчитывал смягчить мой гнев?

Честно говоря, так и случилось. У меня возникло теплое чувство к этой красивой мисс Грант, которая снизошла до заботы о моих делах. Намек на Катриону сам по себе настроил меня на более мирные и более трусливые мысли. Если Генеральному прокурору известно о ней и о нашем знакомстве... если я сумею угодить ему тем «благоразумием», о котором говорилось в письме, то к чему это может привести? «В глазах всех птиц напрасно

расставляются сеть» — сказано в Писании. Ну что же, стало быть, птицы умнее людей! А я, полагая, что разгадал тактику прокурора, все же попал в его сети.

Я был взволнован, сердце мое колотилось, глаза Катрионы сияли передо мной, как звезды, но тут мои размышления перебил Энди.

— Приятные новости, как я погляжу, — сказал он.

Я увидел, что он с любопытством смотрит мне в лицо; тотчас же мне, точно видение, представился Джемс Стюарт, судебный зал в Инверэри, и мысли мои сразу повернулись, точно дверь на петлях. Судебные заседания, подумал я, иногда затягиваются дольше назначенного срока. Если даже я появлюсь в Инверэри слишком поздно, все равно своими попытками я смогу поддержать Джемса, а свое доброе имя и тем более. В одно мгновение, почти не задумываясь, я сообразил, как мне действовать.

— Энди, — сказал я, — значит, вы отпустите меня завтра?

Он ответил, что ничего не изменилось.

— А был ли указан час? — спросил я.

Он сказал, что меня велено отпустить в два часа дня.

— А где? — не отставал я.

— Что где?

— Где вы меня должны высадить?

Он признался, что об этом ничего не было сказано.

— Что ж, отлично, — сказал я, — тогда я сам выберу место. Ветер с востока, а мне нужно на запад; задержите лодку, я ее нанимаю. Сегодня весь день будем плыть вверх по Форту, а завтра в два часа дня вы меня высадите на западе, там, куда мы успеем добраться.

— Сумасшедшая голова! — воскликнул он. — Вы все-таки хотите попасть в Инверэри!

— Совершенно верно, Энди, — подтвердил я.

— Вас не переупрямишь! — сказал Энди. — По правде говоря, мне вчера вас даже жалко стало, — прибавил он. — Только, знаете, я до вчерашнего дня не очень понимал, чего вы на самом-то деле хотите.

Нужно было поскорее подлить масла в огонь.

— Скажу вам по секрету, Энди, — начал я. — В том, что я задумал, есть еще одно преимущество. Мы оставим горцев на скале, а завтра их заберет лодка из Каслтона. Этот Нийл косо на вас поглядывает; кто знает, может, как только я уеду, он опять возьмется за нож: эти оборванцы очень злопамятны. А если вас станут допрашивать, у вас есть оправдание. Наша жизнь была в опасности, а вы за меня отвечаете, вот и решили увезти меня от этих дикарей и продержат остальное время в лодке. И знаете что, Энди? — добавил я, улыбаясь. — По-моему, вы очень мудро решили.

— Сказать по правде, Нийла я не больно-то жалею, — сказал Энди, — да и он меня, видно, тоже; с ним опасно связываться. Том Энстер справится с этими скотами куда лучше. Лодочник Энстер был родом из Файфа, где говорят по-гэльски. Да, да, — продолжал Энди. — Том с ними лучше управится. И ежели пораскинуть умом, так нас вряд ли кто хватится. Скала, да будь я неладен, они и думать забыли про эту скалу. А вы, Шос, бываете смекалистым,

когда захотите. Про то, что вы меня спасли, я уж и не говорю, — уже серьезнее добавил он и в знак согласия протянул мне руку.

Без лишних слов мы поспешно сели в лодку, отчалили от берега и подняли парус. Макгрегоры хлопотали у очага, готовя завтрак, — стряпней всегда занимались они, но один из них зачем-то вышел на зубчатую стену, и мы едва успели отойти от скалы на сотню с лишним футов, как наше бегство было обнаружено; все трое, как муравьи у разоренного муравейника, забегали, засуетились у развалин и причала, стали звать нас и требовать, чтобы мы вернулись. Мы еще находились в защищенном от ветра месте и в тени от Басса, огромным пятном лежавшей на воде, но вскоре вышли на солнце, и в ту же минуту ветер надул наш парус, лодка накренилась по самый планшир, и сразу же нас отнесло так далеко, что мы уже не слышали их криков. Каких страхов они натерпелись на этой скале, оставшись без покровительства цивилизованного человека и без защиты Библии — трудно себе представить; они даже не могли утешиться выпивкой, ибо хотя мы сбежали тайком и второпях, Энди все же ухитрился прихватить коньяк с собой.

Первой нашей заботой было высадить лодочника Энстера в бухточке возле Глейнтейтских скал, чтобы наших островитян сняли со скалы на другой же день. Оттуда мы направились вверх по Форту. Разыгравшийся было ветер стал быстро спадать, но не стихал совсем. Весь день мы плыли под парусом, хотя большей частью не слишком быстро, и только с наступлением темноты добрались до Куинсферри. Чтобы Энди не нарушал своих обязательств (если они еще существовали), я не должен был выходить из лодки, но не видел ничего дурного в том, чтобы сообщаться с берегом письменно. На листке Престонгрэнджа с государственной печатью, которая, должно быть, немало удивила моего адресата, я при свете фонаря нацарапал несколько необходимых слов, и Энди доставил записку Ранкилеру. Через час Энди вернулся с полным кошельком денег и заверением, что завтра в два часа дня в Клэкманонпуле меня будет ждать наготове добрый конь. Затем мы бросили с лодки камень на веревке, служивший якорем, и, накрывшись парусом, улеглись спать.

Назавтра мы прибыли в Пул задолго до двух, и мне ничего не оставалось делать, как сидеть и ждать. Я не так уж рвался выполнять задуманное мною дело. Я был бы рад отказаться от него, если бы подвернулся благовидный предлог, но предлога не находилось, и я волновался не меньше, чем если бы спешил навстречу какому-нибудь долгожданному удовольствию. Вскоре после часа на берегу показалась лошадь, и когда я увидел, как человек в ожидании, пока пристанет лодка, проваживает ее взад и вперед, мое нетерпение усилилось еще больше. Энди с большой точностью соблюдал срок моего освобождения, как бы желая доказать, что он верен своему слову, но не более того, и не желает задерживаться сверх положенного времени; поэтому не прошло и пятидесяти секунд после двух, как я уже сидел в седле и сломя голову скакал к Стирлингу. Через час с небольшим я миновал этот городок и помчался по берегу Алан-Уотер, где вдруг поднялась буря. Ливень слепил мне глаза, ветер едва не выбивал из седла, и наступившая ночная темнота застигла меня врасплох где-то в диких местах восточное Бэлкиддера; я не знал, в каком направлении ехать

дальше, а между тем лошадь подо мной начинала выбиваться из сил.

Подгоняемый нетерпением, я, не желая терять времени и связываться с проводником, до сих пор следовал, насколько это возможно для всадника, по пути, пройденному с Аланом. Я сделал это умышленно, хоть и понимал, как это рискованно, что и не замедлила доказать мне буря.

В последний раз я видел знакомые мне места где-то возле Уом Вара, должно быть, часов в шесть вечера. Я и до сих пор считаю великой удачей, что к одиннадцати мне наконец удалось достичь своей цели — дома Дункана Ду. Где я проплутал эти несколько часов — о том, быть может, могла бы сказать только лошадь. Помню, что два раза мы с нею падали, а один раз я вылетел из седла, и меня чуть не унесло бурным потоком. Конь и всадник вымазались в грязи по самые уши.

От Дункана я узнал о суде. Во всей этой горной местности за ним следили с благоговейным вниманием, новости из Инверэри распространялись с быстротой, на которую способен бегущий человек; и я с радостью узнал, что в субботу вечером суд еще не закончился и все думают, что он будет продолжаться и в понедельник. Узнав это, я так заспешил, что отказался сесть за стол; Дункан вызвался быть моим проводником, и я тут же отправился в путь, взяв с собой немножко еды и жуя на ходу. Дункан захватил с собой бутылку виски и ручной фонарь, который светил нам, пока по пути встречались дома, где можно было зажечь его снова, ибо он сильно протекал и гаснул при каждом порыве ветра. Почти всю ночь мы пробирались ощупью под проливным дождем и на рассвете все еще беспомощно блуждали по горам. Вскоре мы набрали на хижину у ручья, где нам дали поесть и указали дорогу; и незадолго до конца проповеди мы подошли к дверям инверэрской церкви.

Дождь слегка обмыл меня сверху, но я был в грязи до колен; с меня струилась вода; я так обессилел, что еле передвигал ноги и походил на призрак. Разумеется, сухая одежда и постель были мне гораздо нужнее, чем все благодеяния христианства. И все же, убежденный, что самое главное для меня — поскорее показаться на людях, я открыл дверь, "вошел в эту церковь вместе с перепачканным грязью Дунканом и, найдя поблизости свободное место, сел на скамью.

— В тринадцатых, братья мои, и в скобках, закон должно рассматривать как некое орудие милосердия, — вещал священник, видимо, упиваясь своими словами.

Проповедь из уважения к суду произносилась поанглийски. Судей окружала вооруженная стража, в углу у дверей поблескивали алебарды, а скамьи, против обыкновения, были сплошь заполнены мантиями законников. Священник, человек, как видно, опытный, взял для проповеди тексты из Послания к римлянам; и вся эта искушенная паства — от Аргайла и милордов Элгиза и Килкеррана до алебардщиков из стражи, — сдвинув брови, слушала его с глубоким и ревностным вниманием. Наше появление заметили лишь священник да горстка людей у двери, но и те мгновенно забыли о нас; остальные же либо не слышали наших шагов, либо не обратили на них внимания, и я сидел среди друзей и врагов, не замеченный ими.

Первым, кого я разглядел, был Престонгрэндж. Он сидел, подавшись вперед, как всадник на быстром коне; он шевелил губами от удовольствия и не отрывал глаз от священника; проповедь явно пришлась ему по вкусу. Чарли Стюарт, наоборот, подремывал; лицо у него было бледное и изнуренное. Что касается Саймона Фрэзера, то он выделялся из этой сосредоточенно внемлющей толпы своим почти скандальным поведением: он рылся в карманах, закидывал ногу на ногу, откашливался, вздергивал реденькие брови, поводил глазами направо и налево, то позевывая, то усмехаясь про себя. Иногда он клал перед собою Библию, листал ее, пробежал глазами несколько строк и опять принимался листать, потом отодвигал книгу и зевал во весь рот: он точно старался стряхнуть с себя скуку.

И вдруг взгляд неугомонного Фрэзера случайно упал на меня. На секунду он остолбенел, затем вырвал из Библии половину страницы, набросал на ней карандашом несколько слов и передал ее сидящему рядом человеку, шепнув ему что-то на ухо. Записку передали Престонгрэнджу, который бросил на меня быстрый взгляд, затем она попала в руки мистера Эрскина, а от него герцогу Аргайлскому, сидевшему между двух судей; его светлость повернулся и устремил на меня надменный взгляд. Последним из тех, кому не безразлично было мое присутствие, меня увидел Чарли Стюарт; он также принялся строчить и рассылать записки, но я не мог проследить в толпе, кому они предназначались.

Однако записки привлекли к себе общее внимание; те, кто знал, чем они вызваны (либо полагал, будто ему это известно), шепотом объясняли другим, остальные шепотом осведомлялись; священник, казалось, был немало смущен неожиданным шорохом, движением и перешептыванием в церкви. Он заговорил тише, потом сбился, и голос его окончательно утратил прежнюю звучность и спокойную убедительность. Должно быть, для него до последнего дня жизни так и осталось загадкой, почему проповедь, которая на три четверти прошла так успешно, под самый конец, совсем провалилась.

Я же сидел на скамье, промокший, смертельно усталый и, тревожась о том, что будет дальше, все же был в восторге от смятения, которое вызвал мой приход.

ГЛАВА XVII ПРОШЕНИЕ О ПОМИЛОВАНИИ

Едва священник произнес последнее слово, как Стюарт схватил меня за руку. Надо было выйти из церкви, опередив всех, и он увлекал меня за собой так решительно, что прежде чем прихожане толпой наводнили улицу, мы уже очутились в каком-то доме.

— Ну как, поспел я вовремя? — спросил я.

— И да и нет, — ответил он. — Дело закончено. Присяжные уже удалились, они соблаговолят оповестить нас о своем решении только завтра утром, но я мог бы предсказать, что они решат, за три дня до этой комедии. Все было ясно с самого начала. И подсудимый это понимал. «Делайте что

хотите, — пробормотал он позавчера едва слышно. — Моя судьба ясна мне из того, что герцог Аргайлский только что сказал мистеру Макинтошу». Ведь это стыд и срам!

Великий Аргайл пред ними предстал,

Громы и молнии он метал, и сам судебный пристав воскликнул: «Круахан!» Но теперь, когда вы вернулись, я не склонен отчаиваться. Дуб еще победит мирт. Мы побьем Кемпбеллов в их собственных владениях. Слава богу, что я дожил до этого дня!

Суесть от волнения, он вывернул на пол содержимое своего чемодана, чтобы я мои переодеться, и, стараясь мне помочь, лишь путался под ногами. Он не только не сказал ни слова о том, что предстоит сделать и как именно я должен действовать, но, как видно, даже не думал об этом. «Мы побьем Кемпбеллов в их собственных владениях» — это одно занимало его. И я поневоле понял, что хотя суд мог показаться серьезным и нелицеприятным, по существу, это была лишь стычка между дикими кланами, одержимыми кровной враждой. И мой друг стряпчий, подумалось мне, такой же дикарь, как все остальные. Тот, кто видел его среди законников в присутствии окружного судьи или на поле для гольфа, где он так ловко бил по мячу, не поверил бы своим ушам, услышав сейчас яростные речи этого неистового приверженца своего клана!

Защита Джемса Стюарта состояла из четырех человек — шерифы Браун из Колстоуна и Миллер, мистер Роберт Макинтош и мистер Стюарт-младший из Стюарт-Холла. Стряпчий пригласил их отобедать у него после проповеди и теперь любезно предложил мне присоединиться к ним. Едва скатерть была убрана и шериф Миллер весьма искусно смешал первую чашу пунша, разговор коснулся интересовавшего нас предмета. Я вкратце рассказал о том, как меня схватили и держали в плену, а потом меня еще и еще раз, до мельчайших подробностей, расспрашивали обо всех обстоятельствах убийства. Не следует забывать, что я первый раз получил возможность высказаться перед законниками и поговорить с ними об этом деле; и в конечном счете они пришли к самым безнадежным выводам, а сам я, должен признаться, был сильно разочарован.

— Короче говоря, — сказал Колстоун, — вы подтверждаете, что Алан был на месте убийства. Вы слышали, как он грозил Гленуру. И хотя вы уверяете, что стрелял не он, из ваших слов создается полное впечатление, что он был в сговоре с убийцей, который действовал с его согласия, а может быть, и при его непосредственной помощи. Далее из ваших слов явствует, что он, рискуя собственной свободой, сделал все, чтобы помочь преступнику бежать. Остальные же ваши свидетельства, имеющие хоть сколько-нибудь веса, основаны лишь на словах Алана или Джемса, а оба они обвиняемые. Одним словом, вы вовсе не разорвали цепь, которая связывает нашего подзащитного с убийцей, а лишь добавили к ней лишнее звено. И мне едва ли нужно говорить, что третий пособник только подкрепляет версию о заговоре, которая с самого начала была для нас камнем преткновения.

— Согласен, — сказал шериф Миллер. — Мне кажется, все мы только

обязаны Престонгрэнджу за то, что он устранил самого нежелательного свидетеля. И я полагаю, более всех ему обязан мистер Бэлфур. Вы вот говорите о третьем пособнике, а, на мой взгляд, мистер Бэлфур очень похож на четвертого.

— Позвольте мне сказать, джентльмены! — вмешался стряпчий Стюарт. — Взглянем на дело с другой стороны. Перед нами свидетель по этому делу, — независимо от того, каков вес его показаний, — похищенный грязной и мерзкой шайкой гленгайлских Макгрегоров, заключенный почти на целый месяц в хижине среди пустынных развалин Басса. Предайте это гласности, и вы увидите, как будет опорочен суд! Джентльмены, да ведь это же скандал на весь мир! Было бы просто странно, если бы, имея такой козырь, мы не вынудили их помиловать моего клиента.

— Ну, допустим, завтра мы дадим ход делу мистера Бэлфура, — сказал Стюарт-Холл. — Смею вас заверить, на нашем пути окажется столько препятствий, что Джемса повесят прежде, чем суд согласится нас выслушать. Шуму, конечно, будет много, но, надеюсь, все помнят еще более громкую историю: я имею в виду дело леди Грэндж. Она была тогда в заточении, и мой друг мистер Хоуп из Ранкилера сделал все, что было в человеческих силах. И чего же он достиг? Он не добился даже разрешения действовать от ее лица. То же самое будет и сейчас, они прибегнут к прежнему оружию. Джентльмены, перед нами битва между кланами. Ненависть к той фамилии, которую я имею честь носить, поднялась высоко. Это не что иное, как неприкрытая злоба Кемпбеллов и грязная интрига тех же Кемпбеллов.

Будьте уверены, после этого у всех развязались языки, и довольно долго я сидел, оглушенный речами ученых законников, хотя извлек из них крайне мало пользы. В конце концов стряпчий начал горячиться; Колстоуну пришлось одернуть его и поставить на место; одни приняли сторону стряпчего, другие — Колстоуна, причем все очень шумели; на герцога Аргайлского посыпались удары, как на одеяло, из которого выколачивают пыль; между прочим, досталось и королю Георгу, хотя кое-кто и защищал его в самых изысканных выражениях; забыли, казалось, только одного человека, а именно Джемса Глена.

Шериф Миллер все это время сидел молча. У этого худощавого немолодого человека было румяное лицо, блестящие глаза и ровный, низкий голос, каждое слово он произносил не без задней мысли, точно актер, стремящийся произвести впечатление на публику, и даже теперь, когда он сидел молча, сняв с головы парик и отложив его в сторону, и держал бокал обеими руками, забавно сморщив губы и выставив вперед подбородок, он являл собой воплощение насмешливого лукавства. Было ясно: ему есть что сказать и он ждет только подходящего случая.

Случай не замедлил представиться. Шериф Колстоун заключил одну из своих тирад упоминанием о долге перед подзащитным. Его собрат, как мне показалось, обрадовался такому обороту разговора. Он движением руки и взглядом привлек общее внимание.

— Мне кажется, мы упустили из виду одно важное соображение, — сказал

он. — Разумеется, интересы нашего клиента прежде всего, но ведь свет не клином сошелся на Джемсе Стюарте. — Тут он многозначительно покосился на нас. — Я склонен подумать, *exempli gratia* [6], также об интересах некоего мистера Джорджа Брауна, мистера Томаса Миллера и мистера Дэвида Бэлфура. Мистер Дэвид Бэлфур имеет все основания жаловаться, и, думаю мне, джентльмены, если только преподнести его историю должным образом, многим вигам не поздоровится.

Все сидевшие за столом, как по команде, повернулись к нему.

— Если эту историю как следует обстряпать и подать, она наверняка не останется без последствий, — продолжал он. — Все судебные власти, сверху донизу, будут совершенно опорочены, и, думаю мне, многих ждет отставка. — Говоря это, он буквально источал коварство. — И мне незачем вам объяснять, что выступить в деле мистера Бэлфура будет необычайно выгодно, — добавил он.

И тут все они жадно накинулись на новый предмет: как повести дело мистера Бэлфура, какие речи предстоит произнести, каких чиновников сместят и кто будет назначен на их место. Приведу только два примера. Было предложено начать переговоры с Саймоном Фрэзером, чьи показания, если только он согласится их дать, несомненно, окажутся роковыми для Аргайла и Престонгрэнджа. Миллер отнесся к такой попытке с нечрезвычайным одобрением.

— Перед нами жирный кусок, — сказал он. — Хватит на всех, надо только не зевать.

И, кажется, все облизнулись. А подзащитного предоставили его судьбе. Стряпчий Стюарт, вне себя от восторга, предвкушал, как он отомстит своему главному врагу, герцогу.

— Джентльмены! — вскричал он, наполняя свой бокал. — Выпьем за шерифа Миллера. Все мы знаем, какой он талантливый слуга закона. Что же до приготовления напитков, вот чаша, которая сама говорит за себя. Ну, а когда доходит до политики... — С этими словами он осушил стакан.

— Да, но это политика не совсем в том смысле, в каком вы ее понимаете, друг мой, — отозвался польщенный Миллер. — Это, если угодно, настоящая революция, и смею вас заверить — историки будут считать первой ее вехой дело мистера Бэлфура. Но если действовать должным образом, мистер Стюарт, действовать с осторожностью, это будет мирная революция.

— Ничего не имею против, лишь бы только проклятым Кемпбеллам не поздоровилось! — воскликнул Стюарт и хватил кулаком по столу.

Можете себе представить, что мне все это не очень понравилось, хотя я прятал улыбку, видя странную наивность этих старых каверзников. Но ведь я подвергся стольким мытарствам вовсе не ради преуспевания шерифа Миллера и не ради революции в парламенте; поэтому я вмешался в разговор, стараясь держаться непринужденно.

— Премного благодарен вам, джентльмены, за ваши советы, — сказал я. — А теперь, с вашего позволения, я осмелюсь предложить вам несколько вопросов. Есть одно обстоятельство, которое мы почему-то упускаем из виду: я

хотел бы знать, принесет ли это дело какую-нибудь пользу нашему другу Джемсу из клана Гленов?

Все они несколько смутились и отвечали по-разному, но, по сути, сошлись на том, что Джемсу не на что надеяться, кроме королевского помилования.

— Далее, — сказал я, — принесет ли это пользу Шотландии? Есть пословица: плоха та птица, которая гадит в своем гнезде. Помнится, я слышал еще ребенком, что в Эдинбурге был мятеж, который дал повод покойной королеве назвать нашу страну дикой, и я давно понял, что этим мы ничего не достигли, а только потеряли. А потом наступил сорок пятый год, и все заговорили о Шотландии, но я ни от кого не слышал мнения, что в сорок пятом году мы что-нибудь выиграли. И теперь вот мы затеваем дело мистера Бэлфура, как вы это называете. Шериф Миллер сказал, что историки будут считать его первой вехой, — в этом я не сомневаюсь. Боюсь только, как бы они не сочли его первой вехой на пути к бедствиям и всеобщему позору.

Миллер, отличавшийся сообразительностью, уже почуял, к чему я клоню, и поспешил меня поддержать.

— Сильно сказано, мистер Бэлфур, — заметил он. — Поразительно глубокая мысль.

— Кроме того, следует подумать, принесет ли это пользу королю Георгу,

— продолжал я. — Шериф Миллер, видимо, не придает этому большого значения. Но я сомневаюсь, чтобы можно было нанести ущерб его величеству и не навлечь на себя удара, который может оказаться роковым.

Я выждал, не возразит ли мне кто-нибудь, но все промолчали.

— Шериф Миллер назвал имена тех, кому это дело сулит выгоду, — продолжал я, — и среди прочих любезно упомянул меня. Прошу у него прощения, но я не могу с этим согласиться. Смею вас заверить, я не отступал в этом деле ни на шаг, пока речь шла о спасении человеческой жизни, но не скрою, я понимал, что подвергаюсь смертельному риску, как не скрою и того, что, по моему мнению, молодому человеку, которому нет еще и двадцати и который мечтает стать слугой закона, едва ли пойдет на пользу слава мятежника и отщепенца. Что же касается Джемса, то теперь, когда приговор, можно сказать, уже вынесен, у него остается одна надежда — на помилование. Нельзя ли в таком случае обратиться прямо к его величеству, не предавая огласке неблагоприятные поступки высокопоставленных людей и не толкая меня на путь, который, по сути, ведет к гибели?

Все сидели молча, уставясь на свои бокалы, и я понимал, что мое предложение им не по душе. Но Миллер, как всегда, не растерялся.

— Да будет мне позволено выразить точку зрения нашего юного друга на деловом языке, — сказал он. — Насколько я понимаю, он предлагает изложить обстоятельства его похищения, а равно и некоторые его свидетельства в прошении на имя короля. У этого плана есть надежда на успех. Он не хуже, а, пожалуй, лучше всякого другого может помочь нашему подзащитному. Как знать, возможно, его величество милостиво отнесется ко всем, кого касается прошение, которое необходимо составить искусно, в верноподданническом духе. Я полагаю, что, составляя упомянутую бумагу, это следует учесть.

Все кивнули и переглянулись со вздохом, потому что первый путь явно устраивал их куда более.

— В таком случае, мистер Стюарт, прошу вас, дайте нам бумаги, и надеюсь, все пятеро, здесь присутствующие, готовы подписать прошение в качестве поверенных осужденного.

— По крайней мере повредить это никому из нас не может, — сказал Колстоун и снова вздохнул, потому что десять минут назад уже видел себя в кресле Генерального прокурора.

И они принялись составлять бумагу, сначала без особого воодушевления, но вскоре страсти разгорелись; я же сидел без дела, поглядывая на них, и только иногда отвечал на вопросы. Бумага была составлена великолепно; сначала излагались обстоятельства, касавшиеся меня: как за мою поимку была назначена награда, как я добровольно отдал себя в руки властей, как меня принуждали поступить наперекор моей совести, как меня похитили и я с запозданием появился в Инверэри; далее говорилось, что в интересах короны и общества решено отказаться от всяких действий, на которые есть законное право, после чего следовала убедительная просьба к королю помиловать Джемса.

Мне показалось, что меня принесли в жертву, выставив в самом невыгодном свете, как смутьяна, которого этой плеяде служителей закона не без труда удалось удержать от крайностей. Но я махнул на это рукой и предложил только добавить, что я готов сам дать показания и привести свидетельства других перед любой следственной комиссией, а также потребовал, чтобы мне тотчас дали копию прошения.

Колстоун замялся и что-то пробормотал.

— Эта бумага не подлежит огласке, — сказал он.

— Но я в особом положении перед Престонгрэнджем, — возразил я. — Спору нет, при первой нашей встрече он отнесся ко мне доброжелательно и с тех пор неизменно был мне другом. Если бы не он, джентльмены, я был бы уже мертв либо дождался бы сейчас приговора вместе с беднягой Джемсом. Поэтому я намерен вручить ему копию прошения, как только оно будет переписано. Кроме того, не забудьте, что это нужно и для моей безопасности. У меня тут есть враги, которые умеют расправляться со своими жертвами: герцог Аргайльский здесь в своих собственных владениях и весь Ловэт за него; так что если в наших действиях будет допущен какой-либо промах, боюсь, как бы завтра утром мне не проснуться в тюрьме.

Не найдя возражений на эти доводы, мои советчики наконец должны были согласиться, но с тем лишь условием, что я, передавая бумагу Престонгрэнджу, отзовусь наилучшим образом обо всех присутствующих.

Генеральный прокурор обедал в замке у герцога. Я послал ему через одного из слуг Колстоуна записку с просьбой принять меня, и он назначил мне немедленно явиться к нему в чей-то частный дом. Он был один; лицо его хранило непроницаемое выражение; однако я сразу заметил в прихожей несколько алебард, и у меня хватило ума понять, что он готов арестовать меня на месте, если сочтет нужным.

— Так это вы, мистер Дэвид? — сказал он.

— Боюсь, что я для вас не слишком желанный гость, милорд, — сказал я.

— И прежде всего я хочу выразить вашей светлости свою благодарность за милостивое ко мне отношение, даже если впредь оно переменится.

— Я уже слышал о вашей благодарности, — сухо отвечал он, — и думаю, вы вряд ли оторвали меня от бокала с вином только для того, чтобы сказать о ней. Кроме того, на вашем месте я не стал бы забывать, что почва у вас под ногами все еще весьма зыбкая.

— Мне кажется, милорд, это уже позади, — сказал я. — И, быть может, вашей светлости достаточно будет лишь взглянуть вот на эту бумагу, чтобы со мной согласиться.

Он внимательно прочитал бумагу, хмуря брови; потом снова перечитал некоторые места, как бы взвешивая и сравнивая их между собой. Лицо его несколько просветлело.

— Это не так уж плохо, могло быть и хуже, — сказал он. — И все же, кажется, мне еще дорого придется заплатить за знакомство с Дэвидом Бэлфуром.

— Вернее, за вашу снисходительность к этому несчастному молодому человеку, милорд, — заметил я.

Глаза его все еще бегали по бумаге, а настроение, как видно, улучшалось с каждой минутой.

— Кому же я этим обязан? — спросил он первым делом. — Ведь, по всей вероятности, обсуждались и другие пути? Кто же предложил именно этот? Наверное, Миллер?

— Милорд, его предложил я. Эти джентльмены не были ко мне настолько внимательны, чтобы ради них я отказался от той чести, на которую вправе притязать, и избавил их от ответственности. Уверяю вас, все они жаждали начать судебный процесс, который вызвал бы серьезные последствия в парламенте и был бы для них (как выразился один из их числа) жирным куском. Перед моим вмешательством они, думается мне, собирались приступить к распределению значных мест в правосудии. Предполагалось заключить некое соглашение с нашим другом мистером Саймоном.

Престонгрэндж улыбнулся.

— Вот они, друзья! — сказал он. — Но что же заставило вас так решительно порвать с ними, мистер Дэвид?

Я рассказал все без утайки, однако особенно подробно изложил причины, которые касались самого Престонгрэнджа.

— Что ж, по отношению ко мне это только справедливо, — сказал он. — Ведь я действовал в ваших интересах столько же, сколько вы против моих. Но как вы попали сюда сегодня? — спросил он. — Когда суд затянулся, я начал беспокоиться, что назначил такой короткий срок, и даже ожидал вас завтра. Но сегодня... это мне и в голову прийти не могло.

Я, разумеется, не выдал Энди.

— Боюсь, что я загнал по дороге не одну лошадь.

— Если б я знал, что вы такой отчаянный, вам пришлось бы подольше

побыть на Бассе, — сказал он.

— Раз уж об этом зашла речь, милорд, возвращаю вам ваше письмо. — И я отдал ему записку, написанную поддельным почерком.

— Но ведь был еще лист с печатью, — заметил он,

— Его у меня нет, — сказал я. — Но на листе стоял только адрес, а это не могло бы бросить тень и на кошку. Вторая записка при мне, и, с вашего разрешения, я оставлю ее у себя.

Он, как мне показалось, слегка поморщился, но промолчал.

— Завтра, — продолжал он, — все наши дела здесь будут закончены, и я отправлюсь в Глазго. Я буду очень рад, если вы составите мне компанию, мистер Дэвид.

— Милорд... — начал было я.

— Не скрою, этим вы окажете мне услугу, — перебил он меня. — Я даже хочу, чтобы по прибытии в Эдинбург вы жили в моем доме. У вас там есть добрые друзья в лице трех мисс Грант, которые будут счастливы принять вас. Если вы считаете, что я был вам полезен, то таким образом легко мне отплатите и, ничего не потеряв, можете, между прочим, кое-что выиграть. Королевский прокурор далеко не всегда допускает в свое общество безвестных молодых людей.

За короткое время нашего знакомства этот человек уже не впервые приводил меня в замешательство; так было и на этот раз. Мог ли я поверить, будто пользуюсь особым расположением его дочерей, из которых одна соблаговолила надо мной посмеяться, а две другие вообще едва соизволили меня заметить. И теперь я должен был сопровождать милорда в Глазго, жить в его доме в Эдинбурге, появиться в обществе под его покровительством! Удивительно было уже то, что у него хватило доброты простить меня, но его желание взять меня под свою опеку и оказать мне содействие было уму непостижимо, и я начал искать во всем этом скрытый смысл. Одно было ясно. Если я стану его гостем, путь назад отрезан; я уже не смогу переменить теперешний свой план и предпринять какие бы то ни было действия. И, кроме того, не лишится ли прошение о помиловании всякой силы из-за моего присутствия в его доме? Нельзя же рассматривать всерьез жалобу, если сам пострадавший живет в гостях у высокопоставленного лица, против которого выдвигаются наиболее серьезные обвинения. При этой мысли я не мог скрыть улыбку.

— Вы хотите ослабить действие той бумаги? — сказал я.

— Вы проникательны, мистер Дэвид, — отвечал он, — и недалеко от истины: это будет мне полезно, чтобы оправдаться. И все же, думается мне, вы недооцениваете мои дружеские чувства к вам, которые совершенно искренни. Я вас уважаю, мистер Дэвид, даже несколько побаиваюсь, — сказал он с улыбкой.

— Больше всего на свете я хочу пойти навстречу вашим желаниям, — сказал я. — Я намерен служить закону, и в этом деле поддержка вашей светлости неоценима. И, кроме того, я от души благодарен вам и вашему семейству за участие и снисходительность. Но тут есть серьезное затруднение.

В одном вопросе мы с вами расходимся. Вы хотите, чтобы Джемса Стюарта повесили, а я хочу его спасти. Поскольку моя поездка с вами поможет вашей светлости оправдаться, я весь в вашем распоряжении. Но, поскольку это будет способствовать казни Джемса Стюарта, я, право, не знаю, как поступить.

Кажется, он выругался про себя.

— Вы непременно должны подвизаться на поприще закона, лучшей области для применения ваших талантов не найти, — сказал он с досадой и замолчал. Потом заговорил снова: — Поверьте, речь идет не о спасении или гибели Джемса Стюарта. Его уже ничто не спасет, жизнь его отдана и взята или, если угодно, куплена и продана. Никакое прошение ему не поможет, и никакое нарушение долга дружбы со стороны верного мистера Дэвида не причинит ему вреда. Что бы ни случилось, помилования ему не будет, так и знайте! Речь теперь идет обо мне: удержусь я или паду? И не стану скрывать от вас, что некоторая опасность мне грозит. Пожелает ли мистер Дэвид Бэлфур знать, почему? Не потому, что я незаконно предал Джемса суду. К этому, я уверен, отнесутся снисходительно. И не потому, что я силой держал мистера Дэвида на скале Басе, хотя предлог будет именно таков, а потому, что не избрал легкий и простой путь, на который меня не раз толкали, и не отправил мистера Дэвида в могилу или на виселицу. Отсюда все неприятности, отсюда это проклятое прошение. — Он хлопнул по бумаге, лежавшей у него на коленях. — В это затруднительное положение я попал из-за того, что во мне жили добрые чувства к вам. Я хотел бы знать, жива ли в вас совесть и поможете ли вы мне выпутаться?

Несомненно, в его словах было много правды: если Джемсу помочь уже нельзя, то кому же, естественней всего, должен я помочь, как не человеку, сидящему передо мной, который столько раз помогал мне и даже теперь подал пример кротости? Кроме того, я не только измучился, но и начал стыдиться своей вечной подозрительности и упорства.

— Если вы назначите мне время и место, я буду готов сопровождать вашу светлость, — сказал я.

Он пожал мне руку.

— Я полагаю, у моих дочерей найдутся для вас кое-какие новости, — сказал он, отпуская меня.

Я ушел, очень довольный, что помирился с ним, но все же на душе у меня скребли кошки; и, кроме того, оглядываясь назад, я сомневался, не слишком ли я всетаки был покладист. Но, с другой стороны, этот человек годился мне в отцы, был прозорлив, занимал высокий пост и в час нужды протянул мне руку помощи. Настроение у меня поднялось, и я неплохо провел остаток вечера среди служителей закона, — без сомнения, общество было прекрасное, но, пожалуй, мы выпили слишком много пунша, потому что, хотя я и лег спать рано, мне до сих пор непонятно, каким образом я очутился в постели.

ГЛАВА XVIII МЯЧИК ДЛЯ ГОЛЬФА

На следующее утро, сидя в судейской комнате, где меня никто не мог видеть, я выслушал решение присяжных и приговор по делу Джемса. Я уверен, что запомнил каждое слово герцога Аргайлского; и поскольку это знаменитое место его речи стало предметом спора, я могу предложить свою версию. Вспомнив сорок пятый год, вождь клана Кемпбеллов, председательствовавший на суде, обратился к несчастному Стюарту:

— Если бы ваш мятеж тогда не был подавлен, вы диктовали бы законы здесь, где теперь по закону судят вас. Нам, сегодняшним вашим судьям, возможно, пришлось бы предстать перед вашим судом, на котором разыгрывалась бы комедия правосудия, и тогда вы могли бы вволю напиться крови любой неугодной вам семьи или клана.

«Да, вот уж действительно проболтался», — подумал я. И такое впечатление создалось у всех. Просто поразительно, как молодые стряпчие обрадовались случаю и высмеяли его речь, и стоило какой-нибудь компании собраться за столом, как кто-нибудь старался ввернуть: «И тогда вы могли бы вволю напиться...» В те времена сложили по этому поводу не одну веселую песенку, но теперь все они забылись. Помнится, одна начиналась так:

Чьей крови, чьей крови жаждете вы?

Крови семьи, или клана крови,

Или шотландского горца злого

Крови жаждете вы?

Другая, сложенная на мотив моей любимой песни «Дом Эрли», начиналась словами:

Суд и расправу Аргайл чинил,

И Стюарт был подан к обеду...

А в одном из ее куплетов говорилось:

Тут герцог встал, поваров обругал:

"Это очень обидно и странно,

Как мне теперь быть, не могу же я пить

Кровь столь недостойного клана!"

Джемс был убит наповал, как будто герцог подкрался к нему с ружьем и выстрелил в упор. Я, конечно, уже знал это; но другие не знали, и их больше моего поразили скандальные разоблачения, всплывшие в ходе суда, и особенно слова председателя суда. Но его перещеголял один из присяжных, который прервал защитительную речь Колстоуна словами: «Прошу вас, сэръ, покороче, мы устали», — что было бесстыдной и откровенной наглостью. Но некоторые из моих новых друзей были еще более поражены неслыханным поступком, который опозорил и лишил всякой убедительности этот процесс. Одного из свидетелей вообще не вызвали. Его фамилию можно было прочесть на четвертой странице списка: «Джемс Драммонд, он же Макгрегор, он же Джемс Мор, в прошлом арендатор Инверонахилия»; предварительный допрос был снят с него, как полагается, в письменном виде. Он вспомнил или придумал (бог ему судья) нечто такое, что придавило Джемса Стюарта тяжким бременем, в то время как ему самому принесло немало выгод. Весьма желательно было ознакомить с его показаниями присяжных, не подвергая самого свидетеля

опасностям перекрестного допроса; и все ахнули, увидев, как это было проделано. Бумагу пустили по залу суда из рук в руки, как какую-то диковину; она побывала на скамьях присяжных, где сделала свое дело, и снова исчезла (как бы случайно) прежде, чем достигла защитника. Это сочли самой коварной из всех уловок; и то, что тут замешано имя Джемса Мора, наполнило меня стыдом за Катриону и опасениями за собственную судьбу.

На другой день мы с Престонгрэнджем, в сопровождении множества спутников, отправились в Глазго, где (к моему нетерпению) несколько замешкались из-за всяческих развлечений и дел. Милорд приблизил меня к себе, я жил под его кровом, участвовал в увеселениях, бывал представлен самым почетным гостям, словом, мне уделяли больше внимания, чем мои способности или положение того заслуживали, так что в присутствии незнакомых людей я часто краснел за Престонгрэнджа. Признаюсь, то представление, которое я составил себе о светском обществе за эти последние месяцы, поневоле омрачило мою душу. Я встречался со многими людьми, которые по рождению и талантам достойны бы быть израильянскими патриархами, но у кого из них были чистые руки? Что же касается Браунов и Миллеров, я увидел их своекорыстие и больше уже не мог их уважать. Все-таки Престонгрэндж оказался лучше других; он спас и пощадил меня, когда другие замыслили совершенно меня погубить; но кровь Джемса была на нем, и его теперешнее лицемерие со мной казалось мне непростительным. Меня удивляло и даже сердило то, что он притворяется, будто мое общество доставляет ему удовольствие. Я смотрел на него, и во мне постепенно нарастала досада. «Дорогой друг, — думал я, — а не вышвырнул бы ты меня вон, если б только тебе удалось отделаться от этого прощения?» И тут, как показали дальнейшие события, я был к нему более всего несправедлив; теперь мне кажется, что он с самого начала был гораздо более искренним человеком и более искусным актером, чем я предполагал.

Но у меня были некоторые основания не доверять ему, потому что я видел, как вели себя молодые законники, вертевшиеся вокруг него в надежде снискать его покровительство. Неожиданная благосклонность к молодому человеку, прежде никому не известному, поначалу обеспокоила их сверх всякой меры; но не прошло и двух дней, как меня окружили лестью и вниманием. Я был тот же самый юнец, которого они отвергли месяц назад, я не стал за это время ни лучше, ни красивее; но какими только любезностями меня не осыпали. Я, кажется, сказал «тот же самый»? Нет, это неверно и подтверждение тому — прозвище, которым меня называли за глаза. Видя, что я так близок к прокурору, они, уверенные, что я взлечу высоко, называли меня «Мячиком для гольфа». Мне дали понять, что теперь я «из их круга»; и если они жестко стлали поначалу, то теперь мне было мягко и уютно; один молодой человек, которого мне некогда представили в Хоуп-Парке был так самоуверен, что даже напомнил мне о той встрече. Я сказал, что не имею удовольствия ее помнить.

— Как же! — сказал он. — Ведь меня представил вам сама мисс Грант! Я такой-то...

— Весьма возможно, сэр, — сказал я. — Но, простите, не припоминаю.

Тогда он перестал настаивать; и сквозь отвращение, которое постоянно наполняло мою душу, блеснула радость.

Но у меня не хватает терпения подробно описывать это время. Когда я оказывался в обществе молодых за конников, меня охватывал стыд за себя, за свое просто обхождение, и в то же время я презирал их за двуличие. Из двух зол, думал я, Престонгрэндж наименьшее и если с молодыми аристократами я бывал холоде, как лед, то перед прокурором я, пожалуй, лицемерил скрывал свою неприязнь и (как говорил старик Кемпбелл) «ластился к господину». Он сам заметил это различие и, пожурив меня, велел держаться как подобает моему возрасту и подружиться с моими молодыми со товарищами.

Я сказал ему, что не так легко выбираю друзей

— Хорошо, я готов назвать это иначе, — сказал он. — Но ведь существует же простая учтивость, мистер Дэвид. С этими молодыми людьми вам придется проводить много времени, вся ваша жизнь пройдет в обществе. Ваша отчужденность выглядит вызывающе и если вы не усвоите несколько более непринужденные манеры, боюсь, что на пути вашем встретится немало препон.

— Черного кобеля не отмоешь добела, — сказал он, — Утром первого октября меня разбудил стук подков, и, подбежав к окну, я увидел гонца, который прискакал во весь опор и теперь спешивался. Через некоторое время Престонгрэндж позвал меня к себе; он сидел в халате и ночном колпаке, перед ним лежали письма.

— Мистер Дэвид, — сказал он, — у меня есть для вас новость. Она касается кое-кого из ваших друзей, которых, думается мне, вы немного стесняетесь, поскольку никогда не упоминали об их существовании.

Кажется, я покраснел.

— По некоторым признакам я вижу, что вы меня поняли, — сказал он. — И должен вас поздравить, вкус у вас превосходный. Но знаете, мистер Дэвид, эта девица кажется мне слишком уж предприимчивой! Нигде без нее не обходится. Шотландское правительство едва ли в состоянии преследовать судебным порядком мисс Кэтрин Драммонд, как это было не столь давно с неким мистером Дэвидом Бэлфуром. А прекрасная получилась бы пара, не правда ли? Первое вмешательство этой девицы в политику... Впрочем, не стану ничего вам рассказывать, решено и подписано, что вы должны выслушать эту историю при иных обстоятельствах и из более красноречивых уст. Но все же на сей раз деле обстоит серьезнее. Должен сообщить вам печальное известие: она в тюрьме.

Я вскрикнул.

— Да, — сказал он, — эта девица в тюрьме. Но, уверяю вас, отчаиваться нет никаких причин. Если только вы со своими друзьями и прошениями не добьетесь моей отставки, ей ничего не грозит.

— Но что же она сделала? В чем ее преступление? — воскликнул я.

— При желании это можно рассматривать чуть ли не как государственную измену, — ответил он, — потому что она помогла преступнику бежать из королевского замка в Эдинбурге.

— Эта юная леди — мой большой друг, — сказал я. — Я уверен, вы не

стали бы шутить со мной, если дело было серьезным.

— И все же в некотором смысле оно серьезно, — сказал он. — Проказница Кэтрин выпустила на волк этого подозрительного господина, своего папеньку.

Итак, оправдалось одно из моих предчувствий Джемс Мор снова был на свободе. Он предоставив своих людей, чтобы держать меня в неволе; он добровольно выступил свидетелем в эпинском деле, и его показания, хоть и с помощью постыдной уловки, были использованы, чтобы повлиять на присяжных. Теперь он вознагражден: его отпустили на свободу. Вполне возможно, что власти предпочли придать этому видимость побега; но я-то знал, что к чему, знал, что это входило в условия сделки. Из тех же соображений я ничуть не тревожился за Катриону. Пускай себе думают, что это она открыла своему отцу ворота тюрьмы; может быть, даже она и сама так думает. Но все это — дело рук Престонгрэнджа, и я был уверен, что он не допустит даже суда над ней, не говоря уже о наказании. И тут у меня вырвался несколько опрометчивый возглас:

— А! Я так и знал!

— Порой вы проявляете редкую скромность, — заметил Престонгрэндж.

— Что угодно милорду этим сказать? — осведомился я.

— Я просто выразил свое удивление, — отвечал он, — поскольку у вас хватило ума додуматься до этого, но не хватило ума промолчать. Но, полагаю, вам будет небезынтересно узнать подробности. Я получил два известия, причем неофициальное полней и гораздо интересней, поскольку написано бойким пером моей старшей дочери. «В городе сейчас только и разговоров, что об этой великолепной проделке, — пишет она, — а сколько было бы шуму, если б стало известно, что преступнице покровительствует милорд, мой папенька. Я уверена, что вы из верности долгу (а может быть, и по другим причинам) не забудете Сероглазку. Знаете, что она сделала? Раздобыла широкополую шляпу с обвислыми полями, длинный, плотный мужской плащ и большой шейный платок, задрала юбки бог знает до каких пор, сунула ноги в штаны, взяла в руки пару заплатанных башмаков и отправилась в замок! Здесь она выдала себя за сапожника, которому Джемс Мор отдавал чинить башмаки, и ее пропустили к нему, причем лейтенант (видимо, большой весельчак) хохотал вместе со своими солдатами над плащом этого сапожника. Вскоре они услышали крики и звуки ударов. Сапожник вылетел вон, плащ его развеялся, шляпа была нахлобучена чуть ли не до подбородка, и он пустился наутек, а лейтенант и солдаты проводили его насмешками. Но им стало не до смеха, когда они потом заглянули в дверь и увидели только высокую сероглазую красотку в женском платье! Что же до сапожника, он уже давно был за тридевять земель, и, по-видимому, несчастной Шотландии придется примириться с этой утратой. Сегодня вечером я при всех выпила за здоровье Катрионы. Право, наш город ею восхищен; я думаю, щеголи стали бы носить в петлицах кусочки ее подвязок, если б только могли их раздобыть. Я хотела поехать в тюрьму навестить ее, но вовремя вспомнила, что я дочь своего папеньки, и вместо этого написала ей записку, которую переслала с верным Дойгом, так что, надеюсь, вы признаете, что я умею, когда хочу, быть осмотрительной. Этот же верный дурак

доставит вам мое письмо вместе с письмами мудрецов, чтобы вы могли выслушать простачка заодно с Соломоном. Кстати, о дураках: сообщите, пожалуйста, обо всем Дэвиду Бэлфуру. Хотела бы я видеть его лицо, когда он узнает, что длинноногая девица в столь затруднительном положении! Я уж не говорю о легкомыслии вашей любящей дочери, питающей к нему уважение и дружбу». А засим следует подпись моей негодницы! — продолжал Престонгрэндж. — И — вы видите, мистер Дэвид, я сказал истинную правду, утверждая, что мои дочери шутят над вами любя.

— Дурак весьма польщен, — сказал я.

— А признайте, разве не великолепно разыграно? Разве эта девица с гор не настоящая героиня?

— Я всегда знал, что у нее благородное сердце, — сказал я. — И уверен, что она даже не подозревала... Но прошу прощения, я коснулся запретного предмета.

— Могу в этом поручиться, — сказал он напрямик. — Могу поручиться, она думала, что бросила вызов самому королю Георгу.

Напоминание о Катрионе и мысль о том, что она в тюрьме, странно меня взволновали. Я видел, что даже Престонгрэндж восхищен и не может сдержать улыбки, думая о ее поступке. Что же до мисс Грант, то, при всей ее неприятной манере шутить, она ясно выразила свое восхищение. Меня вдруг бросило в жар.

— Я не дочь вашей светлости... — начал я.

— Это мне известно! — ввернул он, улыбаясь.

— Я сказал глупость, — поправился я. — Или, верней, я не так начал. Без сомнения, было бы неразумно со стороны мисс Грант посетить тюрьму. А вот я, мне кажется, буду плохим другом, если не поспешу туда сей же час.

— Эге, мистер Дэвид, — сказал он. — Мы ведь, кажется, заключили с вами сделку?

— Милорд, — сказал я, — соглашаясь на эту сделку, я, конечно, испытывал благодарность за вашу доброту, но у меня язык не повернется отрицать, что мной руководили и собственные интересы. В моем сердце было своекорыстие, и теперь я этого стыжусь. В интересах вашей светлости рассказывать всем и каждому, что этот Дэвид, от которого столько беспокойства, ваш друг и живет в вашем доме. Что ж, рассказывайте, отрицать этого я не стану. Но покровительство ваше мне больше не нужно. Я прошу только одного — отпустите меня и дайте мне пропуск, чтобы я мог повидаться с нею в тюрьме.

Он сурово посмотрел на меня.

— Мне кажется, вы подходите к делу не с того конца, — сказал он. — Вы получили от меня знак моего расположения, хотя, ослепленный неблагодарностью, видимо, не заметили этого. Но покровительства своего я вам не дарил и, скажем прямо, даже еще не предлагал. — Он помолчал. — И предупреждаю вас, вы сами себя плохо знаете, — добавил он. — Молодости свойственна поспешность. Не пройдет и года, как вы переменитесь.

— А мне нравится быть таким! — воскликнул я. — Достаточно я насмотрелся на этих молодых адвокатов, которые выслуживаются перед вашей

милостью и стараются подольститься даже ко мне. Да и старики тоже не лучше. Все они имеют тайную цель, весь их клан! Именно поэтому вам и кажется, будто я сомневаюсь в расположении вашей светлости. Какие основания у меня считать, что вы ко мне расположены? Но вы же сами сказали, что я вам нужен!

Тут я смущенно замолчал, опасаясь, что зашел слишком далеко; он смотрел на меня с непроницаемым видом.

— Милорд, простите меня, — заговорил я снова. — Я из деревни и не обучен тонкостям обхождения. И все же мне кажется, само приличие требует, чтобы я поехал повидать своего друга и в тюрьме. Но я никогда не забуду, что обязан вам жизнью, и, если это принесет пользу вашей светлости, я остаюсь. К этому обязывает меня простая благодарность.

— Мы могли прийти к такому выводу, потратив гораздо меньше слов, — сказал Престонгрэндж сурово. — Нет ничего легче, а подчас и вежливей, чем просто сказать «да».

— Но, милорд, вы меня не совсем поняли! — воскликнул я. — Ради вас, ради моей собственной жизни, ради расположения, которое, как вы говорите, вы ко мне питаете, ради всего этого я согласен, но не ради какой-либо корысти, которую я могу из этого извлечь. Если я останусь в стороне, когда будут судить эту девушку, то при теперешнем положении это будет для меня только выгодно. А я не хочу на этом ничего выгадать. Я лучше все разрушу, чем строить свое благополучие на такой основе.

С минуту он сохранял серьезность, потом улыбнулся.

— Помните сказочку о человеке с длинным носом? — сказал он. — Если бы вы поглядели на луну в зрительную трубу, то и там увидели бы Дэвида Бэлфура! Но ладно уж, будь по-вашему. Я попрошу вас только об одной услуге, а потом вы свободны. Мои секретари завалены работой. Будьте добры, перепишите вот эти несколько страниц, — сказал он, наугад шаря среди объемистых рукописей, — а когда закончите, с богом! Я не желаю обременять себя совестью мистера Дэвида. А если вы по пути бросите часть этой рукописи в канаву, то вам будет куда легче ехать.

— Но тогда я поеду уже не совсем в ту сторону, милорд! — сказал я.

— Однако последнее слово всегда остается за вами! — воскликнул он со смехом.

И смеялся он не зря, так как теперь он нашел способ достичь цели. Стремясь лишиться прошение силы или иметь наготове ответ, он хотел, чтобы я публично появился в роли приближенного к нему человека. Но если я так же публично появлюсь у Катрионы в тюрьме, люди, конечно, все поймут, и правда о побеге Джемса Мора станет очевидной. Таково было затруднительное положение, в которое я его поставил, но он мгновенно нашел выход. Переписка рукописи, от которой я не мог отказаться из простого приличия, задержала меня в Глазго, а за те часы, что я был занят этим, от Катрионы тайно избавились. Мне стыдно писать это о человеке, который осыпал меня столькими милостями. Он относился ко мне с отеческой добротой, а я всегда считал его фальшивым, как треснутый колокол.

ГЛАВА XIX МНОЮ ЗАВЛАДЕВАЮТ ДАМЫ

Переписка бумаг была скучным и утомительным занятием, тем более, что речь там, как я сразу же увидел, шла о делах совсем не спешных, и мне было ясно, что это только предлог меня задержать. Едва закончив работу, я вскочил в седло и, не теряя времени, ехал до темноты, а когда меня застигла ночь, остановился в каком-то доме близ Элмонд-Уотер. Еще затемно я снова был в седле, и лавки в Эдинбурге только открывались, когда я с грохотом проскакал по Уэст-Бау и осадил лошадь, от которой валил пар, у дверей дома генерального прокурора. При мне была записка Дойгу, доверенному милорда, от которого, как говорили, у него не было тайн, весьма достойному и простому человеку, толстенькому, самонадеянному и пропахшему табаком. Он уже сидел за конторкой, выпачканной табачной жвачкой, в той самой приемной, где я случайно встретился с Джемсом Мором. Он прочел записку истово, словно главу из Библии.

— Гм, — сказал он. — Вы несколько запоздали, мистер Бэлфур. Птичка улетела — мы ее выпустили на волю.

— Вы освободили мисс Драммонд? — воскликнул я.

— Ну да, — ответил он. — А зачем нам было ее держать, подумайте сами? Кому охота подымать шум изза ребенка.

— Где же она? — спросил я.

— Бог ее знает! — сказал Дойг, пожимая плечами.

— Наверное, она пошла домой к леди Аллардайс, — сказал я.

— Очень может статься, — согласился он.

— Так я скорей туда, — сказал я.

— Не хотите ли пожевать чего-нибудь перед дорогой? — спросил он.

— Нет, не хочу ни пить, ни есть, — сказал я. — Я напился молока в Рато.

— Так, так, — сказал Дойг. — Ну, по крайности оставьте лошадь и пожитки, квартировать ведь, небось, тут будете.

— Ну нет, — сказал я. — В такой день ни за что не пойду на своих двоих.

Дойг выражался очень простонародно, и я вслед за ним тоже заговорил на деревенский манер, право же, гораздо проще, чем я здесь написал; и я чуть не сгорел со стыда, когда чей-то голос у меня за спиной пропел куплет из баллады:

Седлайте, друзья боевые мои,

Коня вороного скорей,

И я полечу на крыльях любви

К красавице милой моей.

Я обернулся и увидел молодую девушку в утреннем платье, которая спрятала руки в рукава, как бы желая этим удержать меня на расстоянии. Но взгляд ее был приветлив, это я почувствовал сразу.

— Позвольте мне выразить вам мое почтение, мисс Грант, — сказал я, отдавая поклон.

— И мне также, мистер Дэвид, — отозвалась она и низко присела передо мной. — Я хочу напомнить вам старую-престарую поговорку, что месса и мясо

никогда не помеха мужчине. Мессу я не могу вам предложить, потому что все мы добрые протестанты. Но съесть кусок мяса я вам настойчиво советую. Я же тем временем, думается, сумею рассказать вам кое-что небезынтересное, ради чего стоит задержаться.

— Мисс Грант, — сказал я, — и без того я у вас в долгу за несколько веселых и, как мне кажется, очень добрых слов на листке бумаги без подписи.

— Без подписи? — переспросила она с очаровательной задумчивостью, словно силилась что-то вспомнить.

— Если это не так, я вдвойне разочарован, — продолжал я. — Но у нас, право, еще будет время поговорить об этом, ведь отец ваш любезно предложил мне пожить некоторое время под одной крышей с вами. Но в данную минуту дурак не просит у вас, ничего, кроме свободы.

— Вы так нелестно отзываетесь о себе, — заметила она.

— Мы с мистером Дойгом рады принять еще более нелестные прозвища, если только их выведет ваше искусное перо, — сказал я.

— Мне снова приходится восхищаться скромностью мужчин, — заметила она. — Но если вы отказываетесь от еды, ступайте немедля. Тем скорей вы вернетесь, ведь дело у вас дурацкое. Ступайте, мистер Дэвид. — И она открыла передо мной дверь.

Вскочив на коня, он воскликнул: "Клянусь,
Меня среди лесов и полей
Ничто не удержит, пока не примчусь
К красавице милой моей".

Я не заставил ее повторять разрешение дважды и оценил строки, приведенные ею, уже по дороге в Дин.

Старая леди Аллардайс гуляла по саду одна, в высоком чепце, опираясь на черную, отделанную серебром трость. Когда я спешил к ней с почтительным поклоном, она вдруг покраснела и высоко вскинула голову, как мне показалось, с величием настоящей императрицы.

— Что привело вас к моему скромному порогу? — воскликнула она тонким голосом, слегка в нос. — Я бессильна его защитить. Все мужчины из моей семьи умерли и лежат, в земле. У меня нет ни сына, ни мужа, который встал бы у моей двери. Всякий бродяга может дернуть меня за бороду, и самое ужасное, — добавила она словно бы про себя, — что у меня и вправду есть борода.

Я был рассержен таким приемом, а от последних ее слов, похожих на бред сумасшедшей, едва не лишился дара речи.

— Видимо, я имел несчастье чем-то навлечь на себя ваше неудовольствие, сударыня, — сказал я. — И все же я беру на себя смелость спросить, где мисс Драммонд.

Она бросила на меня испепеляющий взгляд, плотно сжав губы, так что вокруг них разбежались десятка два морщинок; рука, сжимавшая трость, дрожала.

— Да это верх наглости! — вскричала она. — Ты спрашиваешь о ней у меня? Господи, если б я сама знала!

— Так ее здесь нет? — воскликнул я.

Она вскинула голову и стала наступать на меня с такими криками, что я в растерянности попятился.

— Лгун разнесчастный! — вопила она. — Как? Ты еще меня про нее спрашиваешь? Да она в тюрьме, куда ты сам ее упек! Вот и весь сказ! Как на грех ты подвернулся, ничтожество этакое! Трусливый негодяй, да будь у меня в семье хоть один мужчина, я велела бы ему лупить тебя до тех пор, покуда ты не взвоешь!

Видя, что неистовство ее растет, я счел за лучшее более там не задерживаться. Когда я пошел к коновязи, она даже последовала за мной; и не стыжусь признаться, что я ускакал, едва успев вдеть одну ногу в стремя и лоя на ходу второе.

Я не знал, где еще искать Катриону, и мне не оставалось ничего иного, как вернуться в дом генерального прокурора. Меня радушно приняли четыре женщины, которые теперь собрались все вместе и потребовали, чтобы я рассказал им новости о Престонгрэндже и все сплетни с Запада, что продолжалось довольно долго и было для меня весьма утомительно; тем временем молодая особа, с которой я так жаждал опять остаться наедине, насмешливо поглядывала на меня и словно наслаждалась моим нетерпением. Наконец, после того, как я вынужден был откусать с ними и уже готов был молить ее тетюшку о разрешении поговорить с мисс Грант, она подошла к нотной папке и, выбрав какой-то лист, запела в верхнем ключе: «Кто не слушает совета, остается без ответа». Однако после этого она сменила гнев на милость и под каким-то предлогом увела меня в отцовскую библиотеку. Надо сказать, что она была изысканно одета и ослепительно красива.

— Ну, мистер Дэвид, садитесь, и давайте поговорим с глазу на глаз. Мне многое нужно вам сказать, и, кроме того, должна признаться, в свое время я не оценила по достоинству ваш вкус.

— В каком смысле, мисс Грант? — спросил я. — Кажется, я всегда оказывал вам должное уважение.

— Готова поручиться за вас, мистер Дэвид, — сказала она. — Ваше уважение как к самому себе, так и к вашим смиренным ближним, всегда, к счастью, было выше всяких похвал. Но это между прочим. Вы получили мою записку? — спросила она.

— Я взял на себя смелость предположить, что эта записка от вас, — сказал я. — Вы были так добры, что вспомнили обо мне.

— Наверное, вы очень удивились, — сказала она. — Но не станем забегать вперед. Надеюсь, вы не забыли тот день, когда согласились сопровождать трех прескучных девиц в Хоуп-Парк? Тем менее причин для забывчивости у меня самой, потому что вы любезно преподали мне начала латинской грамматики, что оставило неизгладимый след в моей благодарной душе.

— Боюсь, что я показался вам несносным буквоедом, — сказал я, смущенный этим воспоминанием. — Но прошу вас принять во внимание, что я совсем не привык к дамскому обществу.

— А я еще меньше — к латинской грамматике, — заметила она. — Но как

же это вы осмелились покинуть своих подопечных? «И он швырнул ее за борт, малютку Энни!» — пропела она. — И малютке Энни с двумя сестрами пришлось тащиться домой одним, как несчастным, покинутым гусыням. Насколько мне известно, вы отправились к моему папеньке, где проявили необычайную воинственность, а потом канули неведомо куда, взяв курс, как выяснилось, на скалу Басе, и на уме у вас были не красотки, а дикие птицы.

Так она подшучивала надо мною, но взгляд у нее был приветливый, и это давало мне надежду на лучшее.

— Вам доставляет удовольствие меня мучить, — сказал я, — а ведь я так беспомощен. Умоляю вас о милосердии. Сейчас я хочу узнать только одно: что случилось с Катрионой?

— Вы так и зовете ее в глаза, мистер Бэлфур? — спросила она.

— Право, я и сам не знаю... — сказал я, запинаясь.

— Пожалуй, я не стала бы так называть ее в разговоре с посторонним человеком, — сказала мисс Грант. — Кстати, почему вы столь заинтересованы делами этой юной особы?

— Я слышал, она была в тюрьме, — сказал я.

— Ну, а теперь вы услышали, что ее выпустили, — отвечала она. — Чего же вам еще? Ей больше не нужен заступник.

— Наверное, сударыня, мне она нужна гораздо больше, чем я ей, — сказал я.

— Вот это уже лучше! — заметила мисс Грант. — Но взгляните на меня хорошенько. Разве я не красивее ее?

— Менее всего я стал бы это отрицать, — сказал я. — Вам нет равной во всей Шотландии.

— Вот видите, вы отдаете пальму первенства той, что сейчас рядом с вами, а разговаривать хотите о другой, — сказала она. — Так вам не угодить женщине, мистер Бэлфур.

— Но, мисс, — возразил я, — кроме красоты, есть ведь и еще кое-что.

— Должна ли я понять из этих слов, что я вам не по вкусу? — спросила она.

— Прошу вас, поймите, что я подобен петуху из басни, который нашел жемчужное зерно, — сказал я. — Передо мной прекрасная драгоценность, и я восхищен ею, но мне куда нужнее одно-единственное настоящее зернышко.

— Bravo! — воскликнула она. — Наконец-то я слышу достойные речи и в награду расскажу вам обо всем. В тот самый вечер, когда вы нас покинули, я была в гостях у одной подруги и вернулась домой поздно — там мною восхищаются, а вы можете оставаться при своем мнении, — и что же я слышу? Какая-то девушка, закутанная в плед, просит позволения со мной поговорить. Горничная сказала, что она ждет уже больше часа и все время что-то бормочет. Я сразу же вышла к ней. Она встала мне навстречу, и я узнала ее с первого взгляда. «Да ведь это Сероглазка», — подумала я, но благоразумно удержалась и не произнесла этого вслух. «Вы мисс Грант? Наконец-то, — сказала она, глядя на меня пристально и жалобно. — Да, он был прав, вы красивы, что там ни говори». «Такой уж меня создал бог, дорогая, — отвечала я, — но я буду вам

весьма признательна, если вы объясните, что привело вас сюда в столь поздний час». «Леди, — сказала она, — мы родня, у нас обеих в жилах течет кровь сынов Эпина». «Дорогая, — возразила я, — Эпин и его сыны интересуют меня не более, чем прошлогодний снег. А вот слезы на вашем красивом личике — это куда более сильный довод в вашу пользу». При этом я сделала глупость и поцеловала ее, о чем вы, конечно, мечтаете, но, держу пари, некогда на это не осмелитесь. Я говорю, что сделала глупость, так как совсем не знала ее, но то было самое умное, что я могла бы придумать. Она очень стойкая и отважная, но, боюсь, она видела мало доброты в своей жизни, и от этой ласки (которая, сказать правду, была лишь мимолетной) сердце ее раскрылось передо мной. Я никогда не выдам тайны своего пола, мистер Дэви, и не расскажу, как она обвела меня вокруг пальца, потому что она тем же способом обведет и вас. Да, это прекрасная девушка! Она чиста, как горный родник.

— Она чудо! — воскликнул я.

— И вот она поведала мне о своих невзгодах, — продолжала мисс Грант, — рассказала, как она тревожится за отца и как боится за вас, без всякой к тому причины, и в каком трудном положении она оказалась, когда вы уехали. «Я долго думала и решила, что мы ведь с вами в родстве, — сказала она, — и мистер Дэвид не зря назвал вас красавицей из красавиц, вот мне и пришло в голову: „Если она такая красавица, значит, она добрая, что там ни говори“. И я пошла прямо сюда». Тут я простила вас, мистер Дэви. Ведь в моем присутствии вы были как на иголках, никогда еще не видела молодого человека, который так жаждал бы избавиться от своих дам, то есть от меня и двух моих сестер. Но, оказывается, вы все-таки обратили на меня внимание и соизволили высказаться о моей красоте. С того часа можете считать меня своим другом, я стала даже с нежностью думать о латинской грамматике.

— Вы еще успеете вволю пошутить надо мной, — сказал я. — И, кроме того, мне кажется, вы к себе несправедливы. Мне кажется, это Катриона расположила ко мне ваше сердце. Она слишком простодушна, чтобы понять, как поняли вы, глупую неловкость своего друга.

— Не станем спорить об этом, мистер Дэвид, — сказала она. — У девушек зоркий глаз. И как бы то ни было, она вам верный друг, в этом я могла убедиться. Я отвела ее к своему сиятельному папеньке, и его прокурорство, вдосталь испив кларета, соизволил принять нас обеих. «Вот Сероглазка, о которой вам за последние три дня прожужжали уши, — сказала я. — Она пришла подтвердить нашу правоту, и я повергаю к вашим стопам первую красавицу во всей Англии», — при этом я лицемерно умолчала о себе. Она и впрямь упала перед ним на колени, мне кажется, она двоилась у него в глазах, что, без сомнения, сделало ее просьбу еще более неотразимой, потому что все вы, мужчины, не лучше магометан, рассказала ему о событиях прошлой ночи и о том, как она помешала человеку, посланному ее отцом, следовать за вами, как она тревожится за отца и боится за вас; после этого она стала со слезами молить его, чтобы он спас жизнь вам обоим (хотя ни одному из вас не грозила ни малейшая опасность), и клянусь, я гордилась своим полом, так очаровательно это было сделано, и стыдилась за него, потому что причина была такой

пустячной. Уверяю вас, едва услышав ее мольбы, прокурор совершенно протрезвел, так как обнаружил, что юная девушка разгадала его сокровенные помыслы и теперь они стали известны самой своенравной из его дочерей. Но тут мы обе принялись за него и повели дело в открытую. Когда моим папенькой руководят, то есть когда им руковожу я, ему нет равных.

— Он был очень добр ко мне, — сказал я.

— И к Кэтрин тоже, уж об этом я позаботилась, — сказала она.

— И она просила за меня! — воскликнул я.

— Просила, да еще как трогательно, — сказала мисс Грант. — Не стану повторять вам ее слова, вы, мне кажется, и без того слишком зазнаетесь.

— Да вознаградит ее за это бог! — вскричал я.

— Да вознаградит он ее мистером Дэвидом Бэлфуром, не так ли? — присовокупила она.

— Вы ко мне чудовищно несправедливы! — вскричал я. — Меня дрожь охватывает при мысли, в каких она была жестоких руках. Неужели вы думаете, что я мог так о себе возомнить только потому, что она просила сохранить мне жизнь? Да она сделала бы то же самое для новорожденного щенка. Если хотите знать, у меня есть другое, гораздо более веское основание гордиться собой. Она поцеловала вот эту руку. Да, поцеловала. А почему? Потому что думала, будто я отчаянный храбрец и иду на смерть. Конечно, она сделала это не из любви ко мне, и мне незачем говорить это вам, которая не может смотреть на меня без смеха. Это было сделано из преклонения перед храбростью, хотя, конечно, она ошибалась. Думается мне, кроме меня и бедного принца Чарли, Катриона никому не оказывала такой чести. Разве это не сделало меня богом? И думаете, сердце мое не трепещет при воспоминании об этом?

— Да, я часто смеюсь над вами даже вопреки приличию, — согласилась она. — Но вот что я вам скажу: если вы так о ней говорите, у вас есть искра надежды.

— У меня? — воскликнул я. — Да мне никогда не осмелиться! Я могу сказать все это вам, мисс Грант, мне все равно, что вы обо мне думаете. Но ей... Никогда в жизни!

— Мне кажется, у вас самый твердый лоб во всей Шотландии, — сказала она.

— Правда, он довольно твердый, — ответил я, потупившись.

— Бедняжка Катриона! — воскликнула мисс Грант.

Я только пялил на нее глаза; теперь-то я прекрасно понимаю, к чему она клонила (и, быть может, нахожу этому некоторое оправдание), но я никогда не отличался сообразительностью в таких двусмысленных разговорах.

— Мистер Дэвид, — сказала она, — меня мучит совесть, но, видно, мне придется говорить за вас. Она должна знать, что вы поспешили к ней, как только услышали, что она в тюрьме. Она должна знать, что ради нее вы даже отказались от еды. И о нашем разговоре она узнает ровно столько, сколько я сочту возможным для столь юной и неискушенной девицы. Поверьте мне, это сослужит вам гораздо лучшую службу, чем вы могли бы сослужить себе сами, потому что она не заметит, какой у вас твердый лоб.

— Так вы знаете, где она? — воскликнул я.

— Разумеется, мистер Дэвид, только этого я вам никогда не открою, — отвечала она.

— Но почему же? — спросил я.

— А потому, — сказала она, — что я верный Друг, в чем вы скоро убедитесь. И прежде всего я друг своему отцу. Смею вас заверить, никакими силами и никакими мольбами вы не заставите меня сделать это, так что нечего смотреть на меня телячьими глазами. А пока желаю Вашему Дэвидбэлфурству всего наилучшего.

— Еще одно слово! — воскликнул я. — Есть одна вещь, которую непременно надо объяснить, иначе мы с ней оба погибли.

— Ну, говорите, только покороче, — сказала она. — Я и так уже потратила на вас полдня.

— Миледи Аллардайс считает... — начал я. — Она думает... она полагает... что это я похитил Катриону.

Мисс Грант покраснела, и я даже удивился, что ее так легко смутить, но потом сообразил, что она просто с трудом удерживается от смеха, в чем окончательно убедился, когда она ответила мне прерывающимся голосом:

— Я беру на себя защиту вашего доброго имени. Положитесь на меня.

С этими словами она вышла из библиотеки.

ГЛАВА XX Я ПРОДОЛЖАЮ ВРАЩАТЬСЯ В СВЕТЕ

Почти два месяца я прожил в доме Престонгрэнджа и весьма расширил свои знакомства с судьями, адвокатами и цветом эдинбургского общества. Не думайте, что моим образованием пренебрегали; напротив, у меня не оставалось ни минуты свободной. Я изучал французский язык и готовился ехать в Лейден; кроме того, я начал учиться фехтованию и упорно занимался часа по три в день, делая заметные успехи; по предложению моего родича Пйлрига, который был способным музыкантом, меня определили в класс пения, а по воле моей наставницы мисс Грант — в класс танца, где, должен признаться, я далеко не блистал. Однако все вокруг любезно твердили, что благодаря этому манеры мои стали изысканней; как бы там ни было, но я в самом деле перестал путаться в полах своей одежды и в шпаге, а в гостях держался непринужденно, словно у себя дома. Весь мой гардероб подвергся решительному пересмотру, и самые пустячные мелочи, например, где мне перевязывать волосы или какого цвета платок носить на шее, обсуждались тремя девицами самым серьезным образом. Одним словом, я стал неузнаваем и приобрел даже модный лоск, который очень удивил бы добрых людей в Эссендине.

Две младшие сестры весьма охотно обсуждали мои наряды, потому что сами только о туалетах и думали. В остальном же они едва замечали мое существование; и хотя обе всегда были очень любезны и относились ко мне с некоей равнодушной сердечностью, они все же не могли скрыть, как им скучно со мной. Что же до тетушки, это была на редкость невозмутимая женщина,

она, пожалуй, уделяла мне ровно столько же внимания, сколько всем членам семейства, то есть почти никакого. Поэтому ближайшими моими друзьями были старшая дочь прокурора и он сам, причем совместные развлечения еще более укрепили эту дружбу. Перед началом судебной сессии мы провели несколько дней в усадьбе Грэндж, где жили роскошно, ничем не стесняясь, и там начали вместе ездить верхом, а потом стали ездить и в Эдинбург, насколько прокурору позволяли его бесконечные дела. Когда от прогулки на свежем воздухе, трудной дороги или непогоды нас охватывало оживление, робость моя совершенно исчезала; мы забывали, что мы чужие друг другу, и, так как никто не заставлял меня говорить, слова лились тем свободнее. Тогда я и рассказал им мало-помалу все, что произошло со мной с того самого времени, когда я покинул Эссендин: как я отправился в плавание и участвовал в стычке на «Завете», как блуждал, среди вереска и что было потом; они заинтересовались моими приключениями, и однажды в неприсутственный день мы совершили прогулку, о которой я расскажу несколько подробней.

Мы сели в седло ранним утром и направились прямо туда, где среди большого, заиндевелога в этот утренний час поля стоял замок Шос, и над трубой его не было дыма. Здесь Престонгрэндж спешился, велел мне подержать лошадь и один отправился к моему дяде. Помню, сердце мое исполнилось горечью, когда я увидел этот пустой замок и подумал, что несчастный скряга сидит в холодной кухне, бормоча что-то себе под нос.

— Вот мой дом, — сказал я. — И вся моя семья.

— Бедный Дэвид Бэлфур! — сказала мисс Грант.

Я так и не узнал, о чем они там говорили; но разговор этот, без сомнения, был не очень приятен для Эбенезера, ибо, когда прокурор вернулся, лицо у него было сердитое.

— Кажется, вы скоро станете богачом, мистер Дэви, — сказал он, вдев одну ногу в стремя и оборачиваясь ко мне.

— Не стану притворяться, будто это меня огорчает, — сказал я. По правде говоря, во время его отсутствия мы с мисс Грант дали волю воображению, украшая поместье зелеными полями, цветниками и террасой; многое из этого я с тех пор осуществил.

Затем мы отправились в Куинсферри, где нас радушно принял Ранкилер, который буквально лез вон из кожи, стараясь угодить столь важному гостю. Здесь прокурор с искренним участием стал подробно вникать в мои дела и часа два просидел со стряпчим у него в кабинете, причем выказал (как я после узнал) большое уважение ко мне и заботу о моей судьбе. Чтобы скоротать время, мы с мисс Грант и молодым Ранкилером взяли лодку и поплыли через залив к Лаймкилнсу. Ранкилер был смешон (и, как мне показалось, дерзок), когда стал громко восхищаться молодой дамой, и, хотя эта слабость столь присуща их полу, я удивился, видя, что она как будто чуточку польщена. Но это оказалось к лучшему: когда мы переправились на другой берег, она велела ему сторожить лодку, а мы с ней пошли дальше, в трактир. Она сама этого пожелала, потому что ее заинтересовал мой рассказ об Элисон Хэсти и она захотела увидеть девушку. Мы снова застали ее одну — отец ее, должно быть,

целыми днями трудился в поле, — и она, как полагается, учтиво присела перед джентльменом и красивой молодой дамой в платье для верховой езды.

— Разве вы не хотите поздороваться со мной как следует? — спросил я, протягивая руку. — И разве вы не помните старых друзей?

— Господи! Да что же это! — воскликнула она. — Ей-богу, да ведь вы же тот оборванец...

— Он самый, — подтвердил я.

— Сколько раз я вспоминала вас и вашего друга, и до чего ж мне приятно видеть вас в богатой одежде! — воскликнула она. — Я тогда поняла, что вы нашли своих, потому что вы прислали мне такой дорогой подарок, не знаю уж, как вас за него благодарить.

— Вот что, — сказала мне мисс Грант, — пойдите-ка прогуляйтесь, будьте умником. Я пришла сюда не для того, чтобы тратить время понапрасну. Нам с ней надо поговорить.

Она пробыла в доме минут десять, а когда вышла, я заметил два обстоятельства: глаза у нее покраснели, а с груди исчезла серебряная брошь. Это глубоко меня тронуло.

— Сейчас вы прекрасны, как никогда, — сказал я.

— Ох, Дэви, не будьте таким высокопарным глупцом, — сказала она и до самого вечера была со мной суровее, чем обычно.

Когда мы вернулись, в доме уже зажигали свечи.

Долгое время я ничего больше не слышал о Катрионе — мисс Грант была непроницаема и, когда я заговаривал о ней, заставляла меня умолкнуть своими шутками. Но однажды, вернувшись с прогулки, она застала меня одного в гостиной, где я занимался французским языком, и я заметил в ней какую-то перемену; глаза ее ярко блестели, она раскраснелась и, поглядывая на меня, то и дело прятала улыбку. словно воплощение шаловливого лукавства, она с живостью вошла в комнату, затеяла со мной ссору из-за какого-то пустяка и, уж во всяком случае, без малейшего повода с моей стороны. Я очутился будто в трясине — чем решительней старался я выбраться на твердое место, тем глубже увязал; наконец она решительно заявила, что никому не позволит так дерзко ей отвечать и я должен на коленях молить о прощении.

Ее беспричинные нападки разозлили меня.

— Я не сказал ничего такого, что могло бы вызвать ваше неудовольствие, — сказал я, — а на колени я становлюсь только перед богом.

— Я богиня и тоже имею на это право! — воскликнула она, тряхнув каштановыми кудрями, и покраснела. — Всякий мужчина, который приближается ко мне настолько, что я могу задеть его юбкой, обязан стоять передо мной на коленях!

— Ну ладно, я так и быть готов просить у вас прощения, хотя клянусь, не знаю за что, — отвечал я. — Но всякие театральные жесты я оставляю другим.

— Ах, Дэви! — сказала она. — А если я вас попрошу?

Я подумал, что напрасно вступил с ней в спор, да еще по такому пустому поводу, ведь женщина все равно что неразумное дитя.

— Мне это кажется ребячеством, — сказал я, — недостойным того, чтобы

вы об этом просили, а я исполнял такую просьбу. Но так и быть, я согласен, и если на мне будет пятно, то по вашей вине.

С этими словами я добросовестно стал на колени.

— То-то! — воскликнула она. — Вот подобающая поза, к которой я и старалась вас принудить. — Тут она крикнула: — Ловите! — бросила мне сложенную записочку и со смехом выбежала из комнаты.

На записке не было ни числа, ни обратного адреса.

"Дорогой мистер Дэвид, — говорилось в ней, — я все время узнаю про ваши дела от моей родственницы мисс Грант и радуюсь за вас. Я чувствую себя прекрасно и живу как нельзя лучше, у добрых людей, но вынуждена скрываться, хотя надеюсь, что мы с вами снова увидимся. Моя милая родственница, которая любит нас обоих, рассказала мне, какой вы верный друг. Она велела мне написать эту записку и прочитала ее. Прошу вас повиноваться ей во всем и остаюсь вашим верным другом, Катрионой Макгрегор Драммонд.

P.S. Не повидаете ли вы мою родственницу Аллардайс?"

Как выражаются военные, это был немалый ратный подвиг, и все же я, повинувшись ее приказу, отправился прямо в Дин. Но странно, старуху словно подменили, из нее теперь можно было веревки вить. Каким образом мисс Грант удалось этого достичь, ума не приложу; но как бы то ни было, я уверен, она не решилась выступить открыто, поскольку ее отец был замешан в этом деле. Ведь это он убедил Катриону скрывать или, вернее, не возвращаться к ее родственнице" и устроил ее в семействе Грегори, людей честных и очень ему преданных, которым она тем более могла довериться, что они были из ее же клана и рода. У них она тайно жила до тех пор, пока все не созрело окончательно, после чего они помогли ей вызволить отца из тюрьмы, а когда его выпустили, она снова тайно вернулась к ним. Так Престонгрэндж обрел свое оружие и воспользовался им; при этом ни словечка не просочилось наружу о его знакомстве с дочерью Джемса Мора. Разумеется, шепотом передавались кое-какие слухи о побеге этого человека, пользовавшегося дурной славой; но правительство прибегло к подчеркнутой строгости, одного из надзирателей высекли, лейтенант гвардии (мой бедный друг Дункансби) был разжалован в рядовые, а что до Катрионы, то все мужчины были очень рады, что ее вину обошли молчанием.

Я никак не мог уговорить мисс Грант передать ответную записку. "Нет,

— говорила она, когда я начинал настаивать, — не хочу, чтобы Кэтрин узнала, какой у вас твердый лоб". Выносить это было тем труднее, что она, как я знал, виделась с моей маленькой подружкой чуть ли не каждый день и рассказывала ей обо мне всякий раз, как я (по ее выражению) «был умником». Наконец она благоволила пожаловать меня, как она сказала, своей милостью, которая мне скорей показалась насмешкой. Право, она была надежным, можно сказать, неукротимым другом всякому, кого любила, а среди них первое место занимала одна дряхлая болезненная аристократка, почти слепая и очень остроумная, которая жила на верхнем этаже дома, стоявшего в узком переулке, держала в клетке целый выводок коноплянок и с утра до ночи принимала гостей. Мисс Грант любила водить меня туда и заставляла развлекать старуху

рассказами о моих злоключениях; мисс Тибби Рэмси (так ее звали) была со мной необычайно ласкова и рассказала мне немало полезного о людях старой Шотландии и о делах минувших лет. Надо сказать, что из ее окна — так узок был переулок, всего каких-нибудь три шага в ширину, — можно было заглянуть в решетчатое окошко, через которое освещалась лестница в доме напротив.

Однажды мисс Грант под каким-то предлогом оставила меня там вдвоем с мисс Рэмси. Помню, мне показалось, что эта дама рассеянна и чем-то озабочена. Да и самому мне вдруг стало не по себе, потому что окно, вопреки обыкновению, было открыто, а день выдался холодный. И вдруг до меня долетел голос мисс Грант.

— Эй, Шос! — крикнула она. — Высуньтесь-ка в окно и поглядите, кого я вам привела!

Мне кажется, я в жизни не видал ничего прекраснее. Весь узкий переулок тонул в прозрачной тени, где все было отчетливо видно на фоне черных от копоти стен; и в зарешеченном оконце я увидел два улыбающихся лица — мисс Грант и Катрионы.

— Ну вот! — сказала мисс Грант. — Я хотела, чтобы она увидела вас во всем блеске, как та девушка в Лаймкилнсе. Пускай полюбуется, что я сумела из вас сделать, когда взялась за это всерьез!

Я вспомнил, что в тот день она особенно придирчиво осматривала мое платье; вероятно, не менее строгому осмотру подверглась и Катриона. Мисс Грант, такая веселая и умная, удивительно много внимания уделяла одежде.

— Катриона! — едва вымолвил я.

Она же не произнесла ни звука, только махнула рукой и улыбнулась мне, после чего ее сразу увели от окна.

Едва она скрылась, я бросился вниз, но дверь была заперта; я побежал назад к мисс Рэмси, крича, чтобы она дала мне ключ, но с таким же успехом я мог бы взывать на скале к развалинам замка. Она сказала, что дала слово, и мне надо быть умником. Взломать дверь было невозможно, даже если пренебречь всеми приличиями; не мог я и выпрыгнуть в окно, так как оно было на высоте седьмого этажа. Мне оставалось лишь, вытянув шею, глядеть из окна и ждать, пока они снова покажутся на лестнице. Я только и увидел две головки, забавно сидевшие на юбках, словно на подушечках для булавок. Катриона даже не взглянула вверх на прощание; сделать это ей не позволила (как я узнал после) мисс Грант, сказав, что люди выглядят особенно непривлекательно, когда на них смотрят сверху вниз.

Вскоре меня выпустили, и по дороге домой я стал укорять мисс Грант в жестокости.

— Мне жаль, что вы так разочарованы, — сказала она с притворной скромностью. — А я вот очень довольна. Вы выглядели лучше, чем я опасалась. Когда вы появились в окне — только смотрите, не зазнавайтесь! — у вас был вид блестящего молодого человека. Но не забывайте, Катриона не могла видеть, какой у вас твердый лоб, — добавила она, как бы стараясь меня ободрить.

— Ах, да оставьте в покое мой лоб! — воскликнул я. — Он ничуть не тверже, чем у других.

— И даже мягче, чем у некоторых, — сказала она. — Но я ведь говорю притчами, как иудейский пророк.

— Неудивительно, что их побивали камнями, — заметил я. — Но как вы, несчастная, могли это сделать? Зачем вам было подвергать меня такой пытке.

— Любовь, как и человек, нуждается в пище, — ответила она.

— О Барбара, дайте мне насмотреться на нее! — взмолился я. — Вам это ничего не стоит... Вы видите ее когда захотите... Дайте мне хоть полчаса.

— Кто руководит вашей любовью, вы или я? — спросила она, и так как я продолжал требовать своего, прибегла к крайнему средству: стала передразнивать мой голос, когда я выкрикнул имя Катрионы, и таким образом несколько дней продержала меня в повиновении.

О судьбе нашего прошения не было ни слуху, ни духу, во всяком случае, я о нем ничего не знал. Насколько мне теперь известно, Престонгрэндж и его светлость верховный судья знали кое-что, но притворялись, будто ничего не слышали; как бы то ни было, они держали дело в тайне, и публика ничего не узнала; а когда настал срок, ненастный день 8 ноября, бедняга Джемс из Глена под вой ветра и шум дождя был законным порядком повешен в Леттерморе, близ Балахулиша.

Вот чем кончились все мои попытки повлиять на политику! Невинные гибли до Джемса и, вероятно, будут гибнуть впредь (несмотря на всю нашу мудрость) до скончания времен. И до скончания времен молодые люди, еще не привыкшие к коварству жизни и людей, будут бороться, как боролся я, и решаться на героические поступки, и подвергать себя опасности; а ход событий будет отбрасывать их прочь, неотвратимый, как армия на марше. Джемса повесили; а я жил в доме Престонгрэнджа и испытывал к нему благодарность за отеческое внимание. Его повесили. И подумать только — встретив на улице мистера Саймона, я поспешил снять перед ним шляпу, как примерный мальчик перед учителем. Его повесили, добившись этого хитростью и жестокостью, а мир продолжал жить и ничуть не изменился; и негодяи, составившие этот ужасный заговор, считались благопристойными, добрыми, почтенными отцами семейства, ходили в церковь и причащались святых даров!

Но я по-своему смотрел на это грязное дело, которое называется политикой: я увидел ее с изнанки, где она черна, как могила, и на всю жизнь излечился от желания вновь принять в ней участие. Я мечтал пойти по простому, тихому, мирному пути, держась подальше от опасностей и соблазнов, грозящих запятнать мою совесть. Ведь оглядываясь назад, я видел, что в конце концов ничего не достиг; столько было громких слов и благих намерений, но все попусту.

25 числа того же месяца из Лита отплывал корабль, и неожиданно мне предложили собрать вещи и ехать в Лейден. Престонгрэнджу я, разумеется, не сказал ни слова: и так уж я слишком долго злоупотреблял его гостеприимством и ел за его столом. Но с его дочерью я был более откровенен и сетовал на судьбу, жалуясь, что меня посылают за границу, и твердя, что, если она не

позволит попрощаться с Катрионой, я в последнюю минуту откажусь ехать.

— Я ведь дала вам совет, не так ли? — спросила она.

— Конечно, — ответил я. — И, кроме того, я не забыл, что многим обязан вам и что мне ведено вам повиноваться. Но признайтесь сами, ведь вы слишком любите шутить, чтобы вам можно было до конца довериться.

— Вот что я вам скажу, — заявила она. — Будьте на борту в девять часов утра. Корабль отплывает только в час. Не отпускайте шлюпку. И если вас не удовлетворит мой прощальный привет, можете сойти на берег и сами искать Кэтрин.

Больше я ничего не мог из нее вытянуть, и мне пришлось удовольствоваться этим.

Наконец настал день, когда нам с ней предстояло расстаться. Мы очень подружились за это время, и она столько для меня сделала; я не спал всю ночь, думая о том, как мы расстанемся, а также о чаевых, которые мне предстояло раздать слугам. Я знал, что она считает меня слишком застенчивым, и хотел доказать ей, что это не так. Да и вообще теперь, когда я испытывал к ней такую горячую и, надеюсь, взаимную привязанность, всякая отчужденность могла бы показаться просто невежливой. Поэтому я собрался с духом, заранее выбрал слова и, когда мы остались одни в последний раз, смело попросил разрешения поцеловать ее на прощанье.

— Удивляюсь, как вы могли до такой степени забытья, мистер Бэлфур, — сказала она. — Я что-то не припоминаю, чтобы давала вам повод так истолковать наше знакомство.

Я стоял перед ней столбом, не зная, что подумать, а тем более сказать, как вдруг она обхватила меня за шею и подарила мне самый нежный поцелуй на свете.

— Ах, вы совершенный ребенок! — воскликнула она. — Да разве я допущу, чтобы мы расстались, как чужие? И если я не могу в вашем присутствии и на пять минут сохранить серьезность, это не мешает мне любить вас всем сердцем. Только взгляну на вас, и вся я уже полна любовью и смехом! А теперь, дабы завершить ваше образование, вот вам совет, который очень скоро вам пригодится. Никогда не просите женщин. Они все равно ответят «нет». Бог еще не создал девушки, которая устояла бы перед этим искушением. Богословы говорят, что над женщиной тяготеет Евино проклятие: она не сказала «нет», когда дьявол предложил ей яблоко, и теперь ее дочери не могут сказать ничего другого.

— Поскольку я скоро потеряю свою милую учительницу... — начал я.

— Вот истая любезность!

И она присела.

— Я задам вам один вопрос. Можно ли попросить девушку выйти за меня замуж?

— А по-вашему, можно жениться и без этого? — спросила она. — Или, может быть, вы станете дожидаться, пока она сама сделает вам предложение?

— Вот видите, вы не умеете быть серьезной, — сказал я.

— Я буду очень серьезна в одном, Дэвид, — сказала она. — Я всегда

останусь вам другом.

Наутро, когда я сел в седло, все четыре дамы стояли у того самого окна, из которого мы недавно смотрели на Катриону, выкрикивали слова прощания и махали платками мне вслед. Я знал, что одна из четырех искренне опечалена; и при этой мысли, когда я вспомнил, как впервые подошел к этой двери три месяца назад, грусть и благодарность смешались в моей душе.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ОТЕЦ И ДОЧЬ

ГЛАВА XXI ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОЛЛАНДИЮ

Корабль стоял на одном якоре далеко от литского причала, и пассажиры должны были добираться к нему на шлюпках. Это было нетрудно, так как стоял мертвый штиль, день выдался морозный и облачный и туман клубился над самой водой. Корпус корабля, когда я подплывал к нему, был скрыт в тумане, но высокие мачты искрились на солнце, словно отлитые из огня. Этот торговый корабль, большой и удобный, с несколько тупым носом, был тяжело нагружен солью, соленой семгой и тонкими белыми бумажными чулками, предназначенными на продажу в Голландии. На борту меня встретил капитан — некий Сэнг (кажется, из Лесмахаго), очень приветливый, добродушный старый моряк, хотя в тот миг он, пожалуй, слишком много суетился. Кроме меня, никто из пассажиров еще не прибыл, и меня оставили на палубе, где я расхаживал взад и вперед, всматриваясь в даль и раздумывая, каким же будет обещанное мне прощание.

Эдинбург и Пентлендские холмы рисовались надо мной как бы в туманном сиянии, время от времени затмеваемые облаками; на месте Лита виднелись лишь макушки труб, а на поверхности воды, где стлался туман, вообще ничего не было видно. Вдруг послышался плеск весел, и вскоре, словно вынырнув из дыма, клубящегося над костром, показалась лодка. На корме сидел мрачный человек, закутанный от холода в кусок парусины, а рядом с ним виднелась стройная, нежная, изящная фигурка девушки, и у меня дрогнуло сердце. Я едва успел перевести дух и приготовиться к встрече с нею, как она уже с улыбкой ступила на палубу, и я отвесил ей самый изысканный поклон, который и сравнить нельзя было с тем поклоном, что я несколько месяцев назад отдал этой особе. Без сомнения, оба мы сильно изменились: она стала выше ростом, заметно вытянулась, как чудесное молодое деревце. У нее появилась милая застенчивость, которая так к ней шла, и она была исполнена достоинства и женственности; рука одной и той же волшебницы поработала над нами, и мисс Грант обоим нам придала блеск, хотя красота была присуща лишь одной.

У обоих вырвались почти одинаковые восклицания, каждый был уверен, что другой приехал проститься, но тотчас же выяснилось, что мы едем вместе.

— Так вот почему Барби ничего мне не сказала! — воскликнула она и

сразу вспомнила, что при ней письмо, которое дано ей с условием, чтобы она вскрыла его не ранее, чем ступит на борт. В конверт была вложена записка и для меня, где говорилось:

"Дорогой Дэви! Ну, как вам понравился мой прощальный привет? И что вы скажете о своей попутчице? Поцеловали вы ее или только попросили разрешения? Я чуть было не кончила на этом свое письмо, но тогда цель моего вопроса едва ли была бы достигнута; а самой мне ответ известен на собственном опыте. Итак, мысленно впишите сюда мой добрый совет. Не будьте слишком робким, но ради бога не пытайтесь напускать на себя развязность, это вам совсем не идет.

Остаюсь вашим любящим другом и наставницей Барбарой Грант".

Вырвав листок из записной книжки, я написал ответ, исполненный благодарности, сложил его вместе с письмом от Катрионы и запечатал своей новой печатью с гербом Бэлфуров и отдал слуге Престонгрэнджа, ждавшему в моей лодке.

Теперь, наконец, мы могли наглядеться друг на друга, так как до сих пор, повинувшись какому-то взаимному побуждению, мы избегали обмениваться взглядами, пока снова не пожали друг другу руки.

— Катриона! — сказал я. Но на этом все мое красноречие иссякло.

— Вы рады меня видеть? — спросила она.

— Об этом незачем и спрашивать, — ответил я. — Мы слишком большие друзья, чтобы попусту тратить слова.

— Правда, лучше этой девушки нет никого на свете? — воскликнула она.

— В жизни не встречала такой красавицы, такой чистой души.

— И все же Эпин интересуется ее не больше, чем прошлогодний снег, — заметил я.

— Ах, она и в самом деле так сказала! — воскликнула Катриона. — А все-таки она взяла меня к себе и обласкала ради моего честного имени и благородной крови, которая течет в моих жилах.

— Сейчас я вам все объясню, — сказал я. — Каких только лиц не бывает на свете. Вот у Барбары такое лицо, что стоит только взглянуть на него, и всякий придет в восхищение и поймет, что она чудесная, смелая, веселая девушка. А ваше лицо совсем другое, я и сам до сегодняшнего дня не знал по-настоящему, какое оно. Вы не можете себя видеть и оттого меня не понимаете, но именно ради вашего лица она взяла вас к себе и обласкала. И всякий на ее месте сделал бы то же самое.

— Всякий? — переспросила она.

— Всякий на всем божьем свете! — отвечал я.

— Так вот почему меня взяли солдаты из замка! — воскликнула она.

— Это Барбара научила вас расставлять мне ловушки, — заметил я.

— Ну уж, что ни говорите, а она научила меня еще кое-чему. Она мне многое объяснила насчет мистера Дэвида, рассказала обо всех его дурных чертах и о том, что есть в нем кое-что и хорошее, — сказала Катриона с улыбкой. — Она рассказала мне про мистера Дэвида все, умолчала только, что он поплывет со мной на одном корабле. Кстати, куда вы плывете?

Я рассказал.

— Что ж, — проговорила она, — несколько дней мы проведем вместе, а потом, наверное, простимся навек! Я еду к своему отцу в город, который называется Гелвоэт, а оттуда во Францию, мы будем там жить в изгнании вместе с вождями нашего клана.

В ответ я лишь что-то промычал, потому что при упоминании о Джемсе Море у меня всегда пресекался голос.

Она сразу это заметила и угадала мои мысли.

— Скажу вам одно, мистер Дэвид, — заявила она. — Конечно, двое из моих родичей обошлись с вами не совсем хорошо. Один из них — мой отец Джемс Мор, а второй — лорд Престонгрэндж. Престонгрэндж оправдался сам или с помощью своей дочери. А мой отец Джемс Мор... Вот что я вам скажу: он сидел в тюрьме, закованный в кандалы. Он честный, простой солдат и простой, благородный шотландец. Ему вовек не понять, чего они добиваются. Но если б он понял, что это грозит несправедливостью молодому человеку вроде вас, он бы лучше умер. И ради ваших дружеских чувств ко мне я прошу вас: простите моего отца и мой клан за ошибку.

— Катриона, — сказал я, — мне незачем знать, что это была за ошибка. Я знаю только одно: вы пошли к Престонгрэнджу и на коленях умоляли его сохранить мне жизнь. Конечно, я понимаю, вы пошли к нему ради своего отца, но ведь вы просили и за меня. Я просто не могу об этом говорить. О двух вещах я не могу даже думать: о том, как вы меня осчастливили, когда назвали себя моим другом, и как просили сохранить мне жизнь. Не будем же больше никогда говорить о прощении и обидах.

После этого мы постояли немного молча — Катриона потупила глаза, а я смотрел на нее, — и прежде чем мы заговорили снова, с северо-запада потянул ветерок, и матросы принялись ставить паруса и поднимать якорь.

Кроме нас с Катрионой, на борту было еще шесть пассажиров, так что места в каютах едва хватало. Трое были степенные торговцы из Лита, Керколди и Данди, плывшие по какому-то делу в Верхнюю Германию. Четвертый — голландец, возвращавшийся домой, остальные — почтенные жены торговцев; попечению одной из них была вверена Катриона. Миссис Джебби (так ее звали), на наше счастье, плохо переносила морское путешествие и целыми сутками лежала пластом. К тому же все пассажиры на борту «Розы» были люди пожилые, кроме нас да еще бледного мальчугана, который, как сам я некогда, прислуживал за едой; и получилось так, что мы с Катрионой были всецело предоставлены самим себе. Мы сидели рядом за столом, и я с наслаждением подавал ей блюда. На палубе я подстилал для нее свой плащ; и поскольку для этого времени года погода стояла на редкость хорошая, с ясными, морозными днями и ночами, с ровным легким ветерком, так что, пока судно шло через все Северное море, команде не пришлось даже прикасаться к парусам, мы сидели на палубе (лишь изредка прохаживаясь, чтобы согреться) от утренней зари до восьми или девяти вечера, когда на небе загорались яркие звезды. Торговцы или капитан Сэнг иногда с улыбкой поглядывали на нас, перебрасывались шуткою и снова предоставляли нас самим себе; большую же часть времени они

были поглощены, рыбой, ситцем и холстом или подсчитывали, скоро ли доедут, нимало не интересуясь заботами, которыми были поглощены мы.

Поначалу нам было о чем поговорить и мы казались себе необычайно остроумными; я немножко строил из себя светского франта, а она (мне кажется) играла роль молодой дамы, кое-что повидавшей на своем веку. Но вскоре мы стали держаться проще. Я отбросил высокопарный, отрывистый английский язык (которым владел не слишком хорошо) и забывал о поклонах и расшаркиваниях, которым меня обучили в Эдинбурге; она, со своей стороны, усвоила со мной дружеский тон; и мы жили бок о бок, как близкие родичи, только я испытывал к ней чувства более глубокие, чем она ко мне. К этому времени мы чаще стали молчать, чему оба были очень рады. Иногда она рассказывала мне сказки, которых знала великое множество, наслушавшись их от моего рыжего знакомца Нийла. Рассказывала она очень мило, и сами сказки были милые, детские; но мне всего приятней было слышать ее голос и думать, что вот она рассказывает мне, а я слушаю. Иногда же мы сидели молча, не обмениваясь даже взглядами, и наслаждались одной лишь близостью друг к другу. Конечно, я могу говорить только о себе. Не уверен даже, что я спрашивал себя, о чем думает девушка, а в собственных мыслях боялся признаться даже самому себе. Теперь уже незачем это скрывать ни от себя, ни от читателя: я был влюблен без памяти. Она затмила в моих глазах солнце. Я, уже говорил, что в последнее время она стала выше ростом, тянулась вверх, как всякое юное, здоровое существо, была полна сил, легкости и бодрости; мне казалось, что она двигалась, как юная лань, и стояла, как молодая березка в горах. Только бы сидеть с ней рядом на палубе, большего я не желал; право, я ни на минуту не задумывался о будущем и был до того счастлив настоящим, что не хотел ломать голову над тем, как быть дальше; лишь изредка я, не устояв перед искушением, задерживал ее руку в своей. Но при этом я, как скряга, оберегал свое счастье и не хотел рискнуть ничем.

Обычно мы говорили каждый о себе или друг о друге, так что если бы кто-нибудь вздумал нас подслушивать, он счел бы нас самыми большими себялюбцами на свете. Однажды во время такого разговора речь зашла о друзьях и дружбе, и мы, как вскоре оказалось, вступили на опасный путь. Мы говорили о том, какое чудесное это чувство — дружба и как мало мы о ней знали раньше, о том, как благодаря ей жизнь словно обновляется, и делали тысячи подобных же открытий, которые с сотворения мира делают молодые люди в нашем положении. Затем речь зашла о том, что, как это ни странно, когда друзья встречаются впервые, им кажется, будто жизнь только начинается, а ведь до этого каждый прожил на свете; столько лет, попусту теряя время среди других людей.

— Я сделала совсем немного, — говорила она, — и могла бы рассказать всю свою жизнь в нескольких словах. Я ведь всего только девушка, а, что ни говорите, много ли событий может произойти в жизни девушки? Но в сорок пятом я отправилась в поход вместе со своим кланом. Люди шли с саблями и кремневыми ружьями, некоторые большими отрядами, в одинаковых пледах, и они не теряли времени зря, скажу я вам. Среди них были и шотландцы с

равнины, рядом скакали их арендаторы и трубачи верхом на конях, и торжественно звучали боевые волынки. Я ехала на горской лошадке по правую руку от своего отца Джемса Мора и от самого Гленгайла. Никогда не забуду, как Гленгайл поцеловал меня в щеку и сказал: «Моя родственница, вы единственная женщина из всего клана, которая отправилась с нами», — а мне всего-то было двенадцать лет. Видела я и принца Чарли, ах, до чего ж он был красив, глаза голубые-голубые! Он пожаловал меня к руке перед всей армией. Да, это были прекрасные дни, но все походило на сон, а потом я вдруг проснулась. И вы сами знаете, что было дальше; пришли ужасные времена, нагрянули красные мундиры, и мой отец с дядьями засел в горах, а я носила им еду поздней ночью или на рассвете, с первыми петухами. Да, я много раз ходила ночью, и в темноте сердце у меня так сильно стучало от страха. Просто чудо, как это я ни разу не встретила с привидением; но, говорят, девушке их нечего бояться. Потом мой дядя женился, и это было совсем ужасно. Ту женщину звали Джин Кэй, и я все время была с ней в ту ночь в Инверснейде, когда мы похитили ее у подруг по старинному обычаю. Она сама не знала, чего хотела: то она была готова выйти за Роба, то через минуту и слышать о нем не желала. В жизни не видала такой полоумной, не может же человек говорить то да, то нет. Что ж, она была вдова, а вдовы все плохие.

— Катриона! — сказал я. — С чего вы это взяли?

— Сама не знаю, — ответила она. — Так мне подсказывает сердце. Выйти замуж во второй раз! Фу! Но такая уж она была — вышла вторым браком за моего дядю Робина, некоторое время ходила с ним в церковь и на рынок, а потом ей это надоело или подруги отговорили ее, а может, ей стало стыдно. Ну и она сбежала обратно к своим, сказала, будто мы держали ее силой, и еще много всего, я вам и повторить не решусь. С тех пор я стала плохо думать о женщинах. Ну, а потом моего отца Джемса Мора посадили в тюрьму, и остальное вы знаете не хуже меня.

— И у вас никогда не было друзей? — спросил я.

— Нет, — ответила она. — В горах я водила компанию с несколькими девушками, но дружбой это не назовешь.

— Ну, а мне и вовсе рассказывать не о чем, — сказал я. — У меня никогда не было друга, пока я не встретил вас.

— А как же храбрый мистер Стюарт? — спросила она.

— Ах да, я о нем позабыл, — сказал я. — Но ведь он мужчина, а это — совсем другое дело.

— Да, пожалуй, — согласилась она. — Ну конечно же, это — совсем другое дело.

— И был еще один человек, — сказал я. — Сперва я считал его своим другом, но потом разочаровался.

Катриона спросила, кто же она такая.

— Это он, а не она, — ответил я. — Мы с ним были лучшими учениками в школе у моего отца и думали, что горячо любим друг друга. А потом он уехал в Глазго, поступил служить в торговый дом, который принадлежал сыну его троюродного брата, и прислал мне оттуда с оказией несколько писем, но скоро

нашел себе новых друзей, и, сколько я ему ни писал, он и не думал отвечать. Ох, Катриона, я долго сердился на весь род людской. Нет ничего горше, чем потерять мнимого друга.

Она принялась подробно расспрашивать меня о его наружности и характере, потому что каждого из нас очень интересовало все, что касалось другого; наконец в недобрый час я вспомнил, что у меня хранятся его письма, и принес всю пачку из каюты.

— Вот его письма, — сказал я, — и вообще все письма, какие я получал в жизни. Это — последнее, что я могу открыть вам о себе. Остальное вы знаете не хуже меня.

— Значит, мне можно их прочесть? — спросила она.

Я ответил, что, конечно, можно, если только ей не лень; тогда она отослала меня и сказала, что прочтет их от первого до последнего. А в пачке, которую я ей дал, были не только письма от моего неверного друга, но и несколько писем от мистера Кемпбелла, когда он ездил в город по делам, и, поскольку я держал всю свою корреспонденцию в одном месте, коротенькая записка Катрионы, а также две записки от мисс Грант: одна, присланная на скалу Басе, а другая — сюда, на борт судна. Но об этих двух записках я в ту минуту и не вспомнил.

Я мог думать только о Катрионе и сам не знал, что делаю; мне было даже все равно, рядом она или нет; я заболел ею, и какой-то чудесный жар пылал в моей груди днем и ночью, во сне и наяву. Поэтому я ушел на тупой нос корабля, пенивший волны, и не так уж спешил вернуться к ней, как могло бы показаться, — я словно бы растягивал удовольствие. По натуре своей я, пожалуй, не эпикуреец, но до тех пор на мою долю выпало так мало радостей в жизни, что, надеюсь, вы мне простите, если я рассказываю об этом слишком подробно.

Когда я снова подошел к ней, она вернула мне письма с такой холодностью, что сердце у меня сжалось, — мне почудилось, что внезапно порвалась связующая нас нить.

— Ну как, прочли? — спросил я, и мне показалось, что голос мой прозвучал неестественно, потому что я пытался понять, что ее огорчило.

— Вы хотели, чтобы я прочла все? — спросила Катриона.

— Да, — ответил я упавшим голосом.

— И последнее письмо тоже? — допытывалась она.

Теперь я понял, в чем дело; но все равно я не мог ей лгать.

— Я дал их вам все, не раздумывая, для того, чтобы вы их прочли, — сказал я. — Мне кажется, там нигде нет ничего плохого.

— А я иного мнения, — сказала она. — Слава богу, я не такая, как вы. Это письмо незачем было мне показывать. Его не следовало и писать.

— Кажется, вы говорите о вашем же друге Барбаре Грант? — спросил я.

— Нет ничего горше, чем потерять мнимого друга, — сказала она, повторяя мои слова.

— По-моему, иногда и сама дружба бывает мнимой! — воскликнул я. — Разве это справедливо, что вы вините меня в словах, которые капризная и взбалмошная девушка написала на клочке бумаги? Вы сами знаете, с каким

уважением я к вам относился и буду относиться всегда.

— И все же вы показали мне это письмо! — сказала Катриона. — Мне не нужны такие друзья. Я вполне могу, мистер Бэлфур, обойтись без нее... и без вас!

— Так вот она, ваша благодарность! — воскликнул я.

— Я вам очень обязана, — сказала она. — Но прошу вас, возьмите ваши... письма.

Она чуть не задохнулась, произнося последнее слово, и оно прозвучало, как бранное.

— Что ж, вам не придется меня упрашивать, — сказал я, взял пачку, отошел на несколько шагов и швырнул ее далеко в море. Я готов был и сам броситься следом.

До самого вечера я вне себя расхаживал взад-вперед по палубе. Какими только обидными прозвищами не наградил я ее в своих мыслях, прежде чем село солнце. Все, что я слышал о высокомерии жителей гор, бледнело перед ее поведением: чтобы молодую девушку, почти еще ребенка, рассердил такой пустячный намек, да еще сделанный ее ближайшей подругой, которую она так расхваливала передо мной! Меня одолевали горькие, злые, жестокие мысли, какие могут прийти в голову раздосадованному мальчишке. Если бы я действительно поцеловал ее, думал я, она, пожалуй, приняла бы это вполне благосклонно; и лишь потому, что это написано на бумаге, да еще шутливо, она так нелепо вспылила. Мне казалось, что прекрасному полу не хватает пронизательности, а достается из-за этого бедным мужчинам.

За ужином мы, как всегда, сидели рядом, но как все сразу переменялось! Она стала холодна, даже не смотрела в мою сторону, лицо у нее было каменное; я готов был избить ее и в то же время ползать у ее ног, но она не подала мне ни малейшего повода ни для того, ни для другого. Встав из-за стола, она тотчас окружила самыми нежными заботами миссис Джебби, о которой до сего дня почти не вспоминала. Теперь она, видно, решила наверстать упущенное и до конца плавания необычайно заботилась об этой старухе, а выходя на палубу, уделяла капитану Сэнгу гораздо больше внимания, чем мне казалось приличным. Конечно, капитан был вполне достойный человек и относился к ней, как к дочери, но я не мог вытерпеть, когда она бывала ласкова с кем-нибудь, кроме меня.

В общем, она ловко избегала меня и всегда была окружена людьми, так что мне долго пришлось ждать случая поговорить с ней; а когда случай наконец представился, я немногого достиг, в чем вы сейчас убедитесь сами.

— Не могу понять, чем я вас обидел, — сказал я. — Неужто это так серьезно, что вы не можете меня простить? Простите, умоляю вас!

— Мне не за что вас прощать, — сказала Катриона, роняя слова, как холодные мраморные шарики. — Я вам очень признательна за вашу дружбу.

И она чуть заметно присела.

Но я высказал не все, что приготовил, и не хотел отказываться от своего намерения.

— В таком случае вот что, — продолжал я. — Если я оскорбил вашу

скромность тем, что показал вам письмо, это не может касаться мисс Грант. Ведь она написала его не вам, а бедному, простому, скромному юноше, у которого могло бы хватить ума его не показывать. И если вы вините меня...

— Прошу вас больше не упоминать при мне об этой девушке, — сказала Катриона. — Я никогда не протяну ей руку, пускай хоть умрет. — Она отвернулась, потом снова посмотрела на меня. — Клянетесь вы навсегда порвать с ней? — воскликнула она.

— Уверяю вас, я никогда не смогу быть так несправедлив, — сказал я. — И так неблагодарен.

Теперь уже я сам отвернулся от нее.

ГЛАВА XXII ГЕЛВОЭТ

К концу плавания погода испортилась; ветер свистел в снастях, волны вздымались все выше, и корабль, борясь с ними, жалобно скрипел. Протяжные крики матроса, измерявшего лотом глубину, теперь почти не смолкали, потому что мы все время лавировали среди мелей. Часов в девять утра, когда в промежутке между двумя шквалами с градусом проглянуло зимнее солнце, я впервые увидел Голландию — крылья мельниц, цепочкой вытянувшихся вдоль берега, быстро вертелись под ветром. Я впервые видел эти нелепые махины и вдруг почувствовал, что я в чужом краю, где совсем иной мир и иная жизнь. Около половины двенадцатого мы бросили якорь на рейде Гелвоэтской гавани, куда порой прорывались волны, высоко вздымая корабль. Разумеется, все мы, кроме миссис Джебби, вышли на палубу, некоторые в плащах, другие — закутавшись в корабельную парусину, и держались за канаты, отпуская шуточки в подражание морским волкам.

Вскоре к борту, пятясь, как краб, осторожно причалила лодка, и ее хозяин что-то прокричал нашему капитану по-голландски. Капитан Сэнг с встревоженным видом повернулся к Катрионе; пассажиры столпились вокруг, и он объяснил нам, в чем дело. «Розе» предстояло идти в Роттердамский порт, куда остальные пассажиры очень торопились попасть, поскольку оттуда в тот же вечер отходила почтовая карета в Верхнюю Германию. Капитан сказал, что шторм пока еще не разыгрался вовсю и, если не терять времени, до порта можно добраться. Но Джеймс Мор должен был встретиться с дочерью в Гелвоэте, и капитану пришлось зайти сюда, чтобы высадить девушку, как это принято, в лодку. Лодка подошла, и Катриона была готова, но наш капитан и хозяин лодки оба боялись риска, и в то же время капитан не желал мешкать.

— Ваш отец едва ли будет доволен, если по нашей вине вы сломаете ногу, мисс Драммонд, — сказал он, — а тем более, если утонете. Послушайте меня и плывите вместе с нами в Роттердам. Вы сможете спуститься на паруснике по реке Маас до самого Брилле, а оттуда почтовой каретой вернетесь в Гелвоэт.

Но Катриона об этом и слышать не хотела. Она бледнела, стоило ей взглянуть на разлетающиеся во все стороны брызги, на зеленые — волны, которые то и дело перехлестывали через полубак и на подпрыгивающую

лодчонку; но она твердо решила исполнить то, что велел ей отец. «Так сказал мой отец, Джемс Мор» — вот было ее первое и последнее слово. Мне показалось пустой прихотью, что девушка хочет так буквально исполнить его приказ и не слушает добрых советов; однако в действительности у нее была на это очень веская причина, о которой она умолчала. Путешествовать на парусниках и в почтовых каретах очень удобно; но за это надо платить, а у нее только и было два шиллинга и три полпенни. Получилось так, что капитан и пассажиры не знали о скудости ее средств, а она была слишком горда, чтобы сказать об этом, и ее уговаривали понапрасну.

— Но вы же не говорите ни по-французски, ни по-голландски, — сказал кто-то.

— Это правда, — ответила она, — но с сорок шестого года за границей живет так много честных шотландцев, что я не пропаду, благодарю вас.

Во всем этом была такая милая деревенская простота, что некоторые засмеялись, другие же посмотрели на нее с еще большим сожалением, а мистер Джебби открыто возмутился. Видимо, он понимал, что, поскольку его жена согласилась опекать девушку, его долг — поехать с ней на берег и устроить ее там; однако он ни за что не согласился бы пропустить почтовую карету; и, по-моему, он пытался заглушить громкими криками голос совести. Во всяком случае, он обрушился на капитана Сэнга и заявил, что это позор, что пытаться покинуть сейчас корабль смерти подобно, да и нельзя бросить простодушную девушку в лодку, полную этих негодяев, голландских рыбаков, и покинуть ее на произвол судьбы. В этом я был с ним согласен; отведя в сторону помощника капитана, я попросил его отправить мои вещи на барже в Лейден, по адресу, который у меня был, после чего встал у борта и подал знак рыбакам.

— Я еду на берег вместе с молодой леди, капитан Сэнг, — сказал я. — Мне все равно, каким путем добираться до Лейдена.

С этими словами я спрыгнул в лодку, но так неловко, что упал на дно, увлекая за собой двоих рыбаков.

Из лодки прыжок казался еще опаснее, чем с корабля, который то вздымался над нами, то вдруг стремительно падал вниз, натягивая якорные цепи, и каждое мгновение угрожал нас потопить. Я уже начал жалеть о своей дурацкой выходке, совершенно уверенный, что Катриона не сможет спрыгнуть ко мне и меня высадят на берег в Гелвоозте одного, причем единственной моей наградой будет сомнительное удовольствие обнять Джемса Мора. Но я не принял в расчет храбрость этой девушки. Она видела, как я прыгнул, и, что бы ни творилось в ее душе, на лице ее не было колебаний; да, она не желала уступать в храбрости своему отвергнутому другу. Она вскочила на фальшборт, держась за штаг, и ветер раздувал ее юбки, отчего прыжок стал еще опасней, а нам открылись ее чулки гораздо выше, чем позволяло светское приличие. Она не мешкала ни минуты, и никто не успел бы вмешаться, даже если б захотел. Я тоже вскочил и расставил руки; корабль устремился вниз, хозяин лодки подвел ее ближе, чем позволяло благоразумие, и Катриона прыгнула. К счастью, мне удалось ее поймать и, так как рыбаки меня поддержали, я устоял на ногах. Она крепко ухватилась за меня, часто и глубоко дыша. Потом нас усадили на корме

возле рулевого, и она все еще держалась за меня обеими руками; лодка повернула к берегу, а капитан Сэнг и пассажиры в восторге кричали прощальные слова.

Катриона, едва придя в себя, сразу же молча разняла руки. Я тоже молчал; свист ветра и плеск волн все равно заглушили бы наши голоса; и хотя гребцы изо всех сил налегали на весла, лодка едва продвигалась вперед, так что «Роза» успела сняться с якоря и отплыть, прежде чем мы достигли устья гавани.

Едва мы очутились в спокойной воде, хозяин лодки, по скверной привычке всех голландцев, остановил гребцов и потребовал плату вперед. Он хотел получить с каждого пассажира два гульдена — что-то около трех или четырех шиллингов на английские деньги. Услышав это, Катриона пришла в волнение и подняла крик. Капитан Сэнг сказал, что надо уплатить всего один шиллинг, она нарочно спросила.

— Неужели вы думаете, я села в лодку, не справившись о цене? — кричала она.

Хозяин огрызнулся на жаргоне, в котором ругательства были английские, а все остальные слова голландские; в конце концов я, видя, что она вот-вот расплатится, незаметно сунул в руку негодяя шесть шиллингов, после чего он соблаговолит взять у нее еще шиллинг без особых пререканий. Я, конечно, был уязвлен и пристыжен. Мне нравятся бережливые люди, но нельзя же так горячиться; и, когда лодка тронулась снова, я довольно сухо осведомился у Катрионы, где ей назначена встреча с отцом.

— Я должна справиться о нем в доме у некоего Спротта, честного шотландского купца, — ответила она и выпалила, не переводя дыхания: — Благодарю вас от всей души, вы верный друг.

— Вы еще успеете поблагодарить меня, когда я доставлю вас к отцу, — сказал я, даже не подозревая, сколько в моих словах правды. — А я расскажу ему, какая у него послушная дочь.

— Не такая уж я послушная! — воскликнула она с горечью. — Кажется, у меня неверное сердце!

— И все же не многие совершили бы такой прыжок, только чтобы выполнить отцовский приказ, — заметил я.

— Нет, я не хочу вас так обманывать! — вскричала она. — Разве могла я остаться после того, как вы прыгнули? И кроме того, была еще одна причина.

И тут она, густо покраснев, призналась мне, как мало у нее денег.

— Всемогущий боже! — воскликнул я. — Что за нелепость, как же вас отпустили на континент с пустым кошельком? По-моему, это неблагородно, да, неблагородно!

— Вы забываете, что мой отец Джемс Мор беден, — сказала она. — Он изгнанник, его преследует закон.

— Но ведь не все же ваши друзья — изгнанники! — возразил я. — Разве это честно по отношению к людям, которым вы дороги? Разве это честно по отношению ко мне? И к мисс Грант, которая посоветовала вам ехать, а если бы услышала это, схватилась бы за голову? И к этим Грегори, у которых вы жили и которые так любили вас? Какое счастье, что я с вами! А вдруг ваш отец

почему-либо задержался, что стало бы с вами здесь, одной-одинешенькой в чужой стране? Подумать и то страшно.

— Я их всех обманула, — отвечала она. — Я им сказала, что у меня много денег. И ей тоже. Я не могла унижить перед ними Джемса Мора.

Позже я узнал, что она не только унизила бы, но и совершенно осрамила его, потому что эту ложь распустила не она, а ее отец, и ей поневоле пришлось лгать, чтобы не запятнать его честь. Но тогда я этого не знал, и мысль, что она брошена в нужде и могла подвергнуться страшным опасностям, приводила меня в ужас.

— Ну и ну, — сказал я. — Вам следовало быть разумнее.

Я оставил ее вещи в прибрежной гостинице и, впервые заговорив по-французски, справился, как найти дом Спротта, который оказался совсем недалеко, и мы отправились туда, по пути с любопытством осматривая город. В городе этом было немало такого, что могло привести в восхищение шотландцев: Повсюду каналы и зеленые деревья; дома стояли особняком и были из красивого розового кирпича, а у каждой двери — ступени и скамьи голубого мрамора, и весь город был такой чистенький, что хоть ешь прямо

— на мостовой. Спротта мы застали в гостиной с низким потолком, очень чисто убранной, украшенной фарфоровыми статуэтками, картинами и глобусом на бронзовой подставке; он сидел над своими счетными книгами. Он был румяный, от него так и веяло здоровьем, но я сразу угадал в нем мошенника; он встретил нас весьма нелюбезно и даже не пригласил сесть.

— Скажите, сэр, Джемс Мор Макгрегор сейчас в Гелвоэте? — спросил я.

— Впервые слышу это имя, — ответил он с досадой.

— Если вы так придирчивы, — сказал я, — позвольте спросить по-другому: где нам найти в Гелвоэте Джемса Драммонда, он же Макгрегор, он же Джемс Мор, в прошлом арендатор Инверонахилия?

— Сэр, — ответил он, — по мне место ему в аду, и я от души этого желаю.

— Вот эта молодая леди — его дочь, сэр, — сказал я, — и вы, вероятно, согласитесь, что в ее присутствии не подобает говорить о нем неуважительно.

— Мне нет дела ни до него, ни до нее, ни до вас! — грубо перебил меня Спротт.

— Позвольте, мистер Спротт, — сказал я, — эта молодая леди приехала из Шотландии, чтобы разыскать его, и ей, очевидно, по ошибке, дали ваш адрес. Видимо, произошло недоразумение, но мне кажется, все это серьезно обязывает вас и меня, хотя я лишь случайный ее спутник, помочь нашей соотечественнице.

— Вы что, за дурака меня считаете? — воскликнул он. — Говорю вам, я ничего не знаю, и плевать мне на него и на его дочку. Да будет вам известно, этот человек должен мне деньги.

— Весьма возможно, сэр, — сказал я, разъярясь теперь еще больше, чем он. — Зато я ничего вам не должен. Эта молодая леди под моим покровительством, а я не привык к такому обхождению и вовсе не намерен его терпеть.

С этими словами, сам не зная для чего, я шагнул к его столу; по счастливой

случайности, это был единственный довод, который мог на него подействовать. Его румяное лицо побледнело.

— Ради бога, сэр, не надо горячиться! — воскликнул он. — Право слово, я вовсе не хотел вас обидеть. Поверьте, сэр, я добрый, честный и веселый малый, ведь бояться нужно совсем не той собаки, которая лает. Послушать меня, так подумаешь, что я бог весть какой злой, а на деле — ничуть не бывало! В душе Сэнди Спротт добрый малый! Вы и не поверите, сколько я натерпелся неприятностей из-за вашего Мора.

— Все это прекрасно, сэр, — сказал я. — В таком случае я воспользуюсь вашей добротой и попрошу сообщить мне, когда вы в последний раз видели мистера Драммонда.

— Сделайте одолжение, сэр! — сказал он. — Только про эту молодую леди (мое ей нижайшее почтение!) он и думать забыл. Уж я-то его знаю, из-за него я не раз терял кучу денег. Он думает только о себе. Клан, король или дочь — плевать он на них хотел, ему лишь бы набить себе брюхо! Да и на своего доверенного ему тоже плевать. Потому что в известном смысле я считаюсь его доверенным. Мы с ним тут вместе обделываем одно дельце, и, кажется, оно дорого обойдется Сэнди Спротту. Этот человек, так сказать, мой компаньон, и право слово, понятия не имею, где он сейчас. Может быть, он приехал сюда, в Гелвоэт, сегодня утром, а может, он здесь уже целый год. Меня больше ничто не удивит, разве только одно: если он вдруг вернет мне мои деньги. Теперь вы видите, каково мое положение, и, сами понимаете, неохота мне соваться в дела этой молодой леди, как вы ее называете. Одно ясно: здесь ей оставаться нельзя. Подумайте, сэр, ведь я человек холостой! И если я пущу ее в дом, вполне может статься, что этот дьявол заставит меня жениться на ней, когда объявится.

— Хватит болтать! — оборвал я его. — Я отвезу эту леди к более достойным друзьям. Дайте мне перо, чернила и бумагу, я оставлю для Джемса Мора адрес моего доверенного в Лейдене. Через меня он сможет узнать, где ему искать дочь.

Я написал и запечатал письмо; пока я занимался этим, Спротт сам любезно предложил позаботиться о багаже мисс Драммонд и даже послал за ним в гостиницу. Я дал ему два доллара в возмещение расходов, а он выдал мне расписку.

Затем я подал Катрионе руку, и мы покинули дом этого негодяя. Она за все время не вымолвила ни слова, предоставив мне решать и говорить за нее; я же, со своей стороны, старался не смотреть на нее, чтобы не смущать; и даже теперь, хотя сердце мое еще пылало от стыда и негодования, я усилием воли сохранял полнейшую непринужденность.

— А теперь, — сказал я, — пойдете обратно в ту гостиницу, где говорят по-французски, пообедаем и узнаем, когда отправляется карета в Роттердам. Я не успокоюсь, пока снова не передам вас с рук на руки миссис Джебби.

— Пожалуй, так и придется сделать, — сказала Катриона. — Хотя уж кто-кто, а она этому не обрадуется. И не забудьте, что у меня всего шиллинг и три полпенни.

— А вы, — сказал я, — не забудьте, что, слава богу, я с вами.

— Я только об этом все время и думаю, — сказала она и, как мне показалось, крепче оперлась на мою руку. — Вы мой единственный настоящий друг.

ГЛАВА XXIII СТРАНСТВИЯ ПО ГОЛЛАНДИИ

Длинный фургон со скамьями внутри за четыре часа довез нас до славного города Роттердама. Уже давно стемнело, но ярко освещенные улицы кишели невиданными, диковинными людьми — бородатыми евреями, чернокожими и толпами крикливо разряженных девиц, которые хватали моряков за рукав; от разноголосого шума кружилась голова, и, что было всего неожиданней, сами эти люди еще более удивлялись нам, чем мы — им. Я постарался придать своему лицу самое солидное выражение, чтобы не уронить достоинства Катрионы и своего собственного; но, сказать по правде, я чувствовал себя потерянным, и сердце тревожно билось у меня в груди. Несколько раз я спрашивал, где гавань и где стоит корабль «Роза»; но либо мне попадались люди, говорившие лишь по-голландски, либо сам я слишком плохо объяснялся по-французски. Свернув наугад в какую-то улицу, я увидел ярко освещенные дома, в дверях и окнах которых мелькали толстые раскрашенные женщины; они толкали нас со всех сторон и издевались над нами, когда мы проходили мимо, и я был рад, что мы не понимаем их языка. Вскоре мы вышли на площадь перед гаванью.

— Теперь все будет хорошо! — воскликнул я, увидев мачты. — Давайте походим здесь, у гавани. Нам уж, наверно, встретится кто-нибудь, кто знает по-английски, а если повезет, увидим и сам корабль.

И нам повезло, хотя не так, как я предполагал: около девяти часов вечера мы столкнулись, как вы думаете, с кем? С капитаном Сэнгом. Он сказал, что его судно совершило рейс в необычайно короткое время, и ветер не стихал, пока они не вошли в порт; а теперь все пассажиры уже отправились дальше. Догонять супругов Джебби, уехавших в Верхнюю Германию, нечего было и думать, а больше мы не знали тут никого, кроме самого капитана Сэнга. Тем приятней нам было его дружелюбие и готовность помочь. Он вызвался найти среди торговцев какую-нибудь хорошую, скромную семью, где Катриону приютили бы, пока «Роза» стоит под погрузкой, а потом он охотно отвезет ее назад в Лит бесплатно и сам доставит к мистеру Грегори; пока же он повел нас в трактир, открытый допоздна, и предложил поужинать, что было отнюдь не лишним. Держался он, как я уже сказал, весьма дружелюбно, но, что меня очень удивило, все время шумел, и причина этого вскоре стала ясна. В трактире он потребовал рейнвейна и, выпив довольно много, вскоре совершенно захмелел. Как это бывает со всеми, и особенно с его собратьями по грубому ремеслу, во хмелю остатки здравого смысла и благопристойности его покинули; он начал так неприлично шутить над Катрионой и насмехаться над тем, какой вид у нее был, когда она прыгала в лодку, что мне оставалось только поскорей увести ее.

Она вышла из трактира, крепко прижимаясь ко мне.

— Уведите меня отсюда, Дэвид, — сказала она. — Будите вы моим опекуном. С вами я ничего не боюсь.

— И правильно делаете, моя маленькая подружка! — воскликнул я, тронутый до слез.

— Куда же вы меня поведете? — спросила она. — Только не покидайте меня... никогда не покидайте.

— А в самом деле, куда я вас веду? — сказал я, останавливаясь, потому что шел, как слепой. — Надо подумать. Но я не покину вас, Катриона. Пусть бог покинет меня самого, пусть он ниспошлет мне самую страшную кару, если я обману вас или поступлю с вами ДУРНО.

Вместо ответа она еще крепче прижалась ко мне.

— Вот, — сказал я, — самое тихое местечко, какое можно найти в этом суетливом, словно улей, городе. Давайте сядем под тем деревом и подумаем, что делать дальше.

Дерево это (мне кажется, я никогда его не забуду) стояло у самой гавани. Была уже ночь, но окна домов и иллюминаторы недвижимых, совсем близких от нас кораблей светились; позади нас сверкал город, и над ним висел гул тысяч шагов и голосов; а у берегов было темно, и оттуда слышался лишь плеск воды под корабельными бортами. Я расстелил на большом камне плащ и усадил Катриону; она не хотела отпускать меня, потому что все еще дрожала после недавних оскорблений, но мне нужно было поразмыслить спокойно, поэтому я высвободился и стал расхаживать перед ней взад-перед, бесшумно, как контрабандист, мучительно пытаюсь найти какой-нибудь выход из положения. Мысли мои разбегались, и вдруг я вспомнил, что в спешке забыл уплатить по счету в трактире и расплачиваться пришлось Сэнгу. Тут я громко рассмеялся, решив, что поделом ему, и в то же время безотчетным движением ощупал карман, где у меня лежали деньги. Скорее всего, это случилось на той улице, где женщины толкали нас и осыпали насмешками — так или иначе кошелек исчез.

— Мне кажется, вы сейчас думаете о чем-то очень приятном, — сказала Катриона, видя, что я остановился.

Теперь, когда мы очутились в нелегком положении, мысли мои вдруг прояснились, и я, видя все, как через увеличительное стекло, понял, что разбираться в средствах не приходится. У меня не осталось ни одной монетки, но в кармане лежало письмо к лейденскому торговцу; добраться же до Лейдена мы теперь могли только одним способом: пешком.

— Катриона, — сказал я. — Я знаю, вы храбрая и, надеюсь, сильная девушка, — можете ли вы пройти тридцать миль по ровной дороге?

Как потом выяснилось, нам надо было пройти едва две трети этого пути, но в ту минуту мне казалось, что именно таково было расстояние до Лейдена.

— Дэвид, — сказала она, — если вы будете рядом, я пойду куда угодно и сделаю что угодно. Но мне страшно. Не бросайте меня в этой ужасной стране одну, и я на все готова.

— Тогда в путь, и будем идти всю ночь, — предложил я.

— Я сделаю все, что вы скажете, — отвечала она, — и не стану ни о чем спрашивать. Я поступила дурно, заплатила вам за добро черной неблагодарностью, но теперь я буду вам во всем повиноваться! И я согласна, что мисс Барбара Грант лучше всех на свете, — добавила она. — Разве могла она вас отвергнуть!

Я ровным счетом ничего не понял; но мне и без того хватало забот, и всего важней было выбраться из города на лейденскую дорогу. Это оказалось нелегким делом; только в час или в два ночи нам удалось ее найти. Когда мы оставили дома позади, на небе не было ни луны, ни звезд, по которым мы могли бы определять направление, — только белая полоса дороги да темные деревья по обе стороны. Идти было очень трудно еще и потому, что перед рассветом вдруг ударил сильный мороз и дорога обледенела.

— Ну, Катриона, — сказал я, — теперь мы с вами как принц и принцесса из тех шотландских сказок, которые вы мне рассказывали. Скоро мы увидим «семь долин, семь равнин и семь горных озер». (Эта неизменная присказка мне хорошо запомнилась.)

— Да, но ведь здесь же нет ни долин, ни гор! — сказала она. — Хотя эти равнины и деревья, правда, очень красивы. Но все-таки наш горный край лучше.

— Если бы мы могли сказать то же самое о наших людях, — отозвался я, вспоминая Спротта, Сэнга да и самого Джемса Мора.

— Я никогда не стала бы плохо говорить о родине моего друга, — сказала она так многозначительно, что мне показалось, будто я вижу в темноте выражение ее лица.

Я чуть не задохнулся от стыда и едва не упал на смутно чернеющий лед.

— Не знаю, как по-вашему, Катриона, — сказал я, несколько придя в себя, — но все-таки сегодня счастливый день! Мне совестно так говорить, потому что вас постигло столько несчастий и невзгод, но для меня это все равно был самый счастливый день в жизни.

— Да, хороший день, ведь вы были ко мне так добры, — сказала она.

— И все-таки мне совестно быть счастливым, — продолжал я, — сейчас, когда вы бредете здесь, в темную ночь по пустынной дороге.

— А где же мне еще быть? — воскликнула она. — Я ничего на свете не боюсь, когда вы рядом.

— Значит, вы простили меня? — спросил я.

— Я сама должна просить у вас прощения, и если вы меня прощаете, не вспоминайте больше об этом! — воскликнула она. — В моем сердце нет к вам иных чувств, кроме благодарности. Но, скажу честно, — добавила она вдруг, — ее я никогда не прощу.

— Это вы опять про мисс Грант? — спросил я. — Да ведь вы же сами сказали, что лучше ее нет никого на свете.

— Так оно и есть! — сказала Катриона. — И все равно я никогда ее не прощу. Никогда, никогда не прощу и не хочу больше о ней слышать.

— Ну, — сказал я, — ничего подобного я еще не видывал. Просто удивительно, откуда у вас такие детские капризы. Эта молодая леди была нам

обоим лучшим другом на свете, она научила нас одеваться и вести себя, ведь это заметно всякому, кто знал нас с вами раньше.

Но Катриона упрямо остановилась посреди дороги.

— Вот что, — сказала она. — Если вы будете говорить о ней, я сейчас же возвращусь и город, и пускай будет надо мной воля божия! Или, уж сделайте одолжение, поговорим о чем-нибудь другом.

Я совершенно растерялся и не знал, как быть; но тут я вспомнил, что она пропадет без моей помощи, что она принадлежит к слабому полу и совсем еще ребенок, а мне следует быть разумнее.

— Дорогая моя, — сказал я. — Вы меня совсем сбили с толку, но боже избави, чтобы я как-либо совлек вас с прямого пути. Я вовсе не намерен продолжать разговор о мисс Грант, ведь вы же сами его и начали. Я хотел только, раз уж вы теперь под моей опекой, воспользоваться этим вам в назидание, потому что не выношу несправедливости. Я не против вашей гордости и милой девичьей чувствительности, это вам очень к лицу. Но надо же знать меру.

— Вы кончили? — спросила она.

— Кончил, — ответил я.

— Вот и прекрасно, — сказала она, и мы пошли дальше, но теперь уже молча.

Жутко и неприятно было идти темной ночью, видя только тени и слыша лишь звук собственных шагов. Сначала, мне кажется, мы в душе сердились друг на друга; но темнота, холод и тишина, которую лишь иногда нарушало петушиное пение или лай дворовых псов, вскоре сломили нашу гордость; я, во всяком случае, готов был ухватиться за всякий повод, который позволил бы мне заговорить, не уронив своего достоинства.

Перед самым рассветом пошел теплый дождь и смыл ледяную корку у нас под ногами. Я хотел закутать Катриону в свой плащ, но она с досадой велела мне забрать его.

— И не подумаю, — сказал я. — Сам я здоров, как бык, и видел всякое ненастье, а вы нежная, прекрасная девушка! Дорогая, не хотите же вы, чтобы я сгорел со стыда!

Без дальнейших возражений она позволила мне накинуть на себя плащ; и так как было темно, я на миг задержал руку на ее плече, почти обнял ее.

— Постарайтесь быть снисходительней к своему угу, — сказал я.

Мне показалось, что она едва уловимо склонила голову к моей груди, но, должно быть, это мне лишь почудилось.

— Вы такой добрый, — сказала она.

И мы молча пошли дальше; но как все вдруг переменилось. Счастье, которое лишь теплилось в моей душе, вспыхнуло, подобно огню в камине.

Дождь перестал еще до рассвета; и, когда мы добрались до Делфта, занималось сырое утро. По обоим берегам канала стояли живописные красные домики с островерхими кровлями; служанки, выйдя на улицу, терли и скребли каменные плиты тротуара; из сотен кухонных труб шел дым; и я почувствовал, что нам невозможно долее поститься.

— Катриона, — сказал я, — надеюсь, у вас остались шиллинг и три полпенни?

— Они нужны вам? — спросила она и отдала мне свой кошелек. — Жаль, что там не пять фунтов! Но зачем вам деньги?

— А зачем мы шли пешком всю ночь, как бездомные бродяги? — сказал я.

— Просто в этом злосчастном Роттердаме у меня украли кошелек, где были все мои деньги. Теперь я могу в этом признаться, потому что худшее позади, но предстоит еще долгий путь, прежде чем я смогу получить деньги, и если вы не купите мне кусок хлеба, я вынужден буду поститься дальше.

Она посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. В ярком утреннем свете я увидел, как она побледнела, осунулась от усталости, и сердце мое дрогнуло. Но она только рассмеялась.

— Вот наказание! Значит, теперь мы оба нищие? — воскликнула она. — Не одна я, но и вы? Да я только об этом и мечтала! Я буду счастлива накормить вас завтраком. Но еще охотнее я стала бы плясать, чтобы заработать вам на хлеб! Ведь здесь, я думаю, люди не видели наших плясок и, пожалуй, охотно заплатят за такое любопытное зрелище.

Я готов был расцеловать ее за эти слова, движимый даже не любовью, а горячим восхищением. Когда мужчина видит мужество в женщине, это всегда согревает его душу.

Мы купили молока у какой-то крестьянки, только что приехавшей в город, а у пекаря взяли кусок превосходного горячего, душистого хлеба и стали уплетать его на ходу. От Делфта до Гааги всего пять миль по хорошей дороге, под сенью деревьев, и по одну ее сторону лежит канал, а по другую — живописные пастбища. Да, идти было очень приятно.

— Ну, Дэви, — сказала она, — что там ни говорите, а надо вам как-то меня пристроить.

— Давайте решать, — сказал я, — и чем скорей, тем лучше. В Лейдене я получу деньги, об этом можно не беспокоиться. Только вот где устроить вас до приезда отца? Вчера вечером мне показалось, что вы не хотите расставаться со мной?

— Это вам не показалось, — сказала она.

— Вы еще так молоды, — сказал я, — и сам я совсем мальчишка. В этом самая большая помеха. Как же нам устроиться? Может быть, выдать вас за мою сестру?

— А почему бы и нет? — сказала она. — Конечно, если вы согласны!

— Если бы это была правда! — воскликнул я. — Я был бы счастлив иметь такую сестру. Но беда в том, что вы Катриона Драммонд.

— Ну и что ж, а теперь я буду Кэтрин Бэлфур, — сказала она. — Никто и не узнает. Ведь мы здесь совсем чужие.

— Ну, раз вы согласны, пускай так и будет, — сказал я. — Но, признаться, у меня сердце не на месте. Я буду очень раскаиваться, если нечаянно дал вам дурной совет.

— Дэвид, у меня нет здесь друга, кроме вас, — сказала она.

— Честно говоря, я слишком молод, чтобы быть вам другом, — сказал я.

— Я слишком молод, чтобы давать вам советы, а вы — чтобы этих советов слушаться. Правда, я не вижу иного выхода, но все равно мой долг — вас предостеречь.

— У меня нет выбора, — сказала она. — Мой отец Джемс Мор дурно поступил со мной, и это уже не в первый раз. Я поневоле свалилась вам в руки, точно куль муки, и должна вам во всем повиноваться. Если вы берете меня к себе, прекрасно. Если же нет... — Она повернулась ко мне и коснулась моей руки. — Дэвид, я боюсь, — сказала она.

— Да ведь я только хотел вас предупредить... — начал я. И тут же вспомнил, что у меня есть деньги, а у нее нет, и не очень-то красиво быть скупым. — Катриона, — сказал я. — Поймите меня правильно: я только хочу выполнить свой долг перед вами, дорогая моя! Я приехал сюда, в чужой город, учиться и жить в одиночестве, а тут такой счастливый случай, вы хоть ненадолго можете поселиться вместе со мной как сестра. Понимаете ли вы, дорогая, какая это для меня радость, если вы будете со мною?

— И вот я с вами, — сказала она. — Так что все уладилось.

Я знаю, что должен был говорить с ней яснее. Знаю, что это легло на мое доброе имя пятном, за которое, к счастью, мне не пришлось расплачиваться еще дороже. Но я помнил, как задел ее намек на поцелуй в письме Барбары, и теперь, когда она зависела от меня, у меня не хватило смелости. Кроме того, право, я не видел, как иначе ее устроить, и, признаюсь, искушение было слишком велико.

Когда мы прошли Гаагу, Катриона начала хромать, и теперь каждый шаг, видимо, стоил ей огромного труда. Дважды ей приходилось садиться отдыхать на обочине, и она мило оправдывалась, называя себя позором горного края и своего клана и тяжким бременем для меня. Правда, сказала она, у нее есть оправдание: она не привыкла ходить обутая. Я уговаривал ее снять башмаки и чулки. Но она возразила, что в этой стране даже на проселочных дорогах ни одна женщина не ходит босиком.

— Я не должна позорить своего брата, — сказала она с веселым смехом, но по лицу было видно, как ей больно и трудно.

Придя в город, мы увидели парк, где дорожки были усыпаны чистым песком, а кроны, иногда подстриженные, порой сплетались ветвями, и всюду было множество красивых аллей и беседок. Там я оставил Катриону и один отправился разыскивать моего доверенного. Я взял у него денег в кредит и попросил указать мне какой-нибудь приличный тихий домик. Мой багаж еще не прибыл, сказал я ему и попросил предупредить об этом хозяев дома, а потом объяснил, что со мной ненадолго приехала моя сестра, которая будет вести у меня хозяйство, так что мне понадобятся две комнаты. Все это звучало очень убедительно, но вот беда, мой родич мистер Бэлфур в своем рекомендательном письме обо всем сказал весьма подробно, однако ни словом не упомянул о сестре. Я видел, что это вызвало у голландца подозрения; и, уставясь на меня поверх огромных очков, этот тщедушный человечек, похожий на больного кролика, принялся с пристрастием меня допрашивать.

Тут меня охватил ужас. Допустим, он мне поверит (думал я), допустим, он

согласится принять мою сестру в свой дом и я приведу ее. Ну и запутанный получится клубок, и все это может кончиться позором для девушки и для меня самого. Тогда я поспешно начал описывать ему нрав моей сестры. Оказалось, что она очень застенчивая и дичится чужих людей, поэтому я оставил ее в парке. Водоворот лжи захлестнул меня и, как это всегда бывает в подобных случаях, я погрузился в него гораздо глубже, чем было необходимо, присовокупив еще некоторые совсем уж излишние подробности о слабом здоровье мисс Бэлфур и о ее детстве, проведенном в одиночестве, но тут же устыдился и покраснел.

Обмануть старика мне не удалось, и он не прочь был от меня отделаться. Но как человек деловой, он помнил, что денег у меня немало, и, несмотря на мое сомнительное поведение, любезно дал мне в провозные своего сына и велел ему помочь мне устроиться. Пришлось представить этому юноше Катриону. Бедняжка отдохнула, чувствовала себя лучше и держалась безукоризненно, — она взяла меня за руку и назвала братом, держась непринужденной меня самого. Одно было неприятно: стараясь помочь мне, она выказала голландцу слишком много любезности. И я поневоле подумал, что мисс Бэлфур вдруг преодолела свою застенчивость. А тут еще разница в нашей речи. У меня был протяжный говор жителя равнин; она же говорила, как все горцы, хоть и с некоторым английским акцентом, правда, гораздо более приятным, чем у самих англичан, и ее едва ли можно было назвать знатоком английской грамматики; таким образом, мы были слишком несхожи, чтобы считать нас братом и сестрой. Но молодой голландец оказался тупым и настолько бесчувственным, что даже не заметил ее красоты и вызвал этим мое презрение. Он помог нам найти жилье и тотчас ушел, чем оказал нам еще большую услугу.

ГЛАВА XXIV ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ КНИГИ ГЕИНЕКЦИУСА

Мы сняли верхний этаж дома, который выходил задом к каналу. Нам отвели две смежные комнаты, и в каждой, по голландскому обычаю, был высокий, чуть не до потолка, камин; из окон открывался один и тот же вид: макушка дерева, росшего на маленьком дворике, кусочек канала, домики в голландском стиле и церковный шпиль на другом берегу. Многочисленные колокола этой церкви звучали приятной музыкой; а в редкие ясные дни солнце светило прямо в окна обеих комнат. Из соседнего трактира нам приносили недурную еду.

В первый вечер оба мы были очень усталые, особенно Катриона. Мы почти не разговаривали, и, как только она поела, я велел ей лечь спать. Наутро я первым делом написал письмо Спротту, прося прислать ее вещи, а также несколько строк Алану на адрес вождя его клана; я отправил письма и, когда подали завтрак, разбудил Катриону. Она вышла в своем единственном платье, и я смутился, увидев на ее чулках дорожную грязь. Как выяснилось, ее вещи могли прибыть в Лейден лишь через несколько дней, а ей было необходимо

переодеться. Сначала она ни за что не хотела согласиться на такие расходы; но я напомнил ей, что теперь она сестра богатого человека и должна достойно играть эту роль, а в первой же лавке она вошла во вкус, и глаза у нее разгорелись. Мне приятно было видеть, как наивно и горячо она радуется покупкам. Меня удивляло, что я и сам увлекся: мне все было мало, все казалось недостаточно красивым для нее, и я не уставал восхищаться ею в различных нарядах. Право же, я начал понимать мисс Грант, которая столько внимания уделяла туалетам; в самом деле, одевать красивую девушку — одно удовольствие! Кстати говоря, голландские ситцы необычайно дешевы и хороши; но мне стыдно признаться, сколько я уплатил за чулки. А всего я потратил на все эти прихоти — иначе их не назовешь — столько, что долго потом мне было совестно тратиться, и как бы в возмещение я почти ничего не купил из обстановки. Кровати у нас были, Катриона приделась, в комнатах хватало света, я мог ее видеть, и наше жильё казалось мне просто роскошным.

Когда мы обошли все лавки, я проводил ее домой и оставил там вместе с покупками, а сам долго бродил в одиночестве и читал себе нравоучения. Вот я приютил, можно сказать, пригрел на своей груди юную красавицу, такую неискушенную, что ее всюду подстерегают опасности. После разговора со старым голландцем, когда мне пришлось прибегнуть ко лжи, я почувствовал, каким должно казаться со стороны мое поведение; а теперь, вспоминая свой недавний восторг и безрассудство, с которым я накупил столько ненужных вещей, я и сам понял, что поведение мое далеко не безупречно. Если бы у меня действительно была сестра, думал я, разве я решился бы так выставить ее напоказ? Но такой вопрос показался мне слишком туманным, и я поставил его поиному: доверил бы я Катриону кому бы то ни было на свете? И, ответив себе на него, я весь вспыхнул. Ведь если сам я поневоле попал в сомнительное положение и вовлек в него девушку, тем безупречней я должен теперь себя вести. Без меня у нее не было бы ни крова, ни пропитания; и если я как-либо оскорблю ее чувства, уйти ей некуда. Я хозяин дома и ее покровитель; а поскольку у меня нет на это прав, тем менее будет мне простительно, если я воспользуюсь этим, пусть даже с самыми чистыми намерениями; ведь этот удобный для меня случай, которого ни один разумный отец не допустил бы даже на миг, самые чистые намерения делал бесчестными. Я понимал, что должен быть с Катрионкой весьма сдержанным, и, однако же, не сверх меры: ведь если мне нельзя добиваться ее благосклонности, то я обязан всегда быть радушным хозяином. И, разумеется, тут необходимы такт и деликатность, едва ли свойственные моему возрасту. Но я безрассудно взялся за опасное дело, и теперь у меня был только один выход — держать себя достойно, пока весь этот клубок не распутается. Я составил себе свод правил поведения и молил бога дать мне силы соблюсти эти правила, а кроме того, приобрел вполне земное средство — учебник юриспруденции. Больше я ничего не мог придумать и отбросил прочь все мрачные размышления; сразу же в голове у меня начали бродить приятные мысли, и я поспешил домой, не чуя под собою ног. Когда я мысленно назвал это место домом и представил себе милую девушку, ждущую меня там, в четырех стенах, сердце сильнее забилося у меня в груди.

Едва я вошел, начались мои мытарства. Она бросилась мне навстречу с нескрываемой радостью. К тому же она с головы до ног переоделась и была ослепительно хороша в купленных мною обновках; она ходила вокруг меня и низко приседала, а я должен был смотреть и восхищаться. Кажется, я был очень неучтив и едва выдавил из себя несколько слов.

— Что ж, — сказала она, — если вам не нравится мое красивое платье, поглядите, как я убрала наши комнаты.

В самом деле, комнаты были чисто подметены, и в обоих каминах пылал огонь.

Я воспользовался предлогом и напустил на себя суровость.

— Катриона, — сказал я, — знайте, я вами очень недоволен. Никогда больше ничего не трогайте в моей комнате. Пока мы здесь живем, один из нас должен быть хозяином. Эта роль подобает мне, потому что я мужчина и старший по возрасту. Вот вам мой приказ.

Она присела передо мной, и это, как всегда, получилось у нее удивительно мило.

— Если вы будете на меня сердиться, Дэви, — сказала она, — я призову на помощь свои хорошие манеры. Я буду вам покорна, как велит мне долг, потому что здесь все до последней мелочи принадлежит вам. Только уж не слишком сердитесь, потому что теперь у меня никого, кроме вас, нет.

Я не выдержал удара и в порыве раскаяния поспешил испортить все впечатление, которое должна была произвести моя нравоучительная речь. Это было куда легче: я словно катился вниз с горы, а она с улыбкой мне помогала; сидя у пылающего камина, она бросала на меня нежные взгляды, ободряюще кивала мне, и сердце мое совсем растаяло. За ужином мы оба веселились и были заботливы друг к другу; мы как бы слились воедино, и наш смех звучал ласково.

А потом я вдруг вспомнил о своем благом решении и, оставив ее под каким-то неуклюжим предлогом, хмуро уселся читать. Я купил весьма содержательную и поучительную книгу покойного доктора Гейнексиуса, решив усердно проштудировать ее в ближайшие дни, и теперь часто радовался, что никто не допытывается у меня, о чем я читаю. Катриона, видно, очень обиделась, и это меня огорчило. В самом деле, я оставил ее совсем одну, а ведь она едва умела читать, и у нее никогда не было книг. Но что мне было делать?

Весь остаток вечера мы едва перемолвились словом.

Я проклинал себя. От злости — и раскаяния я не мог улежать в постели и всю ночь ходил взад-вперед по комнате, шлепая по полу босыми ногами, пока не окоченел совершенно, потому что огонь в камине погас, а мороз был сильный. Я думал о том, что она в соседней комнате и, может быть, даже слышит мои шаги, вспоминал, что я плохо с ней обошелся и что впредь мне придется вести себя столь же сухо и неприветливо, иначе меня ждет позор, и едва не сошел с ума. Я словно очутился между Сциллой и Харибдой. «Что она обо мне думает?» — эта мысль смягчала мою душу и наполняла ее слабостью. «Что с нами станет?» — при этой мысли я вновь преисполнялся решимости. Это была моя первая бессонная ночь, во время которой меня не покидало

чувство раздвоенности, а впереди было еще много таких ночей, когда я, словно обезумев, метался по комнате и то плакал, как ребенок, то молился, надеюсь, как христианин.

Но молиться легко, куда труднее что-либо сделать. Когда она была рядом и, особенно, если я допускал малейшую непринужденность в наших отношениях, оказывалось, что я почти не властен над последствиями. Но сидеть весь день в одной комнате с ней и притворяться, будто я поглощен Гейнекциусом, было свыше моих сил. Поэтому я прибегаю к другому средству и старался как можно меньше бывать дома; я занимался на стороне и исправно посещал лекции, часто почти не слушая, — в одной тетрадке я на днях нашел запись, прерванную на том месте, где я перестал слушать поучительную лекцию и принялся кропать какие-то скверные стишки, хотя латинский язык, на котором они написаны, гораздо лучше, чем я мог ожидать. Но, увы, при этом я терял не меньше, чем выигрывал. Правда, я реже подвергался искушению, но, как мне кажется, искушение это с каждым днем становилось все сильнее. Ведь Катриона, так часто остававшаяся в одиночестве, все больше радовалась моему приходу, и вскоре я уже едва мог сопротивляться. Я вынужден был грубо отвергать ее дружеские чувства, и порой это ранило ее так жестоко, что мне приходилось отбрасывать суровость и стараться загладить ее ласкою. Так проходила наша жизнь, среди радостей и огорчений, размолвок и разочарований, которые были для меня, да простится мне такое кощунство, едва ли не страшнее распятия.

Всею виной была полнейшая неискренность Катрионы, которая не столько удивляла меня, сколько вызывала жалость и восторг. Она, по-видимому, совсем не задумывалась о нашем положении, не замечала моей внутренней борьбы; она радовалась всякой моей слабости, а когда я вновь бывал вынужден отступить, не всегда скрывала огорчение. Порой я думал про себя: «Если б она была влюблена по уши и хотела женить меня на себе, она едва ли стала бы вести себя иначе». И я не уставал удивляться женской простоте, чувствуя в такие минуты, что я, рожденный женщиной, недостойн этого.

В этой войне между нами особенное, необычайно важное значение приобрели платья Катрионы. Мои вещи вскоре прибыли из Роттердама, а ее — из Гелвоэта. Теперь у нее были, можно сказать, два гардероба, и как-то само собой разумелось (до сих пор не знаю, откуда это пошло), что, когда Катриона была ко мне расположена, она надевала платья, купленные мной, а в противном случае — свои старые. Таким образом, она как бы наказывала меня, лишая своей благодарности; и я очень огорчился, но все же у меня хватало ума делать вид, будто я ничего не замечаю.

Правда, однажды я позволил себе ребяческую — выходку, которая была еще нелепей ее причуд; вот как это случилось. Я шел с занятий, полный мыслей о ней, в которых любовь смешивалась с досадой, но мало-помалу досада улеглась; увидев в витрине редкостный цветок из тех, что голландцы выращивают с таким искусством, я не устоял перед соблазном и купил его в подарок Катрионе. Не знаю, как называется этот цветок, но он был розового

цвета, и я, надеясь, что он ей понравится, принес его, исполненный самых нежных чувств. Когда я уходил, она была в платье, купленном мной, но к моему возвращению переделалась, лицо ее стало замкнутым, и тогда я окинул ее взглядом с головы до ног, стиснул зубы, распахнул окно и выбросил цветок во двор, а потом, сдерживая ярость, выбежал вон из комнаты и хлопнул дверью.

Сбегая с лестницы, я чуть не упал, и это заставило меня опомниться, так что я сам понял всю глупость своего поведения. Я хотел было выйти на улицу, но вместо этого пошел во двор, пустынный, как всегда, и там на голых ветвях дерева увидел свой цветок, который обошелся мне гораздо дороже, чем я уплатил за него лавочнику. Я остановился на берегу канала и стал смотреть на лед. Мимо меня катили на коньках крестьяне, и я им позавидовал. Я не находил выхода из положения: мне нельзя было даже вернуться в комнату, которую я только что покинул. Теперь уж не оставалось сомнений в том, что я выдал свои чувства, и, что еще хуже, позволил себе неприличную и притом мальчишески грубую выходку по отношению к беспомощной девушке, которую приютил у себя.

Должно быть, она следила за мной через открытое окно. Мне казалось, что я простоял во дворе совсем недолго, как вдруг послышался скрип шагов по мерзлому снегу, и я, недовольный, что мне помешали, резко обернулся и увидел Катриону, которая шла ко мне. Она снова переделалась вся, вплоть до чулок со стрелками.

— Разве мы сегодня не пойдем на прогулку? — спросила она.

Я видел ее как в тумане.

— Где ваша брошь? — спросил я.

Она поднесла руку к груди и густо покраснела.

— Ах, я совсем забыла! — сказала она. — Сейчас сбегаяю наверх и возьму ее, а потом мы пойдем погуляем, хорошо?

В ее словах слышалась мольба, и это поколебало мою решимость; я не знал, что сказать, и совершенно лишился дара речи; поэтому я лишь кивнул в ответ; а как только она ушла, я залез на дерево, достал цветок и преподнес ей, когда она вернулась.

— Это вам, Катриона, — сказал я.

Она приколотла цветок к груди брошью, как мне показалось, с нежностью.

— Он немного пострадал от моего обращения, — сказал я и покраснел.

— Мне он от этого не менее дорог, уверяю вас, — отозвалась она.

В тот день мы почти не разговаривали; она была сдержанна, хотя говорила со мной ласково. Мы долго гуляли, а когда вернулись домой, она поставила мой цветок в вазочку с водой, и все это время я думал о том, как непостижимы женщины. То мне казалось чудовищной глупостью, что она не замечает моей любви, то я решал, что она, конечно, давным-давно все поняла, но природный ум и свойственное женщине чувство приличия заставляют ее скрывать это.

Мы с ней гуляли каждый день. На улице я чувствовал себя уверенней; моя настороженность ослабевала и, главное, под рукой у меня не было Гейнексиуса. Благодаря этому наши прогулки приносили мне облегчение и радовали бедную девочку. Когда я в назначенный час приходил домой, она уже

бывала одета и заранее сияла. Она старалась растянуть эти прогулки как можно дольше и словно бы боялась (как и я сам) возвращаться домой; едва ли найдется хоть одно поле или берег в окрестностях Лейдена, хоть одна улица или переулок в городе, где мы с ней не побывали бы. В остальное время я велел ей не выходить из дома, боясь, как бы она не встретила кого-нибудь из знакомых, что сделало бы наше положение крайне затруднительным. Из тех же опасений я ни разу не позволил ей пойти в церковь и не ходил туда сам; вместо этого мы молились дома, как мне кажется, вполне искренне, хотя и с различными чувствами. Право, ничто так не трогало меня, как эта возможность встать рядом с ней на колени, наедине с богом, словно мы были мужем и женой.

Однажды пошел сильный снег. Я решил, что нам незачем идти на прогулку в такую погоду, но, придя домой, с удивлением обнаружил, что она уже одета и ждет меня.

— Все равно я непременно хочу погулять! — воскликнула она. — Дэви, дома вы никогда не бываете хорошим. А когда мы гуляем, вы лучше всех на свете. Давайте будем всегда бродить по дорогам, как цыгане.

То была лучшая из всех наших прогулок; валил снег, и она тесно прижималась ко мне: снег оседал на нас и таял, капли блестели на ее румяных щеках, как слезы, и скатывались прямо в смеющийся рот. Глядя на нее, я чувствовал себя могучим великаном, мне казалось, что я мог бы подхватить ее на руки и бегом понести хоть на край света, и мы болтали без умолку так непринужденно и нежно, что я сам не мог этому поверить.

Когда мы вернулись домой, было уже темно. Она прижала мою руку к своей груди.

— Благодарю вас за эти чудесные часы! — сказала она с чувством.

Эти слова меня встревожили, и я тотчас насторожился; так что, когда мы вошли и зажгли свет, она снова увидела суровое и упрямое лицо человека, прилежно штудировавшего Гейнексиуса. Вполне естественно, что это ее уязвило более обычного, и мне самому труднее обычного было держать ее на расстоянии. Даже за ужином я не решился дать себе волю и почти не смотрел на нее, а, встав из-за стола, сразу уселся читать своего законника, но был даже рассеянней прежнего и понимал еще меньше, чем всегда. Сидя над книгой, я, казалось, слышал, как бьется мое сердце, словно часы с недельным заводом. И хотя я притворялся, будто усердно читаю, все же, прикрываясь книгой, я поглядывал на Катриону. Она сидела на полу возле моего сундука, огонь камина озарял ее, дрожа и мерцая, и вся она порой темнела, а порой как бы вспыхивала дивными красками. Она то смотрела на огонь, то переводила взгляд на меня; в эти мгновения я сам казался себе чудовищем и лихорадочно листал книгу Гейнексиуса, как богомолец, который ищет в церкви текст из Библии.

Вдруг она громко сказала:

— Ах, почему мой отец все не едет?

И разразилась слезами.

Я вскочил, швырнул Гейнексиуса в огонь, бросился к Катрионе и обнял ее плечи, дрожавшие от рыданий.

Она резко оттолкнула меня.

— Вы не любите свою подружку, — сказала она. — Если бы вы хоть мне позволили вас любить, я была бы так счастлива! — И прибавила: — Ах, за что вы меня так ненавидите!

— Ненавижу вас! — повторил я. — Да разве вы слепы, что не можете ничего прочесть в моем несчастном сердце? Неужели вы думаете, что, сидя над этой дурацкой книжкой, которую я только что сжег, будь она трижды проклята, я думал хоть о чем-нибудь, кроме вас? Сколько вечеров я чуть не плакал, видя, как вы сидите в одиночестве! Но что мне было делать? Вы здесь под охраной моей чести. Неужели в этом моя вина перед вами? Неужели вы оттолкнете своего любящего и преданного слугу?

При этих словах она быстрым, едва уловимым движением прильнула ко мне. Я заставил ее поднять лицо и поцеловал, а она, крепко обнимая меня, склонила голову ко мне на грудь. Все закружилось у меня перед глазами, как у пьяного. И тут я услышал ее голос, очень тихий, приглушенный моей одеждой.

— А вы правда поцеловали ее? — спросила она.

Я до того изумился, что даже вздрогнул.

— Кого? Мисс Грант? — воскликнул я в сильнейшем замешательстве. — Да, я попросил ее поцеловать меня на прощание, и она согласилась.

— Ну и пусть! — сказала она. — Что ни говорите, вы и меня поцеловали тоже.

Услышав это непривычное, нежное слово, я понял, как глубоко мы пали; я поднялся и заставил встать Катриону.

— Нет, это невозможно, — сказал я. — Это никак невозможно! Ах, Кэтрин, Кэтрин! — Я замолчал, не в силах произнести ни слова. — Идите спать, — вымолвил я наконец. — Оставьте меня одного.

Она повиновалась мне, как ребенок, но вдруг остановилась в дверях.

— Спокойной ночи, Дэви! — сказала она.

— Да, да, спокойной ночи, любовь моя! — воскликнул я и в бурном порыве снова схватил ее, едва не задушив в объятиях. Но уже через мгновение я втолкнул Катриону в ее комнату, резко захлопнул дверь и остался один.

Теперь поздно было жалеть о сделанном; я сказал заветное слово, и она знала все. Как последний негодяй, я бесчестным путем привязал к себе эту бедняжку; она была совершенно в моих руках, такая хрупкая, беспомощная, и от меня зависело сберечь ее или погубить; но какое оружие оставалось у меня для самообороны; Гейнекциус, испытанный мой защитник, сторел в камине, и это было знаменательно. Меня мучило раскаяние, но все же, положа руку на сердце, я не мог обвинить себя ни в чем. Просто немислимо было воспротивиться ее наивной смелости или устоять перед ее слезами. Все, что я мог бы привести в свое оправдание, только отягчало мою вину, — так беззащитна она была и столько преимуществ давало мне мое положение.

Что же с нами теперь будет? По-видимому, нам нельзя больше жить под одной крышей. Но куда же мне деваться? А ей? Коварная судьба привела нас в эту квартирку, не оставив нам выбора, хотя мы ни в чем не были повинны. Мне вдруг пришла в голову безумная мысль жениться на ней теперь же, но в

следующий же миг я с отвращением ее отбросил. Ведь Катриона — еще ребенок, она сама не понимает своих чувств; я захватил ее врасплох, в минуту слабости, но не вправе этим воспользоваться; я обязан не только сберечь ее доброе имя, но и оставить ей прежнюю свободу.

Я в задумчивости сидел у камина, терзаемый раскаянием, и напрасно ломал себе голову в поисках хоть какого-нибудь выхода. К исходу второго часа ночи в камине осталось всего три тлеющих угля, наш дом спал, как и весь город, и вдруг я услышал в соседней комнате тихий плач. Бедняжка, она думала, что я сплю; она сожалела о своей слабости, быть может, упрекала себя в нескромности (о господи!) и пыталась глухой ночью утешиться слезами. Нежность, ожесточение, любовь, раскаяние и жалость боролись в моей душе; я решил, что обязан ее утешить.

— Ах, постарайтесь простить меня! — воскликнул я. — Молю вас, постарайтесь! Забудем это, постараемся все, все забыть!

Ответа не было, но рыдания смолкли. Я долго еще стоял, стиснув руки; наконец от ночного холода меня пробрала дрожь, и я словно бы опомнился.

«Ты не можешь этим воспользоваться, Дэви, — сказал я себе. — Ложись-ка спать, будь разумен и постарайся уснуть. Завтра ты что-нибудь придумаешь».

ГЛАВА XXV ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕМСА МОРА

Поздно утром меня пробудил от беспокойного сна стук в дверь; я вскочил и, открыв ее, чуть не упал в обморок от нахлынувших на меня противоречивых и мучительных чувств: на пороге в грубом дорожном плаще и невообразимо большой шляпе с позументом стоял Джемс Мор.

Казалось, мне бы только радоваться, потому что этот человек явился как бы в ответ на мою молитву. Ведь я до изнеможения твердил себе, что нам с Катрионой необходимо расстаться, ломал себе голову, изыскивая к этому средство. И вот оно явилось само, но я ничуть не обрадовался. Нельзя не принять во внимание, что, хотя приход этого человека снимал с меня бремя заботы о будущем, настоящее показалось мне тем более мрачным и зловещим; и в первый миг я, очутившись перед ним в одном белье, отскочил, словно в меня выстрелили.

— Ну вот, — сказал он. — Я нашел вас, мистер Бэлфур. — И он протянул мне большую, красивую руку, а я снова подошел к двери, словно решился преградить ему путь, и не без колебания ответил на его рукопожатие. — Просто удивительно, как наши пути сходятся, — продолжал он. — Я должен извиниться перед вами за бесцеремонное вторжение, так уж все получилось, потому что я положился на этого лицемера Престонгрэнджа. Мне стыдно признаться вам, что я поверил крючкотвору. — Он легкомысленно пожал плечами, будто заправский француз. — Но право же, этот человек умеет к себе расположить, — сказал он. — Итак, оказывается, вы благородно помогли моей дочери. Меня послали к вам, когда я стал ее разыскивать.

— Мне кажется, сэр, — с трудом выдавил я из себя, — нам необходимо объясниться.

— Что-нибудь неладно? — спросил он. — Мой доверенный мистер Спротт...

— Ради бога, говорите потише! — перебил я. — Она не должна ничего слышать, пока мы с вами не объяснимся.

— Разве она здесь? — вскричал Джемс.

— Вот за этой дверью, в соседней комнате, — ответил я.

— И вы живете с ней вдвоем? — спросил он.

— А кто еще стал бы жить с нами? — воскликнул я.

Справедливость требует признать, что он все-таки побледнел.

— Это довольно странно... — пробормотал Джемс, — довольно странное обстоятельство. Вы правы, нам надо объясниться.

С этими словами он прошел мимо меня, и надо сказать, в этот миг старый бродяга был исполнен достоинства. Только теперь он окинул взглядом мою комнату, и сам я увидел ее, так сказать, его глазами. Утреннее солнце освещало ее сквозь оконное стекло; здесь были только кровать, сундук, тазик для умывания, разбросанная в беспорядке одежда и холодный камин; без сомнения, комната выглядела неприютной и пустой, это было нищенское жилье, меньше всего подходившее для молодой леди. В тот же миг я вспомнил о нарядах, которые накупил для Катрионы, и подумал, что это соседство бедности и расточительства должно выглядеть прескверно.

Он поискал глазами, где бы сесть, и, не найдя ничего более подходящего, присел на край моей кровати, я закрыл дверь и поневоле вынужден был сесть рядом с ним. Чем бы ни кончился этот необычайный разговор, мы должны были постараться не разбудить Катриону; а для этого приходилось сидеть рядом и говорить вполголоса. Невозможно описать, какое зрелище мы с ним представляли: он был в плаще, далеко не лишнем в моей холодной комнате, я же дрожал в одном белье; он держался как судья, а я (не знаю уж, какой у меня был при этом вид) чувствовал себя словно перед Страшным судом.

— Ну? — сказал он.

— Ну... — начал я и запнулся, не зная, что еще сказать.

— Так вы говорите, она здесь? — спросил он с заметным нетерпением, и это меня ободрило.

— Да, она в этом доме, — сказал я, — и я знал, что это всякому покажется необычным. Но не забудьте, как необычна вся эта история с самого начала. Молодая леди очутилась на побережье Европы с двумя шиллингами и тремя полпенни. У нее был адрес этого Спротта в Гелвоэте. Вот вы назвали его своим доверенным. А я могу сказать только одно: он ничем ей не помог, а едва я упомянул ваше имя, начал браниться, и мне пришлось уплатить ему из своего кармана, чтобы он хотя бы взял на хранение ее вещи. Вы говорите о странных обстоятельствах, мистер Драммонд, если вам угодно, чтобы вас называли именно так. Вот обстоятельства, в которых очутилась ваша дочь, и я считаю, что подвергнуть ее такому испытанию было жестоко.

— Этого-то я как раз и не пойму, — сказал Джемс. — Моя дочь была

вверена попечению почтенных людей, только я позабыл их фамилию.

— Джебби, — подсказал я. — Без сомнения, мистер Джебби должен был высадиться вместе с ней в Гелвоэне. Но он не сделал этого, мистер Драммонд, и мне кажется, вы должны благодарить бога, что я оказался там мог его заменить.

— С мистером Джебби я вскоре потолкую самым серьезным образом, — сказал он. — Что же касается вас, то, сдается мне, вы слишком молоды, чтобы занять его место.

— Но ведь никого другого не было, приходилось выбирать: или я, или никто! — воскликнул я. — Никто, кроме меня, не предложил свои услуги, и, кстати сказать, вы не слишком мне за это благодарны.

— Я воздержусь от благодарности, пока не узнаю несколько подробнее, чем именно я вам обязан, — сказал он.

— Ну, это, мне кажется, понятно с первого взгляда, — сказал я. — Вашу дочь покинули, попросту бросили в Европе на произвол судьбы всего с двумя шиллингами, причем она не знала ни слова на тех языках, на которых здесь можно объясниться. Забавно, нечего сказать! Я привез ее сюда. Я назвал ее своей сестрой и относился к ней с братской любовью. Все это стоило мне недешево, но не будем говорить о деньгах. Я глубоко уважаю эту молодую леди и старался охранить ее доброе имя, однако, право же, было бы смешно, если бы мне пришлось расхваливать ее перед ее же отцом.

— Вы еще молоды... — начал Джемс.

— Это я уже слышал, — с досадой перебил я.

— Вы еще очень молоды, — повторил он, — иначе вы поняли бы, насколько серьезным был такой шаг.

— Вам легко это говорить! — воскликнул я. — А что мне было делать? Конечно, я мог бы нанять какую-нибудь почтенную бедную женщину, чтобы она поселилась с нами, но, поверьте, эта мысль только сейчас пришла мне в голову. Да и где мне было найти такую женщину, если сам я здесь чужой? Кроме того, позвольте вам заметить, мистер Драммонд, что это стоило бы денег. А мне и без того пришлось дорого заплатить за ваше пренебрежение к дочери, и объяснить его можно только одним — вы не любите ее, вы равнодушны к ней, иначе вы не потеряли бы ее.

— Тот, кто сам не безгрешен, не должен осуждать других, — сказал он.

— Прежде всего мы разберем поведение мисс Драммонд, а потом уж будем судить ее отца.

— В эту ловушку вам меня не заманить, — сказал я. — Честь мисс Драммонд безупречна, и ее отцу следовало бы это знать. И моя честь, смею вас заверить, тоже. У вас есть только два пути. Либо вы поблагодарите меня, как принято между порядочными людьми, и мы прекратим этот разговор. Либо, если вы все еще не удовлетворены, возместите мне все мои расходы — и делу конец.

Он успокоительно помахал рукой.

— Ну, ну! — сказал он. — Вы слишком торопитесь, мистер Бэлфур. Хорошо, что я давно уже научился терпению. И, кроме того, вы, кажется, забываете, что мне еще нужно повидаться с дочерью.

Услышав эти слова и видя, как он весь переменялся, едва я упомянул о деньгах, я почувствовал облегчение.

— Если вы позволите мне одеться в вашем присутствии, я думаю, мне уместнее всего будет уйти и тогда вы сможете поговорить с ней наедине, — сказал я.

— Буду вам весьма признателен, — сказал он. Сомнений быть не могло: он сказал это вежливо.

«Что ж, тем лучше», — подумал я, надевая штаны, и, вспомнив, как бесстыдно попрошайничал этот человек у Престонгрэнджа, решил доверить свою победу.

— Если вы намерены какое-то время пробыть в Лейдене, — сказал я, — эта комната в полном вашем распоряжении, для себя же я без труда найду другую. Так будет меньше всего хлопот: переехать придется одному мне.

— Право, сэръ, — сказал он, выпятив грудь, — я не стыжусь своей бедности, до которой дошел на королевской службе. Не скрою, дела мои крайне запутаны, и сейчас я просто не могу никуда уехать.

— В таком случае, — сказал я, — надеюсь, вы окажете мне честь и согласитесь быть мои гостем до тех пор, пока не сможете связаться со своими друзьями!

— Сэр, — сказал он, — когда мне делают такое предложение от чистого сердца, я считаю за честь ответить с таким же чистосердечием. Вашу руку, мистер Дэвид. Я глубоко уважаю таких людей, как вы: вы из тех, от кого благородный человек может принять одолжение, и доволен об этом. Я старый солдат, — продолжал он, с явным отвращением оглядывая мою комнату, — и вам нечего бояться, что я буду для вас в тягость. Я слишком часто ел, сидя на краю придорожной канавы, пил из лужи и не имел иного крова над головой, кроме ненастного неба.

— Кстати, обычно в этот час нам приносят завтрак, — заметил я. — Пожалуй, я зайду в трактир, велю приготовить завтрак на троих и подать его на час позже обычного, а вы тем временем поговорите с дочерью.

Мне показалось, что при этом ноздри его дрогнули.

— Целый час? — сказал он. — Это, пожалуй, слишком много. Вполне достаточно и получаса, мистер Дэвид, или, скажем, двадцати минут. Кстати, — добавил он, удерживая меня за рукав, — что вы пьете по утрам: эль или вино?

— Откровенно говоря, сэръ, я не пью ничего, кроме простой холодной воды, — ответил я.

— Ай-ай, — сказал он, — да ведь этак вы совсем испортите себе желудок, поверьте старому вояке. Конечно, простое деревенское вино, какое пьют у вас на родине, полезнее всего, да только здесь его не достанешь, так что рейнское или белое бургундское будет, пожалуй, лучше всего.

— Я позабочусь о том, чтобы вам принесли вина, — сказал я.

— Превосходно! — воскликнул Джемс. — Мы еще сделаем из вас мужчину, мистер Дэвид.

К этому времени я уже больше не питал к нему неприязни, и у меня лишь мелькнула странная мысль о том, какой тесть из него получится. Главная моя

забота была о его дочери, которую нужно было как-то предупредить о его приходе. Я подошел к двери, постучал и крикнул:

— Мисс Драммонд, вот наконец-то приехал ваш отец!

Затем я отправился в трактир, сильно повредив себе этими словами.

ГЛАВА XXVI ВТРОЕМ

Предоставляю другим судить, так ли уж я виноват или скорее заслуживаю жалости. Но когда я имею дело с женщинами, моя проницательность, вообще-то довольно острая, мне изменяет. Конечно, в тот миг, когда я разбудил Катриону, я думал главным образом о том, какое впечатление это произведет на Джемса Мора; и когда я вернулся и мы все трое сели завтракать, я тоже держался с девушкой почтительно и отчужденно, и мне до сих пор кажется, что это было самое разумное. Ее отец усомнился в чистоте моих дружеских чувств к ней, и я должен был прежде всего рассеять его сомнения. Но и у Катрионы есть оправдание. Только накануне нас обоих охватил порыв любви и нежности, мы держали друг друга в объятиях; потом я грубо оттолкнул ее от себя; я взывал к ней среди ночи из другой комнаты; долгие часы она провела без сна, в слезах и, уж наверно, думала обо мне. И вот в довершение всего я разбудил ее, назвав мисс Драммонд, от чего она успела отвыкнуть, а теперь держался с нею отчужденно и почтительно и ввел ее в совершеннейшее заблуждение относительно моих истинных чувств; она поняла все это превратно и вообразила, будто я раскаиваюсь и намерен отступить!

Вся беда вот в чем: я с той самой минуты, как завидел огромную шляпу Джемса Мора, думал только о нем, о его приезде и его подозрениях, Катриона же была безразлична ко всему этому, можно сказать, едва это замечала

— все ее мысли и поступки связывались — с тем, что произошло между нами накануне. Отчасти это объяснялось ее наивностью и смелостью; отчасти же тем, что Джемс Мор, то ли потому, что он ничего не добился в разговоре со мной, то ли предпочитая помалкивать после моего приглашения, не сказал ей об этом ни слова. И за завтраком оказалось, что мы совершенно не поняли друг друга. Я ждал, что она наденет старое свое платье; она же, словно забыв о присутствии отца, нарядилась во все лучшее, что я купил для нее и что, как она знала (или предполагала), мне особенно нравилось. Я ждал, что она вслед за мной притворится отчужденной и будет держаться как можно осторожней и суше; она же была исполнена самых бурных чувств, глаза ее сияли, она произносила мое имя с проникновенной нежностью, то и дело вспоминала мои слова или желания, предупредительно, как жена, у которой нечиста совесть.

Но это длилось недолго. Увидев, что она так пренебрегает собственными интересами, которые я сам подверг опасности, но теперь пытался оградить, я подал ей пример и удвоил свою холодность. Чем дальше она заходила, тем упорней я отступал; чем непринужденней она держалась, тем учтивей и почтительней становился я, так что даже ее отец, не будь он так поглощен едой, мог бы заметить эту разницу. А потом вдруг она совершенно переменилась, и я

с немалым облегчением решил, что она наконец поняла мои намеки.

Весь день я был на лекциях, а потом искал себе новое жилье; с раскаянием думая, что приближается час нашей обычной прогулки, я все-таки радовался, что руки у меня развязаны, потому что девушка снова под надежной опекой, отец ее доволен или по крайней мере смирился, а сам я могу честно и открыто добиваться ее любви. За ужином, как всегда, больше всех говорил Джемс Мор. Надо признать, говорить он умел, хотя ни одному его слову нельзя было верить. Но вскоре я расскажу о нем подробнее. После ужина он встал, надел плащ и, глядя (как мне казалось) на меня, сказал, что ему надо идти по делам. Я принял это как намек, что мне тоже пора уходить, и встал; но Катриона, которая едва поздоровалась со мной, когда я пришел, смотрела на меня широко открытыми глазами, словно просила, чтобы я остался. Я стоял между ними, чувствуя себя как рыба, выброшенная из воды, и переводил взгляд с одного на другую; оба словно не замечали меня: она опустила глаза в пол, а он застегивал плащ, и от этого мое замешательство возросло еще больше. Притворное спокойствие Катрионы означало, что в ней кипит негодование, которое вот-вот вырвется наружу. Безразличие Джемса встревожило меня еще больше: я был уверен, что надвигается гроза, и, полагая, что главная опасность таится в Джемсе Море, я повернулся к нему и, так сказать, отдался на его милость.

— Не могу ли я быть вам полезным, мистер Драммонд? — спросил я.

Он подавил зевок, который я опять-таки счел притворным.

— Что ж, мистер Дэвид, — сказал он, — раз уж вы так любезны, что сами предлагаете, покажите мне дорогу в трактир (он сказал название), я надеюсь там найти одного боевого товарища.

Больше говорить было не о чем, и я, взяв шляпу и плащ, приготовился проводить его.

— А ты, — сказал он дочери, — ложись-ка спать. Я вернусь поздно. Кто рано ложится и рано встает, тому бог красоту и здоровье дает.

Он нежно поцеловал ее и пропустил меня в дверь первым. Мне показалось, что он это сделал нарочно, чтобы мы с Катрионой не могли ничего сказать друг другу на прощание; но я заметил, что она не смотрела на меня, и приписал это ее страху перед Джемсом Мором.

До того трактира было довольно далеко. По пути Джемс без умолку болтал о вещах, которые меня вовсе не интересовали, а у двери рассеянно простился со мной. Я пошел на свою новую квартиру, где не было даже камина, чтобы согреться, и остался там наедине со своими мыслями. Они еще были спокойны — мне в голову не приходило, что Катриона ожесточилась против меня. Мне казалось, что мы с ней как бы связаны обетом; слишком близки мы стали друг другу, слишком пылкими словами обменялись, чтобы нам теперь разлучиться, а тем более из-за простой уловки, к которой поневоле пришлось прибегнуть. Больше всего меня печалило, что у меня будет тесть, который мне совсем не по вкусу, и я думал о том, скоро ли мне придется поговорить с ним о некоторых щекотливых делах. Во-первых, я краснел до корней волос, вспоминая о своей крайней молодости, и чуть ли не готов был отступить; но я знал, что, если дать отцу с дочерью уехать из Лейдена, не высказав моих чувств к ней, я могу

потерять ее навсегда. И, во-вторых, нельзя было пренебречь нашим весьма необычным положением, а также тем, что мои утренние объяснения навряд ли удовлетворили Джемса Мора, В конце концов я решил, что лучше всего повременить, но не слишком долго, и лег в свою холодную постель со спокойной душой.

На другой день, видя, что Джемс Мор не слишком доволен моей комнатой, я предложил купить кое-какую мебель; а днем, когда я пришел с носильщиками, которые несли стулья и столы, я снова застал девушку одну. Она учтиво поздоровалась со мной, но сразу же ушла к себе и закрыла дверь. Я сделал распоряжения, уплатил носильщикам и громким голосом отпустил их, надеясь, что она сразу же выйдет поговорить со мной. Я подождал немного, потом постучал в дверь.

— Катриона! — позвал я.

Дверь отворилась мгновенно, прежде чем я успел произнести ее имя: должно быть, она стояла у порога и прислушивалась. Некоторое время она молчала, но лицо у нее было такое, что я и описать не берусь; казалось, ее постигло страшное несчастье.

— Разве мы и сегодня не пойдем гулять? — спросил я, запинаясь.

— Премного вам благодарна, — сказала она. — Теперь, когда приехал мой отец, эти прогулки мне ни к чему.

— Но, кажется, он ушел и оставил вас одну, — сказал я.

— А мне кажется, это дурно — так говорить со мной, — отвечала она.

— У меня не было дурных намерений, — отвечал я. — Но что вас огорчает, Катриона? Чем я вас обидел, почему вы отворачиваетесь от меня?

— Я вовсе от вас не отворачиваюсь, — сказала она, тщательно подбирая слова. — Я всегда буду благодарна другу, который делал мне добро. И всегда останусь ему другом во всем. Но теперь, когда вернулся мой отец Джемс Мор, многое переменилось, и мне кажется, некоторые слова и поступки лучше забыть. Но я всегда останусь вам другом, и если бы не все это... если бы... Но вам ведь это безразлично! И все равно я не хочу, чтобы вы слишком строго судили меня. Вы правду сказали, я слишком молода, мне бесполезно давать советы, и, надеюсь, вы не забудете, что я еще ребенок. Только все равно я не хочу потерять вашу дружбу.

Начав говорить, она была бледна как смерть, но, прежде чем она кончила, лицо ее раскраснелось, и не только ее слова, но и лицо и дрожащие руки как бы молили о снисходительности. И я впервые понял, как ужасно я поступил: ведь я поставил бедную девочку в столь тяжкое положение, воспользовавшись ее минутной слабостью, которой она теперь стыдилась.

— Мисс Драммонд, — начал я, но запнулся и снова повторил это обращение. — Ах, если б вы могли читать в моем сердце! — воскликнул я. — Вы прочли бы там, что уважение мое к вам ничуть не меньше прежнего. Я бы даже сказал, что оно стало больше, но это попросту невозможно. Просто мы совершили ошибку, и вот ее неизбежные плоды, и чем меньше мы станем говорить об этом, тем лучше. Клянусь, я больше никогда ни единым словом не обмолвлюсь о том, как мы тут жили. Я поклялся бы, что даже не вспомню об

этом, но это воспоминание всегда будет мне дорого. И я вам такой верный друг, что готов за вас умереть.

— Благодарю вас, — сказала она.

Мы постояли немного молча, и я почувствовал острую жалость к себе, которую не мог побороть: все мои мечты так безнадежно рухнули, любовь моя осталась безответной, и опять, как прежде, я один на свете.

— Что ж, — сказал я, — без сомнения, мы всегда будем друзьями. Но в то же время мы с вами прощаемся... Да, все же мы прощаемся... Я сохраню дружбу с мисс Драммонд, но навеки прощаюсь с моей Катрионой.

Я взглянул на нее; глаза мои застилал туман, но мне показалось, что она вдруг стала словно выше ростом и вся засветилась; и тут я, видно, совсем потерял голову, потому что выкрикнул ее имя и шагнул к ней, простирая руки.

Она отшатнулась, словно от удара, и вся вспыхнула, а я весь похолодел, терзаемый раскаянием и жалостью. Я не нашел слов, чтобы оправдаться, а лишь низко поклонился ей и вышел из дома; душа моя разрывалась на части.

Дней пять прошло без каких-либо перемен. Я видел ее лишь мельком, за столом, и то, разумеется, в присутствии Джемса Мора. Если же мы хоть на миг оставались одни, я считал своим долгом держаться холодно, окружая ее почтительным вниманием, потому что не мог забыть, как она отшатнулась и покраснела; эта сцена неотступно стояла у меня перед глазами, и мне было так жалко девушку, что никакими словами не выразить. И себя мне тоже было жалко, это само собой разумеется, — ведь я в несколько секунд, можно сказать, потерял все, что имел; но, право же, я жалел девушку не меньше, чем себя, и даже несколько на нее не сердился, разве только иногда, под влиянием случайного порыва. Она правду сказала — ведь она еще совсем ребенок, с ней обошлись несправедливо, и если она обманула себя и меня, то иного нельзя было и ожидать.

К тому же она была теперь очень одинока. Ее отец, когда оставался дома, бывал с ней очень нежен; но его часто занимали всякие дела и развлечения, он покидал ее без зазрения совести, не сказав ни слова, и целые дни проводил в трактирах, едва у него заводились деньги, что бывало довольно часто, хотя я не мог понять, откуда он их берет; в эти несколько дней он однажды даже не пришел к ужину, и нам с Катрионой пришлось сесть за стол без него. После ужина я сразу же ушел, сказав, что ей, вероятно, хочется побыть одной; она подтвердила это, и я, как ни странно, ей поверил. Я совершенно серьезно считал, что ей тягостно меня видеть, так как я напоминаю о минутной слабости, которая ей теперь неприятна. И вот она сидела одна в комнате, где нам бывало так весело вдвоем, у камина, свет которого так часто озарял нас в минуты размолвок и нежных порывов. Она сидела там одна и уж наверняка укоряла себя за то, что обнаружила свои чувства, забыв о девичьей скромности, и была отвергнута. А я в это время тоже был один и, когда чувствовал, что меня разбирает досада, внушал себе, что человек слаб, а женщина непостоянна. Одним словом, свет еще не видел двух таких дураков, которые по нелепости, не поняв друг друга, были бы так несчастны.

А Джемс почти не замечал нас и вообще был занят только своим

карманом, своим брюхом и своей хвастливой болтовней. В первый же день он попросил у меня займы небольшую сумму; на завтра попросил еще, и тут уж я ему отказал. Он принял и деньги и отказ с одинаковым добродушием. Право же, он умел изображать благородство, и это производило впечатление на его дочь; он все время выставлял себя героем в своих рассказах, чему вполне соответствовала его внушительная осанка и исполненные достоинства манеры. Поэтому всякий, кто не имел с ним дела прежде, или же был не слишком проницателен, или ослеплен, вполне мог обмануться. Но я, который столкнулся с ним уже в третий раз, видел его насквозь; я понимал, что он до крайности себялюбив и в то же время необычайно простодушен, и я обращал на напыщенные рассказы, в которых то и дело упоминались «родовой герб», «старый воин», «бедный благородный горец» и «опора своей родины и своих друзей», не больше внимания, чем на болтовню попугая.

Как ни странно, он, кажется, и сам верил своим словам, по крайней мере иногда: видно, он был весь настолько фальшив, что не замечал, когда лжет, а в минуты уныния он, пожалуй, бывал вполне искренним. Порой он вдруг становился необыкновенно тих, нежен и ласков, цеплялся за руку Катрионы, как большой ребенок, и просил меня не уходить, если я хоть немного его люблю; я, разумеется, не питал к нему ни малейшей любви, но тем сильнее любил его дочь. Он заставлял нас развлекать его разговорами, что было нелегко при наших с нею отношениях, а потом вновь предавался жалобным воспоминаниям о родине и друзьях или пел гэльские песни.

— Вот одна из печальных песен моей родной земли, — говорил он. — Вам может показаться странным, что старый солдат плачет, но это лишь потому, что вы его лучший друг. Ведь мелодия этой песни у меня в крови, а слова идут из самого сердца. И когда я вспоминаю красные горы, и бурные потоки, бегущие по склонам, и крики диких птиц, я не стыжусь плакать даже перед врагами.

Тут он снова принимался петь и переводил мне куплеты со множеством лицемерных причитаний и с нескрываемым презрением к английскому языку.

— В этой песне говорится, — объяснял он, — что солнце зашло, и битва кончилась, и храбрые вожди побеждены. Звезды смотрят на них, а они бегут на чужбину или лежат мертвые на красных склонах гор. Никогда больше не издать им боевой клич и не омыть ног в быстрой реке. Но если б вы хоть немного знали наш язык, вы тоже плакали бы, потому что слова этой песни непередаваемы, и это просто насмешка — пересказывать ее по-английски.

Что ж, на мой взгляд, все это так или иначе было насмешкой; но вместе с тем сюда примешивалось и некое чувство, за что я, кажется, особенно его ненавидел. Мне было нестерпимо видеть, как Катриона заботится о старом негодяе и плачет сама при виде его слез, тогда как я был уверен, что добрая половина его отчаяния объяснялась вчерашней попойкой в каком-нибудь кабаке. Иногда мне хотелось предложить ему займы круглую сумму и распроститься с ним навсегда; но это значило бы никогда не видеть и Катриону, а на такое я не мог решиться; и, кроме того, совесть не позволяла мне попусту тратить мои кровные деньги на такого никчемного человека.

ГЛАВА XXVII ВДВОЕМ

Кажется, на пятый день после приезда Джемса — во всяком случае, помню, что он тогда снова впал в меланхолию, — я получил три письма. Первое было от Алана, который сообщал, что хочет приехать ко мне в Лейден; два других были из Шотландии и касались смерти моего дяди и окончательного введения меня в права наследства. Письмо Ранкилера, конечно, было с начала до конца деловое, письмо мисс Грант, как и она сама, блистало скорее остроумием, чем здравым смыслом, и было полно упреков за то, что я не пишу (хотя как я мог написать ей о своих обстоятельствах?), и шуток по адресу Катрионы, так что мне было неловко читать его при ней.

Письма, разумеется, прибыли на старый адрес, мне отдали их, когда я пришел к обеду, и от неожиданности я выболтал все новости в тот же миг, как прочел их. Эти новости были приятным развлечением для всех троих, и никто не мог предвидеть дурных последствий. По воле случая все три письма прибыли в один день и попали мне в руки в присутствии Джемса Мора, и, видит бог, все события, вызванные этим, которых, вовсе не случилось бы, если б я придержал язык, были predeterminedены еще до того, как Агрикола пришел в Шотландию или Авраам отправился в свои странствия.

Прежде всего я, конечно, вскрыл письмо Алана и, вполне естественно, сразу рассказал, что он собирается меня навестить, но при этом от меня не укрылось, что Джемс подался вперед и насторожился.

— Это случайно не Алан Брек, которого подозревают в эпическом убийстве? — спросил он.

Я подтвердил, что это тот самый Алан, и Джемс оторвал меня от других писем, расспрашивая, как мы познакомились, как Алан живет во Франции, о чем я почти ничего не знал, и скоро ли он собирается приехать.

— Мы, изгнанники, стараемся держаться друг друга, — объяснил он. — Кроме того, я его знаю, и хотя этот человек низкого происхождения и, по сути дела, у него нет права называться Стюартом, все восхищались им в день битвы при Драммосси. Он вел себя, как настоящий солдат. И если бы некоторые, кого я не стану называть, дрались не хуже, конец ее не был бы так печален. В тот день отличились двое, и это нас связывает.

Я едва удержался, чтобы не обругать его, и даже пожелал, чтобы Алан был рядом и поинтересовался, чем плоха его родословная. Хотя, как говорили, там и в самом деле не все было гладко.

Тем временем я вскрыл письмо мисс Грант и не удержался от радостного восклицания.

— Катриона! — воскликнул я, впервые со дня приезда ее отца забыв, что должен называть ее «мисс Драммонд». — Мое королевство теперь принадлежит мне, я лорд Шос — мой дядя наконец умер.

Она вскочила и захлопала в ладоши. Но в тот же миг нас обоих отрезвила мысль, что радоваться нечему, и мы замерли, печально глядя друг на друга.

Джемс, однако же, предстал во всем своем лицемерии.

— Дочь моя, — сказал он, — неужели мой родич не научил тебя приличию? Мистер Дэвид потерял близкого человека, и мы должны утешить его в горе.

— Поверьте, сэр, — сказал я, поворачиваясь к нему и едва сдерживая гнев, — я не хочу притворяться. Весть о его смерти — самая счастливая в моей жизни.

— Вот речь настоящего солдата, — заявил Джемс. — Ведь все мы там будем, все. И если этот джентльмен не пользовался вашей благосклонностью, что ж, тем лучше! Мы можем по крайней мере поздравить вас с вводом во владение.

— И поздравлять тоже не с чем, — возразил я с горячностью. — Имение, конечно, прекрасное, только на что оно одинокому человеку, который и так ни в чем не нуждается? Я бережлив, получаю хороший доход, и, кроме смерти прежнего владельца, которая, как ни стыдно мне в этом признаться, меня радует, я не вижу ничего хорошего в этой перемене.

— Ну, ну, — сказал он, — вы взволнованы гораздо больше, чем хотите показать, поэтому и говорите об одиночестве. Вот три письма — значит, есть на свете три человека, которые хорошо к вам относятся, и я мог бы назвать еще двоих, они здесь, в этой самой комнате. Сам я знаю вас не так уже давно, но Катриона, когда мы остаемся с ней вдвоем, всегда превозносит вас до небес.

Она бросила на него сердитый взгляд, а он сразу переменял разговор, стал расспрашивать о размерах моих владений и не переставал толковать об этом до самого конца обеда. Но лицемерие его было очевидно — он действовал слишком грубо, и я знал, чего мне ожидать. Как только мы пообедали, он раскрыл карты. Напомнив Катрионе, что у нее есть какое-то дело, он отослал ее.

— Тебе ведь надо отлучиться всего на час, — сказал он. — Наш друг Дэвид, надеюсь, любезно составит мне компанию, пока ты не вернешься.

Она сразу же повиновалась, не сказав ни слова. Не знаю, поняла ли она, что к чему, скорей всего нет; но я был очень доволен и сидел, собираясь с духом для предстоящего разговора.

Едва за Катрионной закрылась дверь, как Джемс откинулся на спинку стула и обратился ко мне с хорошо разыгранной непринужденностью. Только лицо выдало его: оно вдруг все заблестело капельками пота.

— Я рад случаю поговорить с вами наедине, — сказал он, — потому что во время первого нашего разговора вы превратно истолковали некоторые мои слова, и я давно хотел вам все объяснить. Моя дочь выше подозрений. Вы тоже, и я готов со шпагой в руках доказать это всякому, кто посмеет оспаривать мои слова. Но, дорогой мой Дэвид, мир беспощаден — кому это лучше знать, как не мне, которого со дня смерти моего бедного отца, да упокоит бог его душу, обливают грязной клеветой. Что делать, нам с вами нельзя об этом забывать.

Он сокрушенно покачал головой, как проповедник на кафедре.

— В каком смысле, мистер Драммонд? — спросил я. — Я буду вам весьма признателен, если вы выскажетесь прямо.

— Да, да, — воскликнул он со смехом, — это на вас похоже! И я

восхищаюсь вами. Но высказаться прямо, мой достойный друг, иногда всего труднее. — Он налил себе вина. — Правда, мы с вами хорошие друзья, и нам незачем долго рассусоливать. Вы, конечно, понимаете, что вся суть в моей дочери. Скажу сразу, у меня и в мыслях нет винить вас. Как еще могли вы поступить при столь несчастливом стечении обстоятельств? Право, вы сделали все возможное.

— Благодарю вас, — сказал я, настораживаясь еще больше.

— Кроме того, я изучил ваш нрав, — продолжал он. — У вас недюжинные таланты. Вы, видимо, еще очень неопытны, но это не беда. Взвесив все, я рад вам сообщить, что выбрал второй из двух возможных путей.

— Боюсь, что я не слишком сообразителен, — сказал я. — Какие же это пути?

Он поглядел на меня, грозно насупив брови, и закинул ногу на ногу.

— Право, сэр, — сказал он, — мне кажется, незачем объяснять это джентльмену в вашем положении: либо я должен перерезать вам глотку, либо придется вам жениться на моей дочери.

— Наконец-то вы соизволили высказаться ясно, — сказал я.

— А я полагаю, все было ясно с самого начала! — воскликнул он громким голосом. — Я любящий отец, мистер Бэлфур, но, благодарение богу, человек терпеливый и осмотрительный. Многие отцы, сэр, немедленно отправили бы вас либо к алтарю, либо на тот свет. Только мое уважение к вам...

— Мистер Драммонд, — перебил я его, — если вы хоть сколько-нибудь меня уважаете, я попрошу вас говорить потише. Совершенно незачем орать на собеседника, который сидит рядом и внимательно вас слушает.

— Что ж, вы совершенно правы, — сказал он, сразу, переменив тон. — Простите, я взволнован, виной этому мои родительские чувства.

— Стало быть, — продолжал я, — поскольку первый путь я оставляю в стороне, хотя, быть может, и жалею, что вы его не избрали, вы обнадеживаете меня на тот случай, если я стану просить руки вашей дочери?

— Невозможно удачней выразить мою мысль, — сказал он. — Я уверен, мы с вами поладим.

— Это будет видно, — сказал я. — Но мне незачем скрывать, что я питаю самые нежные чувства к молодой особе, о которой вы говорите, и даже во сне не мечтал о большем счастье, чем жениться на ней.

— Я был в этом уверен, я не сомневался в вас, Дэвид! — воскликнул он и простер ко мне руки.

Я отстранился.

— Вы слишком торопитесь, мистер Драммонд, — сказал я. — Необходимо поставить некоторые условия. И, кроме того, нас ждет затруднение, которое будет не так-то просто преодолеть. Я уже сказал вам, что, со своей стороны, был бы счастлив жениться на вашей дочери, но у меня есть веские основания полагать, что мисс Драммонд имеет причины не желать этого.

— Стоит ли думать о таких пустяках! — заявил он. — Об этом я сам позабочусь.

— Позволю себе напомнить вам, мистер Драммонд, — сказал я, — что

даже в разговоре со мной вы употребили несколько неучтивых выражений. Я не допущу, чтобы ваша грубость коснулась юной леди. Я сам буду говорить и решать за нас обоих. И прошу вас понять, что я не только не позволю навязать себе жену, но и ей — мужа.

Он глядел на меня с яростью, видимо, не знал, что делать.

— Таково мое решение, — заключил я. — Я буду счастлив обвенчаться с мисс Драммонд, если она того пожелает. Но если это хоть в малой мере противоречит ее воле, чего у меня есть причины опасаться, я никогда на ней не женюсь.

— Ну, ну, — сказал он, — все это пустяки. Как только она вернется, я ее порасспрошу и надеюсь успокоить вас...

Но я снова прервал его:

— Никакого вмешательства с вашей стороны, мистер Драммонд, иначе я отказываюсь, и вам придется искать другого супруга для своей дочери, — сказал я. — Все сделаю я сам, и я же буду единственным судьей. Мне необходимо знать все доподлинно, причем никто не должен в это вмешиваться, и вы меньше всех.

— Клянусь честью, сэр! — воскликнул он. — Да кто вы такой, чтобы быть судьей?

— Жених, если не ошибаюсь, — сказал я.

— Бросьте свои увертки! — воскликнул он. — Вы не хотите считаться с обстоятельствами. У моей дочери не осталось выбора. Ее честь погублена.

— Прошу прощения, — сказал я, — этого не случится, если мы трое будем держать дело в тайне.

— Но кто мне за это поручится? — воскликнул он. — Неужели я допущу, чтобы доброе имя моей дочери зависело от случая?

— Вам следовало подумать об этом гораздо раньше, — сказал я, — прежде чем вы по своему небрежению потеряли ее, а не теперь, когда уже поздно. Я отказываюсь нести какую-либо ответственность за ваше равнодушие к ней, и никто на свете меня не запугает. Я решил твердо и, что бы ни было, не отступлю от своего решения ни на волос. Мы вместеждемся ее возвращения, а потом я поговорю с ней наедине, и не пытайтесь повлиять на нее словом или взглядом. Если я уверюсь, что она согласна выйти за меня, прекрасно. Если же нет, я ни за что на это не пойду.

Он вскочил как ужаленный.

— Вам меня не провести! — воскликнул он. — Вы хотите заставить ее отказаться!

— Может быть, да, а может быть, и нет, — отвечал я. — Во всяком случае, так я решил.

— А если я не соглашусь? — вскричал он.

— Тогда, мистер Драммонд, один из нас должен будет перерезать другому глотку, — сказал я.

Джемс был рослый, с длинными руками (даже длиннее, чем у его отца), славился своим искусством владеть оружием, и я сказал это не без трепета; притом ведь он был отцом Катрионы. Но я напрасно тревожился. После того,

как он увидел мое убогое жилье и я отказал ему в деньгах — новые платья своей дочери он, по-видимому, не заметил, — он был совершенно убежден, что я беден. Неожиданная весть о моем наследстве убедила его в ошибке, и теперь у него была только одна заветная цель, к которой он так стремился, что, думается мне, предпочел бы что угодно, лишь бы не быть вынужденным встать на другой путь — драться.

Он еще немного поспорил со мной, пока я наконец не нашел довод, который заставил его прикусить язык.

— Если вы так не хотите, чтобы я поговорил с мисс Драммонд наедине, — сказал я, — у вас, видно, есть веские причины считать, что я прав, ожидая от нее отказа.

Он забормотал что-то в оправдание.

— Но мы оба горячимся, — добавил я, — так что, пожалуй, нам благоразумнее всего помолчать.

После этого мы сидели молча, пока не вернулась Катриона, и, если бы кто-нибудь мог нас видеть, эта картина, вероятно, показалась бы ему очень смешной.

ГЛАВА XXVIII В КОТОРОЙ Я ОСТАЮСЬ ОДИН

Я открыл Катрионе дверь и остановил ее на пороге.

— Ваш отец велит нам с вами пойти погулять, — сказал я.

Она взглянула на Джемса Мора, он кивнул, и она, как хорошо обученный солдат, повернулась и последовала за мной.

Мы пошли обычной дорогой, которой часто ходили вместе, когда были так счастливы, что невозможно передать словами. Я держался на полшага позади, чтобы незаметно следить за ней. Стук ее башмачков по мостовой звучал так мило и печально; и я подумал: как странно, что я иду меж двух судеб, одинаково близко от обеих, не зная, слышу ли я эти шаги в последний раз или же мы с Катрионой будем вместе до тех пор, пока смерть нас не разлучит. Она избегала смотреть на меня и шла все прямо, словно догадывалась о том, что произойдет. Я чувствовал, что надо заговорить, пока мужество не покинуло меня окончательно, но не знал, с чего начать. В этом невыносимом положении, когда Катриону, можно сказать, навязали мне и она уже однажды молила меня о снисходительности, всякая попытка повлиять на ее решение была бы нечестной; но совсем избежать этого тоже было нельзя, это походило бы на бездушие. Я колебался между этими двумя крайностями и готов был кусать себе пальцы; а когда я наконец решился заговорить, то начал едва ли не наобум.

— Катриона, — сказал я, — сейчас я в очень трудном положении. Или, вернее, мы оба в трудном положении. И я буду вам очень признателен, если вы пообещаете, что дадите мне высказать все до конца и не станете меня перебивать, пока я не кончу.

Она обещала без лишних слов.

— Так вот, — сказал я, — мне нелегко говорить, и я прекрасно знаю, что

не имею права заводить речь об этом. После того, что произошло между нами в пятницу, у меня нет такого права. По моей вине мы оба запутались, и я прекрасно понимаю, что мне по меньшей мере следовало бы молчать, и, поверьте, у меня даже в мыслях не было снова вас беспокоить. Но, моя дорогая, теперь я вынужден это сделать, у меня нет другого выхода. Понимаете, я унаследовал поместье и стал вам гораздо более подходящей парой. И вот... все это дело уже не выглядит таким смешным, как раньше. Хотя, конечно, наши отношения запутались, как я уже сказал, и лучше бы все оставить как есть. Мне кажется, наследству моему придают слишком большое значение, и на вашем месте я даже думать о нем не стал бы. Но я вынужден о нем упомянуть, потому что, без сомнения, это повлияло на Джемса Мора. И потом, мне кажется, мы были не так уж несчастливы, когда жили здесь вдвоем. По-моему, мы прекрасно ладили. Моя дорогая, вспомните только...

— Не хочу ничего ни вспоминать, ни загадывать, — перебила она меня. — Скажите мне только одно: это все подстроил мой отец?

— Он одобрил... — сказал я. — Одобрил мое намерение просить вашей руки.

И я продолжал говорить, взывая к ее чувствам, но она, не слушая, перебила меня.

— Он вас заставил! — вскричала она. — Не пытайтесь отрицать, вы сами сказали, что у вас этого и в мыслях не было. Он вас заставил.

— Он заговорил первый, если только вы это имеете в виду... — начал я. Она все время прибавляла шагу, глядя прямо перед собой, но тут она издала какой-то странный звук, и мне показалось, что она сейчас побежит.

— Иначе, после того, что вы сказали в пятницу, я никогда не осмелился бы докучать вам, — продолжал я. — Но теперь, когда он, можно сказать, попросил меня об этом, что мне было делать?

Она остановилась и повернулась ко мне.

— Ну, что ни говорите, я вам отказываю! — воскликнула она. — И хватит об этом.

И она снова пошла вперед.

— Что ж, иного я и не ожидал, — сказал я. — Но, мне кажется, вы могли бы быть со мной поласковой на прощание. Не понимаю, почему вы так суровы. Я очень любил вас, Катриона, — позвольте мне назвать вас этим именем в последний раз. Я сделал все, что в моих силах, и сейчас пытаюсь сделать все; мне жаль только, что Я не могу сделать большего. И мне странно, что вам доставляет удовольствие так жестоко обходиться со мной.

— Я думаю не о вас, — сказала она. — Я думаю об этом человеке, о моем отце.

— И здесь тоже, — сказал я, — здесь тоже я могу вам быть полезен, как же иначе. Нам с вами очень нужно, моя дорогая, посоветоваться насчет вашего отца. Ведь Джемс Мор придет в ярость, когда узнает, чем кончился наш разговор.

Она снова остановилась.

— Потому, что я опозорена? — спросила она.

— Так он думает, — ответил я. — Но я уже сказал вам, чтобы вы не обращали на это внимания.

— Ну и пусть! — воскликнула она. — Я предпочитаю позор!

Я не знал, что ответить, и стоял молча.

В душе ее, видимо, шла какая-то борьба; потом у нее вырвалось:

— Да что ж это такое? За что этот срам обрушился на мою голову? Как вы осмелились, Дэвид Бэлфур?

— Моя дорогая, — сказал я. — Что же мне было делать?

— Я вам не дорогая, — отрезала она. — И не смейте называть меня этим противным словом.

— Мне сейчас не до слов, — сказал я. — Сердце мое обливается кровью за вас, мисс Драммонд. Что бы я ни сказал, поверьте, я жалею вас и понимаю ваше трудное положение. Прошу вас, помните об этом, пока у нас еще есть время спокойно все обсудить: ведь когда мы вернемся домой, не миновать скандала. Поверьте мне, мы должны вдвоем мирно решить это дело.

— Да, — сказала она. На ее щеках проступили красные пятна. Она спросила: — Он хотел с вами драться?

— Хотел, — подтвердил я.

Она засмеялась каким-то зловещим смехом.

— Что ни говорите, а с меня довольно! — воскликнула она. Потом добавила, повернувшись ко мне: — Я и мой отец друг друга стоим. Но, слава богу, есть человек похуже нас. Слава богу, мне удалось вас раскусить. Всю жизнь вы не увидите ни от одной девушки ничего, кроме презрения.

До сих пор я все терпеливо сносил, но тут не выдержал.

— Вы не имеете права так со мной разговаривать, — сказал я. — Что я вам сделал плохого? Я хорошо относился к вам, я старался как мог. И вот благодарность! Нет, это уж слишком.

Она смотрела на меня с улыбкой, полной ненависти.

— Трус! — сказала она.

— Я швырну это слово вам и вашему отцу! — воскликнул я. — Сегодня я бросил ему вызов, защищая вас. И я снова вызову этого мерзкого хоряка. Мне все равно, кто из нас погибнет! Пойдемте, — сказал я, — вернемся в дом. С меня довольно, я хочу покончить счеты со всем вашим племенем. Вы еще пожалеете обо мне, когда меня не станет.

Она покачала головой все с той же улыбкой, за которую я готов был ее ударить.

— Да перестаньте вы улыбаться! — воскликнул я. — Сегодня я видел, как вашему распрекрасному папаше стало не до смеха. Конечно, я не хочу сказать, что он струсил, — добавил я поспешно. — Но он предпочел иной путь.

— Какой же? — спросила она.

— Когда я предложил ему драться...

— Вы предложили драться Джемсу Мору? — воскликнула она.

— Вот именно, — сказал я. — Но он не очень был к этому расположен, иначе мы бы с вами сейчас не разговаривали.

— Тут что-то не так, — сказала она. — Говорите прямо, что произошло?

— Он хотел заставить вас выйти за меня, — ответил я, — а я воспротивился. Я сказал, что ваш выбор должен быть свободным и мне необходимо поговорить с вами наедине. Не думал я, что это будет такой разговор! «А если я не соглашусь?» — спросил он. — «Тогда один из нас должен будет перерезать другому глотку, — ответил я, — потому что я не позволю навязать юной леди мужа, а себе — жену». Так я и сказал, потому что считал себя вашим другом. Хорошо же вы заплатили мне за это! Вы отказались выйти за меня замуж, и теперь ни один отец в горах Шотландии и во всем мире не принудит меня к этому браку. Я позабочусь, чтобы вашу волю уважали, уверяю вас, как заботился об этом всегда. Но ради простого приличия вы могли бы хоть притвориться благодарной. А я-то думал, вы меня понимаете! Конечно, я не очень хорошо поступил с вами, но то была лишь невольная слабость. А считать меня трусом, да еще таким трусом — нет, моя милая, это такая клевета, что дальше некуда!

— Дэви, но откуда же мне было знать? — воскликнула она. — Ах, как это ужасно! Такие, как я и мой отец... — Эти слова прозвучали жалобным стоном. — Такие люди недостойны даже говорить с вами. Ах, я готова встать перед вами на колени прямо здесь, на улице, готова целовать вам руки, только бы вы меня простили!

— Я сохраню воспоминание о поцелуях, которые уже получил от вас! — воскликнул я. — О тех поцелуях, которых я жаждал и которые чего-то стоили. Не хочу, чтобы меня целовали из раскаяния.

— Неужели вы так презираете несчастную девушку? — сказала она.

— Вот уже сколько времени я пытаюсь вам втолковать, — сказал я, — чтобы вы оставили меня в покое, потому что мое сердце разбито, и как ни старайтесь, хуже мне уже не будет. Обратите лучше внимание на своего отца Джемса Мора, с которым вам еще придется хлебнуть горя.

— Ах, — неужели мне суждено прожить свою жизнь с таким человеком! — воскликнула она, потом с видимым усилием овладела собой. — Но вы больше обо мне не беспокойтесь, — добавила она. — Он еще не знает, на что я способна. Он мне дорого заплатит за этот день... Очень, очень дорого.

Она повернула к дому, и я последовал за ней. Тут она остановилась.

— Я пойду одна, — сказала она. — Мне надо поговорить с ним без свидетелей.

Некоторое время я метался по улицам и твердил себе, что я стал жертвой такой несправедливости, какой еще свет не видал. Негодование душило меня; я часто и глубоко дышал; мне казалось, что в Лейдене не хватает воздуха и грудь моя сейчас разорвется, как на дне моря. Я остановился на углу и с минуту громко смеялся над собой, пока какой-то прохожий не оглянулся и не заставил меня опомниться.

«Ладно, — подумал я, — хватит мне быть глупцом, простофилей и разиней. Пора с этим покончить. Я получил хороший урок и не желаю больше знаться с женщинами, будь они прокляты: женщины были погибелью для мужчины от начала времен и пребудут ему погибелью до скончания века. Бог свидетель, я был счастлив, прежде чем встретил ее. Бог свидетель, я опять буду

счастлив, если больше никогда ее не увижу».

Это казалось мне главным: я хотел, чтобы они уехали. Я был одержим желанием от них избавиться; и в голову мне заползали злорадные мысли о том, какой тяжелой делается их жизнь, когда Дэви Бэлфур перестанет быть для них дойной коровой; и тут, к собственному моему глубочайшему удивлению, мои чувства совершенно переменились. Я все еще негодовал, все еще ненавидел Катриону и, однако, решил, что ради самого себя должен позаботиться, чтобы она ни в чем не нуждалась.

С этой мыслью я поспешил к дому и увидел, что их вещи уже собраны и лежат у двери, а лица отца и дочери хранят следы недавней ссоры. Катриона была словно каменная; Джемс Мор тяжело дышал, лицо его покрылось белыми пятнами, и ясно было, что ему крепко досталось. Когда я вошел, Катриона поглядела на него в упор, гневно и выразительно, и мне показалось, что она его сейчас ударит. Этот предостерегающий взгляд был презрительней всякого окрика, и я с удивлением увидел, что Джемс Мор повиновался. Он, несомненно, получил изрядный нагоняй, и я понял, что в этой девушке сидит такой дьявол, о каком я и не подозревал, а в ее отце больше кротости, чем можно было подумать.

По крайней мере он назвал меня мистером Бэлфуром и произнес несколько явно затверженных фраз, но успел сказать немного, потому что едва он напыщенно возвысил голос, Катриона оборвала его.

— Я объясню, что хочет сказать Джемс Мор, — заявила она. — Он хочет сказать, что мы, нищие, навязались вам и вели себя недостойно, а теперь нам стыдно за свою неблагодарность и дурное поведение. Мы уезжаем и просим забыть о нас, но дела моего отца, по его собственной вине, до того запутаны, что мы даже уехать не можем, если вы еще раз не подадите нам милостыню. Что ни говорите, мы нищие и нахлебники.

— С вашего разрешения, мисс Драммонд, — сказал я, — мне необходимо переговорить с вашим отцом наедине.

Она ушла в свою комнату и закрыла за собой дверь, не сказав ни слова и не взглянув на меня.

— Простите ее, мистер Бэлфур, — сказал Джемс Мор. — У нее нет понятия о деликатности.

— Я не намерен обсуждать это с вами, — сказал я, — и хочу лишь от вас отделаться. Для этого нам придется потолковать о ваших делах. Итак, мистер Драммонд, я следил за вами пристальнее, чем вы могли ожидать. Я знаю, у вас были деньги, когда вы просили у меня займы. Я знаю, с тех пор, как вы приехали сюда, в Лейден, вам удалось раздобыть еще денег, хотя вы скрывали это даже от своей дочери.

— Берегитесь! Я не стану больше терпеть издевательства! — взорвался он. — Вы оба мне надоели. Что за проклятие быть отцом! Я тут такого наслушался... — Он умолк на полуслове. — Сэр, вы оскорбили мое сердце отца и честного воина, — продолжал он, приложив руку к груди, — так что предупреждаю вас, берегитесь.

— Если б вы потрудились дослушать до конца, — сказал я, — то поняли

бы, что я забочусь о вашем благе.

— Дорогой друг! — вскричал он. — Я знал, что могу положиться на щедрость вашей души.

— Дадите вы мне говорить или нет? — сказал я. — Я лишен возможности узнать, богаты вы или бедны. Но я полагаю, что ваши средства столь же недостаточны, сколь сомнительны их источники. А я не хочу, чтобы ваша дочь нуждалась. Если бы я осмелился заговорить об этом с ней, можете не сомневаться, вам я ни за что не доверился бы. Ведь я знаю вас, как свои пять пальцев, и все ваши рассказы для меня не более чем пустые слова. Однако я верю, что вы по-своему все-таки любите дочь, и я вынужден удовольствоваться этой почвой для доверия, сколь бы зыбкой она ни была.

Я условился с ним, что он сообщит мне свой адрес и будет писать мне о здоровье Катрионы, а я за это стану посылать ему небольшое пособие.

Он слушал меня с жадным интересом и, когда я кончил, воскликнул:

— Мой мальчик, мой милый сын, вот теперь я наконец тебя узнаю! Я буду служить тебе верно, как солдат...

— Не хочу больше этого слышать! — сказал я. — Вы довели меня до того, что от одного слова «солдат» меня тошнит. Итак, мы заключили сделку. Я уйду и вернусь через полчаса: надеюсь, к тому времени вы очистите мои комнаты.

Я дал им вдоволь времени; больше всего я боялся снова увидеть Катриону, потому что уже готов был малодушно расплакаться и разжигал в себе ожесточение, чтобы не потерять остатки достоинства. Прошло, наверное, около часа; солнце село, узкий серп молодого месяца следовал за ним на западе по залитому багрянцем небосклону; на востоке уже загорелись звезды, и, когда я наконец вернулся к себе, мою квартиру заливали синие сумерки. Я зажег свечу и оглядел комнаты; в первой не осталось ничего, что могло бы пробудить воспоминание об уехавших, но во второй, в углу, я увидел брошенные на полу вещи, и сердце мое чуть не выскочило из груди. Она оставила все наряды, которые я ей подарил. Этот удар показался мне особенно чувствительным, быть может, потому, что он был последний; я упал на сваленное в кучу платье и вел себя так глупо, что об этом лучше умолчать.

Поздно ночью, стуча зубами от холода, я кое-как собрался с духом и должен был позаботиться о себе. Я не мог выносить вида этих злополучных платьев, лент, сорочек и чулок со стрелками; и мне было ясно, что, если я хочу вновь обрести душевное равновесие, надо избавиться от них, прежде чем наступит утро. Первой моей мыслью было затопить камин и сжечь их; но, во-первых, я всегда терпеть не мог бессмысленного расточительства; а во-вторых, сжечь вещи, которые она носила, казалось мне кощунством. В углу комнаты стоял шкаф, и я решил положить их туда. Это заняло у меня много времени, потому что я очень неловко, но тщательно складывал каждую вещь, а порой со слезами ронял их на пол. Я совершенно измучился, устал так, словно пробежал без отдыха много миль, и все мое тело ныло, словно избитое; складывая платочек, который она часто носила на шее, я заметил, что уголок его аккуратно отрезан. Платочек был очень красивого цвета, и я часто говорил

ей об этом; я вспомнил, что однажды, когда этот платочек был на ней, я сказал в шутку, что она носит мой флаг. Теперь в душе моей забрезжила надежда и поднялась волна нежности; но в следующий же миг я снова впал в отчаяние: отрезанный уголок был скомкан и валялся в другом углу.

Но я стал спорить сам с собой, и это вновь вернуло мне надежду. Она отрезала уголок под влиянием детского каприза и все же сделала это с нежностью. И нечего удивляться тому, что она отбросила лоскут; первое занимало меня больше, чем второе, и я радовался, что ей пришла в голову мысль взять что-нибудь на память обо мне, и не так уж горевал, что она выбросила эту памятку в порыве вполне понятной досады.

ГЛАВА XXIX МЫ ВСТРЕЧАЕМСЯ В ДЮНКЕРКЕ

Итак, после их отъезда я чувствовал себя не слишком несчастным, и у меня было много приятных и светлых минут; я усердно принялся за учение и коротал время, дожидаясь приезда Алана или известия от Джемса Мора о Катрионе. С тех пор, как мы расстались, я получил от него с Катрионной три письма. В одном сообщалось, что они прибыли во Францию, в город Дюнкерк, откуда Джемс в скором времени уехал один по какому-то своему делу. Он отправился в Англию, где виделся с лордом Холдернессом; и мне всегда обидно было вспоминать, что мои кровные деньги пошли на эту поездку. Но уж если связался с чертом или с Джемсом Мором, — пеняй на себя. В его отсутствие подошел срок второго письма; и так как пособие высылалось ему при условии, что он будет писать аккуратно, он заранее заготовил письмо и поручил Катрионе его отправить. Ей показалась подозрительной наша переписка, и как только он уехал, она вскрыла письмо. Я получил, как и полагается, листок, исписанный рукой Джемса Мора:

"Дорогой сэръ! Ко мне прибыл столь ценный мною знак вашей щедрости и должен признать, что сумма соответствует уговору. Смею вас заверить, что вся она будет потрачена на мою дочь, которая здорова и надеется, что дорогой друг не забыл ее. Она немного грустна, но я уповаю на милость божию и уверен, что это пройдет. Мы живем очень уединенно, утешая себя печальными песнями наших родных гор и прогулками по берегу моря, которое омывает и берега Шотландии. Да, то были самые счастливые для меня дни, когда я лежал с пятью ранами в теле на поле у Глэдсмюира. Я нашел здесь службу на конном заводе у одного французского аристократа, который ценит мой опыт. Но, дорогой сэръ, плата столь ничтожна, что мне просто стыдно назвать сумму, и тем необходимее присылаемые вами деньги для блага моей дочери, хотя, осмелюсь сказать, встреча со старым другом была бы еще большим благом.

Остаюсь, дорогой сэръ, вашим преданным и покорным слугой Джемсом Макгрегором Драммондом".

Ниже была приписка, сделанная рукой Катрионы:

"Не верьте ему, все это ложь. К. М. Д. "

Она не только сделала эту приписку, но, кажется, не хотела вообще отправлять письмо, потому что оно пришло гораздо позже срока и сразу же

вслед за ним я получил третье. — Тем временем приехал Алан, и его веселые рассказы скрасили мою жизнь; он представил меня своему родичу, который служил здесь в Шотландском полку, мог выпить больше того, что я считал пределом человеческих возможностей, и ничем другим не выделялся; меня приглашали на множество веселых обедов, и сам я дал их несколько, но это не рассеяло мою тоску, и мы оба (я имею в виду себя и Алана, а вовсе не его родича) много говорили о моих отношениях с Джемсом Мором и его дочерью. Конечно, я стеснялся рассказывать подробности; и замечания, которые отпускал Алан, слушая меня, отнюдь к этому не располагали.

— Хоть убей, ничего не пойму, — говорил он, — но сдается мне, все же ты сваял дурака. Алан Брек — человек бывалый, но что-то не припомню, чтоб я хоть краем уха слышал о такой девушке, как эта. Всего, что ты рассказываешь, просто никак быть не могло. Видно, Дэвид, ты тут здорово напутал.

— Иногда мне и самому так кажется, — сказал я.

— И, что удивительно, ты, вижу я, ее любишь! — сказал Алан.

— Больше всего на свете, — отвечал я, — и боюсь, что буду любить до гроба.

— Чудеса, да и только! — заключил он.

Я показал ему письмо с припиской Катрионы.

— Вот видишь! — воскликнул он. — Эта Катриона, безусловно, не лишена порядочности и, кажется, неглупа. Ну, а Джемс Мор просто враль. Он думает только о своем брюхе да бахвалится. Однако, спору нет, он неплохо дрался при Глэдсмюире, и то, что тут написано насчет пяти ран, сущая правда. Но вся беда в том, что он враль.

— Понимаешь, Алан, — сказал я, — совесть не позволяет мне оставить девушку в таких дурных руках.

— Да, хуже не сыщешь, — согласился он. — Но что будешь делать? Так уж всегда у мужчины с женщиной, Дэви: у женщины ведь нет рассудка. Или она любит мужчину, и тогда все идет как по маслу, или же она его терпеть не может, и тогда хоть умри, все равно ничего не выйдет. Есть два сорта женщин: одни готовы ради тебя продать последнюю рубашку, другие даже не взглянут в твою сторону, такими уж их бог создал. А ты, видно, совсем дурень и не можешь понять, что к чему.

— Да, боюсь, что ты прав, — сказал я.

— А между тем нет ничего проще! — воскликнул Алан. — Я мигом обучил бы тебя этой науке. Беда только, что ты, кажется, родился слепым!

— Но неужели ты не можешь мне помочь? — спросил я. — Ведь ты так искушен в этих делах.

— Понимаешь, Дэвид, меня же здесь не было, — сказал он. — Я как офицер на поле боя, у которого все разведчики и дозорные слепые. Что он может знать? Но мне все время сдается, что ты сваял дурака, и на твоём месте я бы попытался начать снова.

— Ты и правда так думаешь, друг Алан? — спросил я.

— Можешь мне поверить, — ответил он.

Третье письмо прибыло, когда мы были увлечены одним из таких

разговоров, и вы сами увидите, что оно пришло в самую подходящую минуту. Джемс лицемерно писал, что его тревожит здоровье дочери, хотя Катриона, я уверен, была совершенно здорова; он рассыпался в любезностях по моему адресу и под конец приглашал меня в Дюнкерк.

«Сейчас у вас, вероятно, гостит мой старый друг мистер Стюарт, — писал он. — Почему бы вам не поехать вместе с ним, когда он будет возвращаться во Францию? Я должен сообщить мистеру Стюарту нечто весьма интересное; и, помимо этого, я буду рад встретиться со своим соратником и прославленным храбрецом. Что же до вас, мой дорогой сэръ, моя дочь и я будем счастливы принять у себя нашего благодетеля, которого она считает своим братом, а я — сыном. Французский аристократ оказался презренным скрягой, и я был вынужден покинуть его конный завод. Поэтому вы найдете нас в весьма убогом жилище — в гостинице некоего Базена, стоящей среди дюн; но здесь прохладно, и я не сомневаюсь, что мы проведем несколько приятных дней: мы с мистером Стюартом вспомним прошлое, а вы с моей дочерью будете предаваться развлечениям, подходящим вашему возрасту. Мистера Стюарта я, во всяком случае, умоляю приехать сюда: я должен ему сообщить нечто такое, что сулит большие выгоды».

— Что нужно от меня этому господину? — воскликнул Алан, дочитав письмо. — Что ему нужно от тебя, совершенно ясно, — денег. Но зачем ему понадобился Алан Брек?

— Ну, это просто предлог для приглашения, — сказал я. — Он все еще старается устроить брак, которого л сам желаю от всей души. Вот он и приглашает тебя, полагая, что вместе с тобой я скорее соглашусь приехать.

— Хотел бы я знать, так ли это, — сказал Алан. — Мы с ним никогда не дружили, вечно грызлись, как псы. Он мне, видите ли, «должен сообщить». А я, пожалуй, должен буду ему всыпать по тому месту, откуда ноги растут. Черт дери! Но потехи ради можно поехать и узнать, что он там затеял! К тому же я увижу твою красотку. Что скажешь, Дэви? Возьмешь с собой Алана?

Можете не сомневаться, что я охотно согласился, и, поскольку отпуск Алана кончался, мы сразу же отправились в путь.

Январский день уже клонился к вечеру, когда мы въехали наконец в город Дюнкерк. Мы оставили лошадей у коновязи и отыскивали человека, который согласился проводить нас на постоялый двор Базена, расположенный вне городской стены. Было уже совсем темно, и мы последние вышли из города, а когда проходили по мосту, услышали, как захлопнулись крепостные ворота. За мостом лежало освещенное предместье, мы прошли через него, свернули на темную дорогу и вскоре уже брели во тьме по глубокому песку, под плеск морских волн. Так мы шли некоторое время за проводником, большей частью на звук его голоса; и я уже начал думать, что, быть может, он ведет нас совсем не туда, куда надо, но тут мы поднялись на невысокий холм и увидели в темноте тускло освещенное окно.

— Voila l'auberge a Bazin [7], — сказал проводник.

Алан прищелкнул языком.

— М-да, глухое местечко, — сказал он, и по его тону я понял, что ему

здесь не очень-то нравится.

Вскоре мы очутились в нижнем этаже дома, состоявшем из одной большой комнаты; наверх вела лестница, у стены стояли скамьи и столы, в одном конце был очаг, в другом — полки, уставленные бутылками, и крышка погреба. Базен, рослый человек довольно зловещего вида, сказал нам, что шотландца нет дома, он пропадает неизвестно где, а девушка наверху, сейчас он ее позовет.

Я вынул платочек с оторванным углом, который хранил на груди, и повязал его на шею. Сердце мое билось так громко, что я слышал его стук; Алан похлопал меня по плечу и отпустил несколько шуточек, причем я едва удержался, чтобы не ответить ему резкостью. Но ждать пришлось недолго. Я услышал у себя над головой шаги, и она появилась на лестнице. Она спускалась очень медленно, вся бледная, и поздоровалась со мной как-то нарочито серьезно, даже чопорно, — эта ее манера всегда приводила меня в замешательство.

— Мой отец Джемс Мор скоро вернется. Он будет рад вас видеть... — сказала она. И вдруг ее лицо вспыхнуло, глаза заблестели, слова замерли на губах: я понял, что она заметила свой платок. Она сразу же овладела собой, повернулась к Алану и как будто снова оживилась. — Так это вы Алан Брек, друг мистера Бэлфура? — воскликнула она. — Он столько мне о вас рассказывал, я уже давно вас полюбила за храбрость и доброту.

— Ну вот, — сказал Алан, беря ее за руку и глядя ей в лицо. — Наконец-то я вижу эту юную леди! Дэвид, в своих рассказах ты не отдал ей должное.

Никогда еще слова Алана так не проникали в душу; голос его звучал, как музыка.

— Неужели он рассказывал вам про меня? — вскричала она.

— Да он ни о чем другом не мог говорить с тех самых пор, как я приехал к нему из Франции! — сказал Алан. — Разве только мы еще вспомнили одну встречу в Шотландии, в лесу возле Силвермилза, поздней ночью. Но не огорчайтесь, дорогая! Вы гораздо красивее, чем можно было вообразить по его словам. И я совершенно уверен, что мы с вами будем друзьями. Я предан Дэви и следую за ним, как верный пес. Тех, кого любит он, люблю и я, и, богом клянусь, они тоже должны меня любить! Теперь вам ясно, какие узы соединяют вас с Аланом Бреком, и сами увидите, вы на этом не прогадаете. Он не очень красив, дорогая, но верен тем, кого любит.

— От всей души благодарю вас за добрые слова, — сказала она. — Я так преклоняюсь перед вами за вашу честность и мужество, что и выразить невозможно.

После дальней дороги мы отбросили условности и сели за ужин втроем, не дожидаясь Джемса Мора. Алан усадил Катриону рядом с собой, и она была к нему очень внимательна; он заставил ее пригубить вина из его стакана, осыпал ее любезностями и все же не дал мне ни малейшего повода ревновать; он так уверенно и весело задавал тон разговору, что и она и я совсем позабыли свое смущение. Если бы кто-нибудь увидел нас, то подумал бы, что Алан — старый ее друг, а со мной она едва знакома. Право, я любил этого человека и не раз восхищался им, но никогда еще не испытывал к нему такой любви и

восхищения, как в тот вечер, и я вспоминал то, о чем часто готов был забыть, — что у него не только большой жизненный опыт, но и удивительные своеобразные таланты. Катриону же он совершенно покори́л; она заливалась серебристым смехом и улыбалась, как майское утро; должен признаться, что хотя я был в восторге, вместе с тем мне стало немного грустно: рядом с моим другом я казался себе скучным, как вяленая треска, и считал себя не вправе омрачить жизнь юной девушки.

Но если такова была моя участь, то оказалось по крайней мере, что в этом я не одинок: когда неожиданно пришел Джемс Мор, Катриона вдруг словно окаменела. Я не спускал с нее глаз весь остаток вечера, до тех пор, пока она, извинившись, не ушла спать, и, могу поклясться, что она ни разу не улыбнулась, почти все время молчала и смотрела в стену. Я с изумлением увидел, что ее былая горячая привязанность к отцу превратилась в жгучую ненависть.

О Джемсе Море незачем много распространяться, вы уже довольно знаете о том, что он за человек, а пересказывать его лживые рассказы мне надоело. Скажу только, что он много пил и очень редко говорил что-нибудь осмысленное. Разговор с Аланом о деле он отложил на другой день, чтобы побеседовать с глазу на глаз. Отложить его было тем легче, что мы с Аланом оба очень устали, так как целый день ехали верхом, и недолго сидели за столом после ухода Катрионы.

Вскоре нас проводили в комнату, где была одна кровать на двоих. Алан посмотрел на меня со странной улыбкой.

— Ты просто осел! — сказал он.

— Как это понимать? — воскликнул я.

— Понимать? Да что тут понимать? Просто поразительно, друг Дэвид, — сказал он, — как ты непроходимо глуп.

Я снова попросил его высказаться яснее.

— Ну так вот, — сказал он. — Я уже говорил тебе, что есть два сорта женщин: одни готовы ради тебя продать последнюю рубашку, другие — совсем напротив. Словом, разбирайся сам, мой милый! Но что это за тряпка у тебя на шее?

Я объяснил.

— Так и я подумал, что это неспроста! — сказал он.

И больше он не проронил ни слова, хотя я долго осаждал его назойливыми расспросами.

ГЛАВА XXX ПИСЬМО С КОРАБЛЯ

Утром мы увидели, как уединенно была расположена гостиница. Она стояла на берегу, но моря совершенно не было видно, так как со всех сторон ее окружали причудливые песчаные холмы. Только с одной стороны однообразие было нарушено: там, на взгорье, виднелись крылья ветряной мельницы, словно ослиные уши, хотя самого осла видно не было. Сначала стоял полный штиль,

но когда поднялся ветер, странно было видеть, как эти огромные крылья одно за другим взмахивают над холмом. Проезжей дороги вблизи не было, но множество тропинок, пересекая склоны, сходилось со всех сторон к двери мсье Базена. Ведь он занимался всякими темными делами, и местоположение гостиницы как нельзя лучше подходило для этого. Сюда нередко наведывались контрабандисты, а шпионы и люди, объявленные вне закона, дожидались здесь корабля, чтобы переплыть пролив; но, надо сказать, это было еще не самое худшее, потому что в гостинице ничего не стоило вырезать целую семью, и никто даже не узнал бы.

Я спал мало и плохо. Задолго до рассвета я тихонько встал с постели, не разбудив Алана, и то грелся у очага, то расхаживал перед дверью взад-вперед. Утро выдалось хмурое; но вскоре ветер, подувший с запада, разогнал облака, выглянуло солнце, крылья мельницы завертелись. Солнце светило по-весеннему, а может быть, весна расцвела в моем сердце, и мелькание огромных крыльев за холмом показалось мне чрезвычайно забавным. Иногда от мельницы доносился скрип; а в половине девятого в доме послышалось пение Катрионы. Я пришел в неописуемый восторг; унылые, пустынные окрестности показались мне раем.

Но время шло, а вокруг никто не показывался, и я, сам не зная отчего, ощутил смутную тревогу. Это было словно предчувствие беды; крылья мельницы, мелькавшие за холмом, казались мне соглядателями, следящими за мной; но если даже отбросить пустые страхи, все равно молодой девушке не место было в этом странном доме.

Завтракать мы сели довольно поздно, и за столом нетрудно было заметить, что Джемс Мор не то боится чего-то, не то в каком-то затруднении; Алан, от которого это, конечно, не укрылось, пристально следил за ним; видя, что один хитрит, а другой весь насторожился, я сидел как на углях. Сразу после завтрака Джемс, видно, принял решение и стал извиняться перед нами. Он объяснил, что должен встретиться в городе по личному делу с тем самым французским аристократом, у которого он прежде служил, и ему, к сожалению, придется покинуть нас до полудня. Затем он отвел дочь в сторону и что-то очень серьезно и долго ей внушал, а она слушала с явной неохотой.

— Мне все меньше и меньше нравится этот Джемс, — сказал Алан. — Дело тут нечисто, и сдаётся мне, Алан Брек сегодня малость последит за ним. Очень уж мне любопытно взглянуть на этого французского аристократа, Дэви, а ты, я думаю, не будешь скучать, ведь тебе надо разузнать у девушки, есть ли для тебя еще надежда. Будь откровенен, скажи ей напрямик, что ты с самого начала вел себя как жалкий осел. А потом я бы на твоём месте, если, конечно, у тебя это получится, естественно, сказал бы, что тебе грозит какая-то опасность. Женщины это любят.

— Я не умею лгать, Алан, у меня это не получается естественно, — сказал я, передразнивая его.

— Вот ты и опять выходишь дурак! — сказал он. — Тогда скажи, что я тебе это посоветовал. — Она посмеется, и я не удивлюсь, если получится лишь немногим хуже. Но ты только погляди на них! Не будь я так уверен в девушке и

в ее сердечном расположении к Алану, я решил бы, что тут затевается какая-то каверза.

— А она правда к тебе расположена, Алан? — спросил я.

— Он а передо мной преклоняется, — сказал он. — Я ведь не тебе чета, я в этом разбираюсь. Да, да, она преклоняется перед Аланом. И сам я тоже о нем весьма лестного мнения. А теперь, Шос, с вашего позволения я спрячусь вон за тем холмом и прослежу, куда пойдет Джемс.

Все разошлись, оставив меня за столом одного; Джемс отправился в Дюнкерк, Алан — по его следу, а Катриона — наверх, в свою комнату. Я вполне понимал, почему она избегает оставаться со мной наедине; но это меня вовсе не радовало, и я ломал себе голову, как бы выманить ее оттуда и поговорить с ней, прежде чем вернутся мужчины. Я решил, что лучше всего последовать примеру Алана. Если я спрячусь среди дюн, Катриона не усидит дома в такое славное утро; а уж когда она выйдет, мне нетрудно будет добиться своего.

Так я и сделал; мне недолго пришлось прятаться за холмом: вскоре она показалась в дверях, огляделась и, не видя никого, пошла по тропинке прямо к морю, а я последовал за ней. Я не спешил выдать свое присутствие; чем дальше она уйдет, тем больше я успею ей высказать; я легко и бесшумно шел за ней по мягкому песку. Тропинка поднималась вверх и вывела нас на песчаный холм. Оттуда я в первый раз увидел, в каком пустынном и диком месте стоял постоянный двор; вокруг не было ни души, ни признаков жилья, кроме дома Базена да ветряной мельницы. Впереди открывалось море, и там я увидел несколько кораблей, красивых, как на картинке. Один из них стоял совсем близко — я никогда не видел, чтобы такие большие суда подходили чуть ли не к самому берегу. Приглядевшись, я узнал «Морского коня», и в моей душе встрепенулись новые подозрения. Откуда взялся английский военный корабль у самых берегов Франции? Отчего Алана заманили сюда, так близко к нему, в такое место, где нечего и надеяться на помощь? И случайно или намеренно дочь Джемса Мора пошла в этот день к морю?

Следуя за ней, я вскоре дошел до края дюн и очутился над самым берегом. Он был длинный и пустой; в отдалении я увидел причаленную шлюпку и офицера, который расхаживал по песку, явно дожидаясь кого-то. Я сразу присел, высокая трава скрыла меня, и я стал ждать, что будет дальше. Катриона направилась прямо к лодке; офицер встретил ее поклоном; они обменялись несколькими словами; я видел, как он передал ей письмо; затем Катриона повернула назад. И в ту же минуту шлюпка, словно ей больше нечего было здесь делать, отчалила и направилась к «Морскому коню». Но я заметил, что офицер остался на берегу и исчез среди холмов.

Все это мне очень не понравилось, и чем больше я раздумывал, тем меньше мне это нравилось. Не Алана ли искал тот офицер? Или, может быть, Катриону? Она шла прямо ко мне, опустив голову, потупив глаза, такая чистая и нежная, что я не — мог усомниться в ее невинности. Но вот она подняла голову и заметила меня; мгновение она колебалась, потом продолжала путь, но уже медленней, и, как мне показалось, слегка покраснев. Когда я увидел это,

страхи, подозрения, тревога за жизнь друга — все это исчезло из моей души; я встал и ждал Катриону, опьянев от надежды.

Когда она подошла, я пожелал ей доброго утра, и она ответила мне совершенно спокойно.

— Вы не сердитесь, что я последовал за вами? — спросил я.

— Я знаю, что у вас не может быть плохих намерений, — ответила она; и тут самообладание изменило ей. — Но зачем вы посылали деньги этому человеку? Не надо было этого делать.

— Я посылал деньги не ему, — ответил я. — Они для вас, и вы это прекрасно знаете.

— Но вы не имели права посылать их ни для меня, ни для него, — сказала она. — Дэвид, это нехорошо.

— Конечно, это плохо, — сказал я. — И я молю бога, чтобы он помог мне, несчастному тупице, исправить мою глупость, если только это возможно. Катриона, вы не должны так жить. Простите меня за резкое слово, но этот человек недостойн быть вашим отцом и заботиться о вас.

— Прошу вас, не говорите о нем! — вскричала она.

— Мне незачем больше о нем говорить. И не о нем я думаю, поверьте! — сказал я. — Все мои мысли только об одном. Я долгое время жил в Лейдене один. И хотя я был занят учением, но все равно думал об этом. Потом приехал Алан, и я стал бывать среди офицеров, на парадных обедах. Но эта мысль по-прежнему одолевала меня. И то же самое было раньше, когда вы были рядом со мной. Катриона, вы видите этот платок у меня на шее? Вы тогда отрезали от него уголок, а потом бросили. Теперь я ношу ваш флаг. Он у меня в сердце. Дорогая, я не могу жить без вас. Ради бога, не отталкивайте меня.

Я встал перед ней и преградил ей путь.

— Не отталкивайте меня, — твердил я, — окажите мне хоть немного снисхождения!

Она не отвечала ни слова, и я помертвел.

— Катриона! — воскликнул я, пристально глядя на нее. — Неужели я снова ошибся? Неужели для меня все потеряно?

Она, затаив дыхание, подняла на меня глаза.

— Дэви, так это правда, вы меня любите? — спросила она тихо, едва слышно.

— Люблю, — ответил я. — Ты же знаешь... Люблю.

— Я давно уже не принадлежу себе, — сказала она. — С самого первого дня я ваша, если вы согласны принять меня!

Мы были на холме; дул ветер, и мы стояли на виду, нас могли видеть даже с английского корабля, но я упал перед ней на колени, обнял ее ноги и разразился рыданиями, которые разрывали мне грудь. Буря чувств заглушила все мои мысли. Я не знал, где я, забыл, отчего я счастлив; я чувствовал только, что она склонилась ко мне, ощущал, что она прижимает мою голову к своей груди, слышал, как сквозь вихрь, ее голос.

— Дэви, — говорила она, — ах, Дэви, значит, ты не презираешь меня? Значит, ты любишь меня, бедную? Ах, Дэви, Дэви!

Тут она тоже заплакала, и наши счастливые слезы смешались.

Было уже, наверное, около десяти утра, когда я наконец осознал всю полноту своего счастья; я сидел с нею рядом, держал ее за руки, глядел ей в лицо, громко смеялся от радости, как ребенок, и называл ее глупыми, ласковыми именами. В жизни не видел я места прекраснее, чем эти дюны близ Дюнкерка; и крылья мельницы, взмывавшие над холмом, были прекрасны, как песня.

Не знаю, сколько мы сидели бы так, поглощенные друг другом, забыв обо всем на свете, но я случайно упомянул об ее отце, и это вернуло нас к действительности.

— Моя маленькая подружка, — твердил я, и радовался, что эти слова воскрешают прошлое, и не мог на нее наглядеться, и мне было милым даже недавнее наше отчуждение... — Моя маленькая подружка, теперь ты принадлежишь мне навеки. Ты принадлежишь мне навсегда, моя маленькая подружка. Что нам теперь этот человек!

Она вдруг побледнела и отняла у меня руки.

— Дэви, увези меня от него! — воскликнула она. — Готовится что-то недоброе. Ему нельзя верить. Да, готовится недоброе. Сердце мое полно страха. Что нужно здесь английскому военному кораблю? И что тут написано? — Она протянула мне письмо. — Я чувствую, оно принесет Алану несчастье. Вскрой письмо, Дэви, вскрой и прочти.

Я взял письмо, взглянул на него и покачал головой.

— Нет, — сказал я. — Мне это противно, не могу я вскрыть чужое письмо.

— Не можешь даже ради спасения друга? — воскликнула она.

— Не знаю, — ответил я. — Кажется, не могу. Если б только я был уверен!

— Нужно просто сломать печать! — настаивала она.

— Знаю, — сказал я. — Но мне это противно.

— Дай сюда, — сказала она. — Я вскрою его сама.

— Нет, не вскроешь, — возразил я. — Это невысказано. Ведь дело касается твоего отца и его чести, дорогая, а мы оба его подозреваем. Да, место опасное, у берега английский корабль, твоему отцу прислали оттуда письмо, и офицер со шлюпки остался на берегу! Он, конечно, не один, с ним должны быть еще люди. Я уверен, что сейчас за нами следят. Конечно, письмо надо вскрыть. А все-таки ни ты, ни я этого не сделаем.

Все это я сказал, обуреваемый чувством опасности, подозревая, что где-то рядом прячутся враги, и вдруг увидел Алана, который бросил следить за Джемсом и шел один среди дюн. Он, как всегда, был в своем военном мундире и имел бравый вид; но я невольно вздрогнул при мысли о том, как мало пользы принесет ему этот мундир, если его схватят, бросят в шлюпку и отвезут на борт «Морского коня» — дезертира, бунтаря, да еще приговоренного к казни за убийство.

— Вот человек, — сказал я, — который больше всех имеет право вскрыть или не вскрыть письмо, как сочтет нужным.

Я окликнул Алана, и мы с Катрионой встали на ноги, чтобы он мог нас видеть.

— Если это правда... если нас снова ждет позор... сможешь ты его перенести? — спросила она, глядя на меня горящим взглядом.

— Мне задали почти такой же вопрос после того, как я увидел тебя впервые, — сказал я. — И знаешь, что я ответил? Что если я люблю тебя так, как мне кажется, — а ведь я люблю тебя гораздо больше! — я женюсь на тебе даже у подножия виселицы, на которой его повесят.

Покраснев, она подошла ко мне совсем близко, крепко прижалась ко мне, взяла меня за руку; так мы стояли и дожидались Алана.

Он подошел со своей всегдашней загадочной улыбкой.

— Ну что я тебе говорил, Дэви? — сказал он.

— Все мое время, Алан, — ответил я. — А сейчас серьезная минута. Что тебе удалось узнать? Можешь говорить прямо, Катриона наш друг.

— Я ходил понапрасну, — сказал он.

— В таком случае мы, пожалуй, преуспели больше, — сказал я. — По крайней мере тебе во многом надо разобраться. Видишь? — продолжал я, указывая на корабль. — Это «Морской конь», и командует им капитан Пэллисер.

— Я и сам его узнал, — сказал Алан. — Этот корабль причинил мне довольно хлопот, когда стоял в Форте. Но чего ради он подошел так близко?

— Сперва послушай, для чего он здесь, — начал я. — Он доставил вот это письмо Джемсу Мору. А почему он не уходит, когда письмо передано, что в этом письме, отчего за дюнами прячется офицер и один он там или нет — в этом уж ты разбирайся сам.

— Письмо Джемсу Мору? — переспросил Алан.

— Вот именно, — подтвердил я.

— Ну, я могу добавить к этому еще кое-что, — сказал Алан. — Ночью, когда ты крепко спал, я слышал, как он разговаривал с кем-то по-французски, а потом хлопнула дверь.

— Алан! — воскликнул я. — Да ведь ты же всю ночь проспал как убитый, я этому свидетель.

— Никогда нельзя знать, спит Алан или не спит! — объявил он. — Однако дело, кажется, прескверное. Поглядим-ка, что тут написано.

Я отдал ему письмо.

— Катриона, — сказал он, — простите меня, дорогая. Но на кон поставлена моя шкура, и мне придется сломать печать.

— Я сама этого хочу, — сказала Катриона.

Он вскрыл письмо, пробежал его глазами и взмахнул рукой.

— Вонючий хорек! — воскликнул он, скомкал бумагу и сунул ее в карман.

— Ну, надо собирать пожитки. Здесь меня ждет верная смерть.

И он повернул к постоялому двору.

Первой заговорила Катриона.

— Он вас продал? — спросила она.

— Да, дорогая, продал, — ответил Алан. — Но благодаря вам и Дэви я еще могу от него ускользнуть. Мне бы только сесть в седло! — добавил он.

— Катриона поедет с нами, — сказал я. — Она больше не может

оставаться с этим человеком. Мы обвенчаемся.

Она крепко прижала к себе мою руку.

— Вот, значит, как! — сказал Алан, оглядываясь. — Ну, что ж, сегодня вы оба славно поработали! И должен тебе сказать, дочка, из вас получится прекрасная пара.

Он привел нас к мельнице, и я увидел моряка, который затаился и следил за берегом. Мы, конечно, подошли к нему с тыла.

— Смотри, Алан! — сказал я.

— Тес! — остановил он меня. — Это уж моя забота.

Моряк, вероятно, был оглушен шумом мельницы и не замечал нас, пока мы не подошли к нему почти вплотную. Но вот он повернулся, и мы увидели, что это здоровенный красномордый детина.

— Я полагаю, сэръ, — сказал Алан, — вы говорите по-английски?

— Non, monsieur! [8] — ответил он с ужасным акцентом.

— Non, monsieur! — передразнил его Алан. — Так вот как вас учат французскому на «Морском коне»? Ах ты мошенник, болван, дубина, вот я сейчас попотчую шотландским сапогом твою английскую задницу!

И прежде чем тот успел пуститься наутек, Алан бросился на него и дал ему такого пинка, что он ткнулся носом в землю. Потом он, шатаясь, встал на ноги и кинулся в дюны. Алан следил за ним со зловещей улыбкой.

— Пора и мне уносить ноги из этих краев! — сказал Алан. И он бегом бросился к задней двери гостиницы, а мы не отставали от него.

Войдя в одну дверь, мы по воле случая столкнулись нос к носу с Джемсом Мором, который вошел в другую.

— Ну-ка! — сказал я Катрионе. — Быстрее! Беги наверх и собирай вещи. Это зрелище не для твоих глаз.

Джемс и Алан стояли теперь лицом к лицу посреди длинной комнаты. Чтобы добраться до лестницы, Катрионе пришлось пройти мимо них, а поднявшись на несколько ступеней, она обернулась и еще раз взглянула на Джемса и Алана, но не остановилась. На них и в самом деле стоило посмотреть. Алан был бесподобен, его лицо сияло любезностью и дружелюбием, за которыми сквозила угроза, и Джемс, почуяв опасность, как чуют пожар в доме, приготовился к неожиданностям.

Нельзя было терять времени. На месте Алана в этой глуши, окруженный врагами, сам Цезарь мог бы испугаться. Но Алан остался верен себе: он начал разговор в своем обычном насмешливом и простодушном тоне.

— Нынче у вас, кажется, опять выпал удачный денек, мистер Драммонд, — заметил он. — А не скажете ли вы нам, что у вас было за дело?

— Дело это личное, его не объяснить в двух словах, — ответил Джемс. — Время терпит, и я все расскажу вам после обеда.

— А вот я в этом не уверен, — сказал Алан. — Я так полагаю, что это будет сейчас или никогда. Видите ли, мы с мистером Бэлфуром получили важные известия и собираемся в путь.

В глазах Джемса мелькнуло удивление, но он сохранил твердость.

— Мне довольно сказать одно слово, чтобы вы отказались от своего

намерения, — сказал он. — Стоит лишь объяснить мое дело.

— Так говорите же, — сказал Алан. — Смелей! Или вы стесняетесь Дэвида?

— Мы оба можем разбогатеть, — сказал Джемс.

— Да неужто? — воскликнул Алан.

— Уверяю вас, сэр, — сказал Джемс. — Речь идет о сокровище Клуни.

— Не может быть! — воскликнул Алан. — Вы что-нибудь узнали про сокровище?

— Я знаю место, где оно спрятано, мистер Стюарт, и могу показать вам,

— сказал Джемс.

— Вот это удача! — сказал Алан. — Не напрасно я приехал в Дюнкерк. Стало быть, в этом заключалось ваше дело, да? Надеюсь, мы все поделим поровну?

— Да, сэр, в этом и заключалось дело, — подтвердил Джемс.

— Так, так, — сказал Алан и продолжал все с тем же детским любопытством: — Стало быть, оно не имеет отношения к «Морскому коню»?

— К чему? — переспросил Джемс.

— И к тому малому, которого я только что угостил пинком возле мельницы? — продолжал Алан. — Ну нет, приятель! Я вывел тебя на чистую воду. Письмо Пэллисера у меня в кармане. Ты пойман с поличным, Джемс Мор. Ты никогда больше не сможешь смотреть в глаза честным людям!

Джемс был ошеломлен. Секунду он постоял неподвижно, весь бледный, потом затрясся от ярости.

— Это ты мне говоришь, выродок? — заорал он.

— Грязная свинья! — воскликнул Алан и нанес ему такой сильный удар в лицо, что хрустнула челюсть, и еще через мгновение их клинки скрестились.

Когда лязгнула сталь, я невольно попятился прочь от дерущихся. Но тут я увидел, что Джемс едва отразил выпад, который грозил ему верной смертью; в голове у меня застучала мысль, что он ведь отец Катрионы и, можно сказать, почти мой отец, и я со шпагой в руке бросился их разнимать.

— Прочь, Дэви! Ты что, рехнулся? Прочь, черт бы тебя побрал! — взревел Алан. — Иначе кровь твоя падет на твою же голову!

Дважды я отводил их клинки. Меня отшвырнули к стене, но я снова бросился между ними. Они не обращали на меня внимания и кидались друг на друга, как звери. Уж не знаю, как меня не проткнули насквозь или сам я не проткнул одного из этих рыцарей, — все это было будто во сне; но вдруг я услышал отчаянный крик на лестнице, и Катриона заслонила собой отца. В тот же миг острие моей шпаги погрузилось во что-то мягкое. Я выдернул шпагу — кончик у нее был красный. Я увидел, что по платку девушки течет кровь, и мне стало дурно.

— Неужели вы хотите убить его у меня на глазах? Ведь он все-таки мне отец! — кричала она.

— Ладно, моя дорогая, с него хватит, — сказал Алан, отошел и сел на стол, скрестив руки, но не выпуская обнаженной шпаги.

Некоторое время она стояла, заслоняя отца, глядя на нас широко

раскрытыми глазами и часто дыша; потом резко обернулась к отцу.

— Уходи! — сказала она. — Я не хочу видеть твой позор! Оставь меня с честными людьми. Я дочь Эпина! Ты опозорил сынов Эпина. Уходи!

Это было сказано с такой страстью, что я очнулся от ужаса, в который поверг меня вид окровавленной шпаги. Они стояли лицом к лицу; по платку Катрионы расплзлось красное пятно. Джемс Мор был бледен, как смерть. Я хорошо знал его и понимал, какой это для него удар; однако же он сделал вид, будто ему на все наплевать.

— Что ж, — сказал он, вкладывая шпагу в ножны, но со злобой косясь на Алана, — если драка кончена, я только захвачу свой сундучок...

— Никто отсюда ничего не вынесет, — заявил Алан.

— Но позвольте, сэр! — воскликнул Джемс.

— Джемс Мор, — сказал Алан, — лишь по случаю того, что ваша дочь выходит замуж за моего друга Дэви, я позволяю вам убраться отсюда подобру-поздорову. Но послушайте моего совета, поскорей уносите ноги от греха, не то будет поздно. Предупреждаю вас, терпение мое может лопнуть.

— Черт возьми, сэр, ведь там мои деньги! — сказал Джемс.

— Сочувствую вам от души, — сказал Алан, скорчив забавную гримасу. — Но теперь, видите ли, эти деньги мои. — И он продолжал уже серьезно: — Мой вам совет, Джемс Мор, скорее покиньте этот дом.

Мгновение Джемс как будто колебался; но, видимо, он довольно испытал на себе, как великолепно Алан владеет шпагой, потому что неожиданно снял шляпу (при этом лицо у него было как у приговоренного к смертной казни) и распрощался с каждым по очереди. Затем он ушел.

В тот же миг я словно очнулся.

— Катриона! — воскликнул я. — Это я... это моя шпага... ах, я тебя сильно ранил?

— Ничего, Дэви, я люблю тебя и за эту боль. Ведь ты защищал моего отца, хоть он и дурной человек. Смотри! — И она показала мне кровоточащую царапину. — Смотри, благодаря тебе я стала женщиной. У меня теперь рана, как у старого солдата.

Я был вне себя от радости, увидев, что она ранена так легко, и восхищался ее храбрым сердцем. Я обнял Катриону и поцеловал ранку.

— А меня неужто никто не поцелует? Я ведь еще отродясь не упустил случая, — сказал Алан. И, отстранив меня, он взял Катриону за плечи. — Дорогая, — сказал он, — ты настоящая дочь Эпина. Все знают, что он был достойный человек, и он мог бы гордиться тобой. Если бы я когда-нибудь надумал жениться, то искал бы себе вот такую подругу, достойную стать матерью моих сыновей. А я, говоря без ложной скромности, принадлежу к королевскому роду.

Он сказал это с глубоким и пылким восхищением, лестным для девушки да и для меня тоже. Теперь позор, которым покрыл нас Джемс Мор, был смыт. Но тотчас Алан снова стал самим собой.

— Все это прекрасно, дети мои, — сказал он. — Но Алан Брек чуточку ближе к виселице, чем ему хотелось бы. Черт дерь! Надо убраться подальше от

этого гостеприимного места.

Его слова нас образумили. Алан мигом принес сверху наши седельные сумки и сундучок Джемса Мора; я подхватил узелок Катрионы, который она бросила на лестнице во время стычки, и мы готовы были покинуть этот опасный дом, но тут Базен, крича и размахивая руками, преградил нам путь. Когда мы обнажили шпаги, он залез под стол, зато теперь сделался отважен, как лев. Мы не уплатили по счету и поломали стул. Алан, усевшись на стол, перебил посуду. Джемс Мор сбежал.

— Вот! — крикнул я. — Сочтите сами! — И швырнул ему несколько луидоров, ведь рассчитывать было некогда.

Он бросился на деньги, а мы, оставив его, выбежали за дверь. Дом с трех сторон поспешно окружали матросы; Джемс Мор неподалеку от нас махал шляпой, очевидно, стараясь их поторопить, а за спиной у него, словно какой-то дурак, нелепо размахивающий руками, вертелась мельница.

Алан понял все с одного взгляда и пустился бежать. Сундучок Джемса был тяжелый; но, я думаю, он скорее готов был расстаться с жизнью, чем бросить эту добычу и отказаться от своей мести; он бежал так быстро, что я едва поспевал за ним, радостно удивляясь тому, что Катриона не отстает от меня.

Завидев нас, матросы совсем перестали скрываться и погнались за нами с криками и улюлюканьем. Мы опередили их на добрых двести шагов, и к тому же эти кривоногие моряки никак не могли состязаться с нами в беге. Вероятно, они были вооружены, но на французской земле боялись пустить в ход пистолеты. И, видя, что они не только не настигают нас, но все больше отстают, я понял, что опасность миновала. Однако до последней минуты дело было жарким, и нам потребовалось все наше проворство. Дюнкерк был еще далеко, но, когда мы перевалили через холм и увидели солдат гарнизона, которые строем шли на учение, я вполне понял Алана.

Он сразу остановился и вытер лоб.

— Славный все-таки народ эти французы, — сказал он.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Очутившись под прикрытием стен Дюнкерка, мы стали держать военный совет, решая, как быть дальше. Ведь мы силой оружия отняли дочь у отца, и всякий судья немедленно вернет ее ему, а меня и Алана скорее всего засадит в тюрьму; и хотя у нас было письмо капитана Пэллисера, которое могло служить свидетельством в нашу пользу, ни Катриона, ни я не хотели предавать его гласности. Так что всего разумней было отвезти Катриону в Париж и вверить попечению вождя ее клана, Макгрегора из Бохалди, который охотно поможет своей родственнице и в то же время не пожелает опозорить Джемса.

Мы ехали медленно, потому что Катриона бегать умела куда лучше, чем ездить верхом, и после сорок пятого года ни разу не садилась в седло. Но ранним утром в субботу мы наконец добрались до Парижа и с помощью Алана нашли там Бохалди. Он жил на широкую ногу, в прекрасном доме, получая пособия из Шотландского фонда и из частных средств; Катриону он встретил как родную и вообще был очень любезен и скромен, но не особенно откровенен. Мы спросили, не знает ли он, что случилось с Джемсом Мором.

— Бедняга Джемс! — сказал он, с улыбкой качая головой, и у меня мелькнула мысль, что ему известно больше, чем он хочет показать. Мы дали ему прочитать письмо Пэллисера, и физиономия его вытянулась.

— Бедняга Джемс! — повторил он. — Конечно, есть люди и похуже Джемса Мора. Но это просто ужасно. Ай-ай, должно быть, он совсем потерял голову. Это — пренеприятное письмо. Но при всем том, джентльмены, я не вижу, для чего нам предавать его огласке. Плоха та птица, которая гадит в своем гнезде, а мы все дети шотландских гор.

С этим согласились все, кроме, пожалуй, Алана; тут же было единодушно решено, что мы с Катрионой поженимся, и Бохалди сам взялся устроить наш брак, словно не было на свете никакого Джемса Мора; он обвенчал нас с Катрионой, сопровождая обряд любезностями на изысканном французском языке. Только после этого, когда все выпили за наше здоровье, Бохалди сказал нам, что Джемс в городе: он приехал сюда за несколько дней до нас и слег от тяжелой, по-видимому, смертельной болезни. По лицу своей жены я понял, куда влечет ее сердце.

— Что ж, пойдем проведаем его, — сказал я.

— Если ты не против, — сказала Катриона. То было самое начало нашего супружества.

Джемс жил в том же квартале, что и вождь его клана, в большом доме на углу; нас провели в мансарду, где он, лежа в постели, играл на шотландских волынках. Видимо, он взял целый набор этих волынок у Бохалди и развлекался ими во время болезни; хотя он был не так искусен, как его брат Роб, но играл посвоему неплохо; и странно было видеть на лестнице толпу французов, среди которых кое-кто смеялся. Джемс лежал на соломенном тюфяке, опираясь спиной о подушки. Едва взглянув на него, я понял, что дни его сочтены; и, надо сказать, умирал он в весьма неподходящем месте. Но даже теперь я не могу без досады вспоминать о его смерти. Несомненно, Бохалди его подготовил; он знал, что мы поженились, поздравил и благословил нас, точно патриарх.

— Я жил и умру непонятым, — сказал он. — Но вас обоих я прощаю от всей души.

И он продолжал в том же духе, совсем как прежде, а потом любезно сыграл нам несколько песенок на волынке и, прежде чем мы ушли, взял у меня взаймы немного денег. В его поведении я не заметил ни малейшего признака стыда; но прощать он не уставал; похоже, что это ему никогда не надоедало. По-моему, он прощал меня при каждой встрече; и через четыре дня, когда он скончался в ореоле смиренной святости, я от досады готов был рвать на себе волосы. Я позаботился о том, чтобы его похоронили, но совершенно не представлял себе, что написать на его могиле, и в конце концов решил поставить только дату.

Я счел за лучшее не возвращаться в Лейден, где мы выдавали себя за брата и сестру и теперь выглядели бы весьма странно в новой роли. Больше всего нам подходила Шотландия; и после того как я получил все свое имущество, мы тотчас отплыли туда.

Ну вот, мисс Барбара Бэлфур (даме первое место) и мистер Алан Бэлфур,

наследник Шоса, моя повесть окончена. Если вы вспомните хорошенько, то окажется, что многие из тех, о ком я рассказывал, вам знакомы, и вы даже разговаривали с ними. Элисон Хэсти из Лаймкилнса качала вашу колыбель, когда вы были еще слишком малы и не понимали этого, а когда вы немного подросли, гуляла с вами в парке. А та прекрасная и достойная леди, в честь которой названа Барбара, не кто иная, как сама мисс Грант, частенько смеявшаяся над Дэвидом Бэлфуром в доме генерального прокурора. А помните ли вы невысокого, худощавого, подвижного человека в парике и длинном плаще, который приехал в Шос поздней ночью, в темноте, и вас разбудили, привели в столовую и представили ему, а он назвался мистером Джеймисоном? Или Алан забыл, как он по просьбе мистера Джеймисона совершил отнюдь не верноподданнический поступок, за который по букве закона его могли бы повесить: ведь он не более и не менее как выпил за здоровье «короля, который сейчас за морем». Странные дела творились в доме доброго вига! Но мистеру Джеймисону я готов все простить, пускай он хоть подожжет мои амбары; во Франции он известен как «шевалье Стюарт».

А за вами, Дэви и Катриона, я в ближайшие дни намерен хорошенько присматривать, и мы увидим, посмеете ли вы смеяться над своими папой и мамой. Правда, порой мы были не слишком разумны и понапрасну причинили себе много горя; но когда вы подрастаете, то сами убедитесь, что даже хитроумная мисс Барбара и доблестный мистер Алан будут немногим разумнее своих родителей. Потому что жизнь человеческая — забавная штука. Говорят, будто ангелы плачут, а мне кажется, что чаще всего они, глядя на нас, держатся за бока; но, как бы там ни было, я с самого начала твердо решил рассказать в этой длинной повести истинную правду.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Совершенно (лат.).
2. Спасение народа — высший закон (лат.).
3. Верь тому, кто познал на опыте (лат.).
4. Ныне Принс-стрит. (Прим. автора.)
5. Полка Королевских шотландцев (франц.).
6. Например (лат.).
7. Вот постоянный двор Базена (франц.).
8. Нет, мсье (франц.).